

PSYCHOLOGY

Лорин СЛЕЙТЕР

ОТКРЫТЬ ящ и к
СКИННЕРА

act
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХРАНИТЕЛЬ
МОСКВА

Содержание

Введение	5
1. Открыть ящик Скиннера	
Б.Ф. Скиннер и крысиные бега.....	11
2. Обскура	
Стэнли Милграм и повиновение властям.....	43
3. Что значит быть нормальным человеком	
в сумасшедшем доме	
Экспериментирование	
с психиатрическим диагнозом.....	84
4. Что делать в маловероятном случае посадки на воду	
Руководство Дарли и Латана —	
пятиступенчатый подход.....	121
5. Успокоение ума	
Эксперименты Леона Фестингера.....	145
6. Обезьянья любовь	
Приматы Гарри Харлоу.	169
7. Крысиный парк	
Радикальное изучение аддикции.....	198
8. Потерявшийся в молле	
Эксперимент с ложными воспоминаниями.....	229
9. Память инкорпорейтед	
Эксперимент Эрика Кандела	
с морским слизнем.....	257
10. Отколотый	
Самое радикальное лечение психических	
заболеваний.....	280
Заключение	310

Введение

Свой первый психологический эксперимент я провела, когда мне было четырнадцать. В стене нашего старого дома в Мэне, куда мы выезжали летом, устроили гнездо еноты, и я однажды сунула руку в дыру в осыпающейся штукатурке и вытащила еще слепого пищущего детеныша с измазанной молоком мордочкой, который отчаянно махал в воздухе крошечными лапками. Через несколько дней глазки открылись; я читала об опытах Конрада Лоренца по импринтингу* и его утятах и теперь позаботилась о том, чтобы в поле зрения слезащихся глаз маленького млекопитающего первой оказалась я — мои руки, ноги и лицо. Все получилось совсем как у Лоренца: Амелия Эрхарт, как я назвала малышку, немедленно принялась всюду следовать за мной, забираться мне на колени или карабкаться по бед-

* Лоренц Конрад (1903—1989) — австрийский зоолог, один из основателей этологии. Изучал импринтинг (в частности, на утятах) — специфическую форму научения животных, — при котором фиксируются отличительные признаки некоторых врожденных поведенческих актов родителей или других существ. Процесс импринтинга совершается часто при первой же встрече с его объектом; наиболее изученной является «реакция следования» детенышей за родителем, друг за другом или за иным объектом импринтинга. — *Здесь и далее примеч. пер.*

рам, если ее что-то пугало. Она отправлялась следом за мной, не боясь уличного движения, в городской книжный магазин, в школу, забиралась в постель, и, по правде сказать, ее поведение начало в большей мере определять мое, чем наоборот. Хотя благодаря импринтингу Амелия должна была бы подражать мне, получилось так, что это я научилась ловить рыбу в пруду руками и лазить на сухие деревья, оценила прелесть ночного образа жизни и красоту серебристой росы на траве, пусть утром мои усталые глаза и оказывались окружены черными тенями. В результате в своем научном дневнике я записала: «Импринтинг распространяется и на мать». Кто, интересно, гадала я, оказывает на кого влияние в этой паре симбионтов? Могут ли представители определенного вида изменить свое специфическое поведение и благодаря общению с существом другой породы превратиться в нечто совершенно иное? Существовали ли мальчик, воспитанный волками, или умеющая расписываться шимпанзе? Эти вопросы ужасно интересовали меня тогда; интересуют они меня и теперь. Еще более увлекательными, по мере того как я взрослела, становились для меня способы, с помощью которых можно было найти на них ответы: выдвигать гипотезы, планировать эксперимент, детально фиксировать его ход, — а потом со скукой или затаив дыхание ожидать результатов. Сначала меня поймала на крючок Амелия, а потом — сама интрига, намеренная или нет, лежащая в основе почти любого психологического эксперимента.

Хотя сказать, что основу замысла этой книги заложил енот, было бы неточно, все же образ Амелии возникает сразу же, когда я думаю о том, что этот замысел породило. Кроме того, я уже давно пришла к выводу, что психологические эксперименты увлекательны, поскольку лучшие из них представляют собой сконцентрированный жизненный опыт, головокружительную и элегантную квинтэссенцию жизни, метафорическую пробырку, в которой разделяются обыкновенно смешанные элемен-

ты, так что вы можете наблюдать, какие роли играют любовь, страх, конформизм или трусость в определенных, строго заданных условиях. Великие психологические эксперименты крупным планом показывают те сферы поведения или функционирования, которые обычно скрыты суматохой нашей торопливой жизни. Глядя в этот микроскоп, мы узнаем кое-что о самих себе.

Изучая психологию в магистратуре, я снова получила возможность экспериментировать и наблюдать за самыми разными животными. Я видела, как несколько зародышевых клеток всего за сорок восемь часов превращаются в полностью развившегося малька рыбы-ангела — природа у меня на глазах соединяла элементы мозаики жизни. Я видела, как перенесшие инсульт пациенты не замечают правых частей своего тела, а слепорожденные — загадочным образом различают буквы, несмотря на отсутствие зрения. Наблюдения за ожидающими лифта привели меня к бросающемуся в глаза вопросу, на который я и попыталась найти ответ: почему люди снова и снова нажимают на кнопку, хотя знают (и признают это при интервьюировании), что от этого кабина быстрее не придет? Что «лифтовое поведение» говорит о человеческой природе? Я, конечно, читала о классических психологических экспериментах в академических журналах, по большей части заполненных бесконечными численными данными и черно-белыми диаграммами, и это казалось мне довольно грустным. Мне было грустно, что эти изобретательные и драматические открытия сводятся к сухим фразам, типичным для большинства научных сообщений, и тем самым совершенно лишаются того, чем должно захватывать настоящее изложение, — лейтмотива, сюжета, страсти, истории. Эксперименты, описанные в этой книге, как и многие другие, заслуживают того, чтобы не только отразиться в научных отчетах, но и получить признание как произведение искусства; это я и попыталась сделать своей книгой.

Наши жизни, в конце концов, не сводятся к точкам на графике, средним арифметическим и медианам. Они представля-

ют собой истории — осознанные, переформулированные, написанные заново. Мы в наибольшей мере воспринимаем то, что слышим в форме повествования. Я надеюсь, что некоторые психологические эксперименты окажутся лучше оценены читателями, когда им будет придана именно такая форма.

Психология и связанные с ней области представляют собой огромное разнородное поле, охватывающее изучение как единичных синапсов, так и больших групп людей. Данная книга ни в коем случае не претендует на то, чтобы представить весь спектр психологических опытов: на это потребовались бы многие тома. Я выбрала десять экспериментов, основываясь на мнениях коллеги своих собственных вкусах, — те, которые ставят самые главные вопросы и смело ищут на них ответ. Кто мы? Что делает нас людьми? Действительно ли мы сами — авторы собственной жизни? Что значит придерживаться моральных принципов? Что значит быть свободным? Рассказывая об экспериментах, я смотрю на них с собственной точки зрения, задаваясь вопросом: что делает их важными для нас теперь, в нашем новом мире? Имеет ли бихевиоризм* Скиннера значение для современных нейрофизиологов, получивших возможность исследовать нервные связи крыс, у которых выработаны определенные навыки? Выдержали ли проверку временем устрашающие и комичные эксперименты Розенхана с психическими заболеваниями, их восприятием и диагностикой, когда мы, как считается, руководствуемся более объективными диагностическими критериями? Можем ли мы даже назвать заболеваниями синдромы, не имеющие явной физиологической этиологии или патофизиологии? Является ли вообще психология, оперирую-

* Бихевиоризм — направление в американской психологии XX века, сводящее психику к формам поведения, рассматриваемого как совокупность откликов организма на стимулы внешней среды. Необихевиоризм ради преодоления ограниченности схемы «стимул — реакция» использовал «промежуточные переменные» — познавательные и побудительные факторы.

щая наполовину метафорами, наполовину статистическими данными, наукой? Да и сама наука как таковая — разве не разновидность метафоры? Много лет назад, в XIX веке, Вильгельм Вундт*, долгое время считавшийся отцом-основателем психологии, открыл одну из первых психологических лабораторий в мире — лабораторию, оснащенную аппаратурой и предназначенную для проведения измерений, — так и родилась наука психология. Однако, как показывает опыт, роды были неудачными, и на свет появилась химера с неуклюжими конечностями. Теперь, про прошествии более чем столетия, зверь вырос. Что он собой представляет? Данная книга не содержит ответа на этот вопрос, но пытается найти его с помощью шоковой машины Стэнли Милграма, крыс-аддиктов Брюса Александра, заполненных дымом комнат Дарли и Латана, лоботомии Мониша и других экспериментов.

Эта книга покажет, как психология неизбежно и неудержимо все глубже и глубже проникает за границы биологии. Мы увидим, как неуклюжие разрезы Мониша превратились (или выродились — в зависимости от вашей точки зрения) в стерильную бескровную процедуру, именуемую цингулотомией. Мы услышим о внутреннем функционировании нейрона, о том, как гены программируют формирование белков, определяющих голубой цвет глаз или хорошую память. И все же, хотя мы знаем кое-что о процессах и механизмах, которые определяют поведение и даже мышление, мы далеки оттого, чтобы объяснить, как у нас возникают мысли, почему мы стремимся к той или иной цели, почему мы храним в памяти одно и отбрасываем другое, что эти воспоминания для нас значат и как они формируют нашу жизнь. Кандел, Скиннер, Павлов, Уотсон могут продемонстрировать нам условные рефлексы и способы их сохранения в мозгу, но то, как мы воспользуемся этой информацией,

* Вундт Вильгельм (1832—1920) — немецкий психолог, физиолог, философ, один из основоположников экспериментальной психологии, создатель первой психологической лаборатории.

зависит от обстоятельств, выходящих за пределы науки. Другими словами, мы, может быть, и способны определить физиологические субстраты памяти, но в конце концов именно индивид перерабатывает сырой материал в окончательный продукт и придает ему смысл.

Таким образом, описание экспериментов является разговором о науке и искусстве. Оно предоставило мне шанс узнать об исходах экспериментов через изучение личностей ученых, которые по тем или иным причинам решили исследовать набор определенных событий, что и привело их к конечным результатам; я смогла следить затем, как полученные данные стали материалом, определившим прошлое и будущее творцов, как они сумели (или не сумели) ими воспользоваться. Данная книга прежде всего дала мне возможность углубиться в историю и подумать о будущем. Что ждет нас в XXI веке? У меня есть некоторые догадки... А тем временем колокольчик Павлова звенит, а хирурги в этот самый момент добывают информацию о нашем мозге... У нас вырабатываются условные рефлексы, нас объясняют, освобождают, делают предсказуемыми; кто-то отдает приказ, а мы подчиняемся или нет. А теперь переверните страницу.

1

Открыть ящик Скиннера

Б.Ф. Скиннер и крысиные бега

Бэррес Фредерик Скиннер, ведущий американский необи- хевиорист, родился в 1904 году и умер в 1990-м. В психологии он известен своими знаменитыми экспериментами на живот- ных, показавшими значение поощрений и подкреплений в фор- мировании поведения. Используя пищу, рычаги и другие фак- торы окружающей среды, Скиннер продемонстрировал, что то, что считалось независимым откликом, на самом деле яв- ляется условным рефлексом, и тем самым поставил под воп- рос казавшееся незыблемым понятие свободы воли. Большую часть своей научной карьеры Скиннер посвятил исследованию и отработке того, что он называл оперантным научением — способам, при помощи которых человек может благодаря по- ложительному подкреплению формировать поведение других людей и животных.

Скиннер утверждал, что мышление, именовавшееся в те годы ментализмом, не играет существенной роли и даже не существует, а психология должна сосредоточиться исключи- тельно на конкретных поддающихся измерению видах поведе-

ния. Его мечтой было создание всемирной общины, управляемой психологами-бихевиористами, которые обучали бы людей, вырабатывая у них условные рефлексы и превращая их в добродетельных роботов. Из всех психологов XXвека Скиннер, его эксперименты и сделанные им выводы о механистической природе поведения мужчин и женщин подвергались, возможно, самой суровой критике, однако они снова и снова оказываются важными для нашего в высшей степени технологического века.

Так вот как, вероятно, было дело. Существовал человек по фамилии Скиннер* — фамилии отвратительной с любой точки зрения, вызывающей образы ножа и выпотрошенной рыбины, бьющейся на палубе. Назовите имя «Скиннер» двадцати образованным американцам и попросите привести возникающую при этом ассоциацию, и большинство ответят, что это — «зло». Я точно знаю: я провела соответствующий эксперимент. И все же в 1971 году журнал «Тайм» назвал Б.Ф. Скиннера самым влиятельным из живущих психологов, а в 1975 году, по данным опроса, он оказался самым известным ученым в Соединенных Штатах. Даже и сегодня его эксперименты пользуются величайшим признанием.

Так откуда же дурная слава? А вот откуда. В своем интервью, данном в 1960-х годах Ричарду Эвансу, Скиннер открыто признал, что его успехи в социальной инженерии перекликаются с фашистскими методами и могут быть использованы тоталитарными режимами. Говорят, что Скиннер ничего так не желал, как формировать — и «формировать» в данном случае главное слово — поведение людей, обреченных иметь дело с шестеренками, кнопками, рычагами; от его прикосновения человек превращался бы в механизм. Существует даже легенда, что он построил ящик для своей новорожденной дочери Деборы, где и держал ее па протяжении двух лет с целью выработки условных рефлексов, отмечая процесс на графике. Согласно той

* Skinner {англ.} — съемщик шкуры, живодер.

же легенде, Дебора в возрасте тридцати двух лет привлекла отца к суду за издевательства, но проиграла дело и застрелилась на дорожке для боулинга в Биллингсе, штат Монтана. Ничего этого на самом деле не было, и все же миф живуч. Почему? Что в Скиннере такого, что до сих пор пугает?

Имя «Скиннер» фигурирует на тысячах сайтов в Интернете: вы найдете там проклятия возмущенного убийством невинного младенца отца; изображение черепа и слова, принадлежащие Айн Рэнд*: «Скиннер так одержим ненавистью к человеческому разуму и добродетели, ненавистью неудержимой и пламенной, что она испепеляет сама себя, и в конце концов не остается ничего, кроме серого пепла и зловонных углей»; своего рода мемориал Деборы, будто бы умершей в 1980-х («Дебора, наши сердца с тобой»). Но есть и маленькая красная стрелка с надписью: «Чтобы найти Дебору Скиннер, кликните здесь». Я так и сделала. Появилось изображение темноволосой женщины средних лет с пояснением, что это и есть Дебора Скиннер, живая и здоровая, а ее самоубийство — миф.

Мифы. Легенды. Слухи. Выдумки. Так какво же истинное наследие Скиннера? Может быть, разобраться помогут его эксперименты, дадут возможность просеять информацию и отделить факты от противоречивых суждений? Как пишет историк и психолог Джон Миллс, «Скиннер — тайна, скрытая под покровом загадок, каждая из которых — головоломка».

Я решила все-таки осторожно углубиться во все это...

Скиннер родился в 1904 году. В этом можно не сомневаться. В остальном же я столкнулась с множеством противоречий. Он был одним из первых американских бихевиористов, человеком, спавшим в ярко-желтом японском отсеке, именуемом «беддо», но неспособном работать, если на его столе не царил

* Рэнд Айн (1905—1982) — известная американская писательница.

полный беспорядок. О собственном жизненном пути он говорил так: «Поразительно, какое множество тривиальных случайностей влияет на жизнь... Не думаю, что моя жизнь хоть когда-то подчинялась плану». С другой стороны, он часто писал, что чувствует себя богом и «кем-то вроде спасителя человечества».

Начав работать в Гарварде, Скиннер встретил и полюбил женщину по имени Ивонна, которая впоследствии стала его женой. Я представляю себе, как вечерами по пятницам они в черном автомобиле с откинутым верхом под меланхолическую джазовую мелодию, льющуюся из приемника, отправлялись к Монхеганскому пруду, раздевались и ныряли в стоячую воду, более теплую, чем воздух, в свете луны, похожей на дырочку, вырезанную в небесах. В подвале библиотеки я нашла пыльные листы с описанием того, как после опытов по выработке условного рефлекса Скиннер вынимал голубя из ящика и держал птицу в своей огромной руке, поглаживая ее пушистую головку большим пальцем.

Я очень удивилась, узнав, что, прежде чем отправиться в Гарвард изучать психологию в 1928 году, Скиннер собирался стать писателем и провел полтора года, запершись на чердаке материнского дома и пытаясь написать роман. Мне так и осталось непонятно, как он переключился с лирической прозы на изучение времени возникновения условного рефлекса, — как возможно сделать столь резкий поворот? Скиннер писал, что в возрасте двадцати трех лет прочел в «Нью-Йорктаймс мэгэзин» статью Герберта Уэллса, в которой тот утверждал, что если бы ему нужно было выбрать, чью жизнь спасти — Ивана Павлова или Джорджа Бернарда Шоу, — он выбрал бы Павлова, потому что наука более целительна, чем искусство.

И действительно, мир нуждался в исцелении. Первая мировая война закончилась за десятилетие до того, контуженные солдаты страдали от назойливых воспоминаний и депрессии, психиатрические лечебницы были переполнены, и чувствава-

лась настоятельная потребность в какой-то новой схеме лечения. Когда Скиннер в 1928 году отправился в Гарвард, эта схема была по преимуществу психоаналитической. Все и повсюду ложились на кожаные кушетки, чтобы выудить из прошлого эфемерные обрывки воспоминаний. Царствовал Фрейд на пару с престарелым Уильямом Джемсом*, написавшим «Разнообразие религиозного опыта», книгу об интроспективном изучении душевных состояний, в которой не было ни единого уравнения. Таково было состояние психологии, когда в нее пришел Скиннер: это была область более близкая к философии, чем к физиологии, не предполагавшая каких-либо численных измерений. Типичным вопросом, который ставили перед собой психологи, был такой: «Что внутри нас видит, ощущает и мыслит, пока мы бодрствуем, временно исчезает во время сна и улетучивается навсегда в момент смерти?»

Интроспекция**. Ментализм. Это и были те пространства, куда вступил Скиннер — худой молодой человеке жестким помпадуром зачесанных волос. Его ярко-голубые глаза напоминали осколки фарфора. Как сам он писал, Скиннер хотел найти нечто новое, ощутить в руках и в сердце нечто значительное. Живя между Первой мировой войной и приближающейся Второй, он, возможно, чувствовал (хотя сам Скиннер, несомненно, воспротивился бы столь высокопарному выражению) потребность в действии, во вмешательстве и результатах, которые могли бы быть отлиты в бронзе, как пули.

* Джемс Уильям (1842—1910) — американский философ и психолог, основоположник прагматизма, развивал концепцию «поточка сознания», создал учение об эмоциях — один из истоков бихевиоризма.

** Интроспекция (самонаблюдение) — наблюдение человеком за внутренним планом своей психической жизни, позволяющее фиксировать ее проявления. Ряд направлений в психологии использовал интроспекцию в качестве единственного метода изучения психики. В современной психологии данные интроспекции учитываются лишь в качестве фактов, требующих научного истолкования.

Поэтому он и избегал всего «мягкого». Начал он (в рамках психологического курса Хадсона Хоугленда) с изучения рефлексов у лягушек. Прокалывая плотную кожу бедра, он измерял, сильно ли дергается лапка и далеко ли потом лягушка прыгает. Руки Скиннера пахли тиной, и он был полон энтузиазма.

Еще в начале своей карьеры в Гарварде Скиннер попал в психологическую лабораторию университета в Эмерсон-холле. Он увидел множество инструментов, куски латуни, зубила, гвозди, гайки в коробках из-под сигарет «Солсбери». Думаю, что тогда руки у него зачесались. Он хотел совершить нечто великое, и он всегда был ловок, умело манипулируя ножницами и пилой. Вот там-то, в этой тесной мастерской, Скиннер и начал делать свои знаменитые ящики из обрывков проволоки и ржавых железок.

Представлял ли он себе, что создает и какое огромное влияние это окажет на американскую психологию? Преследовал ли он заранее поставленную цель или просто поддался лирическому очарованию проволочно-латунной поэмы, так что результат удивил его самого? Ящик, оснащенный механизмами, в которых работает сжатый воздух, запоры которого были бесшумными, полный всяческих приспособлений, — обычный предмет, тем не менее сразу же приобретший, как волшебные зеркала, магические кристаллы и черные коты, яркий ореол.

Скиннер писал о тех временах: «Меня охватило невыносимое волнение. Все, чего я касался, предлагало новые и многообещающие направления действий».

Ночами в своей арендованной квартире Скиннер читал работы Павлова, чрезвычайно много ему давшие, и Уотсона*, долг перед которым, хоть и меньший, тоже оказался значительным. Павлов, великий русский ученый, практически жил в своей лаборатории — такова была его преданность делу. Многие годы

* Уотсон Джон Броудес (1878—1958) — американский психолог, один из основоположников бихевиоризма и автор этого термина.

он посвятил изучению слюнных желез своих любимых собак. Павлов обнаружил, что возможно выработать условный рефлекс: слюна начинает выделяться в ответ на звонок. Идея Скиннеру понравилась, но он хотел идти дальше: ему было мало какой-то слизистой мембраны, ему требовался организм в целом. Разве есть романтика в слюнотечении?

Павлов открыл то, что теперь называется классическим условным рефлексом. Это означает, что можно просто взять уже существующий рефлекс животного вроде моргания или слюноотделения и сформировать его связь с новым стимулом, так что рефлекс начинает проявляться в ответ на него. Такую роль играет знаменитый звонок, тот самый стимул, который собаки Павлова научились связывать с появлением пищи и выделять слюну при его звуке. Теперь нам с вами это открытие может и не казаться таким уж великим, но в те времена значение его было огромным. Его можно сравнить с расщеплением атома или с определением сингулярного состояния солнца. Никогда еще в человеческой истории не было такой возможности понять, насколько физиологичны наши считавшиеся свободными умственные ассоциации. Никогда еще люди не понимали так отчетливо пластичности неизменных форм поведения животного. Собаки Павлова пускали слюну, и мир изменил свое движение.

Скиннер размышлял. Он уже создал свои знаменитые (или мерзкие) ящики, пусть еще и пустые, а глядя в окно своей комнаты, постоянно видел белок, которые жили в парке Гарварда. Наблюдая за ними, Скиннер гадал, не удастся ли выработать условный рефлекс у организма в целом, а не просто у какой-то глупой железы. Другими словами, нельзя ли сформировать вид поведения — методом, который впоследствии Скиннер назвал оперантным научением, — не являющийся рефлекторным⁹ Есть условный рефлекс или нет, слюноотделение всегда существовало, существует и будет существовать — это полностью сформированное действие, проявляющееся само по себе, а не

только в ответ на звонок. С другой стороны, когда вы прыгаете, поете «Янки Дудл» или нажимаете на рычаг, надеясь получить еду, вы действуете не рефлекторно. Вы просто ведете себя в соответствии с обстоятельствами, используя то, что предлагает вам окружающая среда. Если можно выработать условный рефлекс, не удастся ли сделать еще один шаг вперед и сделать рефлекторным сальто-мортале или другое предположительно свободное движение? Не окажется ли возможным выбрать случайным образом какое-нибудь действие, например поворот головы вправо, и постоянно поощрять его, так что человек станет постоянно совершать это движение, как и предписывается оперантным научением? И если такое возможно, как далеко это заведет человечество? Через какие обручи и с какой легкостью мы научимся прыгать? Скиннер размышлял. Мне думается, он двигал руками так и этак, высовывался из окна, вдыхая запах белок, мускусный аромат ночи и помета, меха и цветов.

В июне того года случилось так, что уезжавший коллега отдал своих крыс Скиннеру. Тот посадил животных в свои ящики. Тогда все и началось. Через много времени — на это ушли годы — Скиннер обнаружил, что крысы, мозг которых не больше фасолины, быстро научаются нажимать на рычаг, если за это они поощряются пищей. Таким образом, если Павлов сосредоточил внимание на реакции животного в ответ на предупредительный стимул — звонок, Скиннер изучал поведение животных, возникающее как следствие предварительно совершаемого действия и только потом поощряемое получением пищи. Это был тонкий и не такой уж бросающийся в глаза нюанс по сравнению с павловскими экспериментами, прямое продолжение исследований Торндайка*, которые уже показали, что

* Торндайк Эдуард (1874—1949) — американский психолог, специалист в области сравнительной психологии и проблем обучения. Разработал методику исследования поведения животных при помощи «проблемных клеток» — клеток с секретом, «открыть» который должно само животное. Сформулировал закон «проб и ошибок».

кошки в решетчатых клетках, получавшие поощрение при случайном нажатии на педаль, могли научиться делать это целенаправленно. Однако Скиннер пошел дальше обоих этих ученых. Продемонстрировав, что его грызуны способны, случайно нажав на рычаг и получив за это шарик корма, превратить случайность в намеренное действие, основанное на прежнем опыте, он начал менять регулярность выдачи поощрения; в результате Скиннер открыл воспроизводимые универсальные законы поведения, не опровергнутые и по сей день.

Например, после того как крыса постоянно получала поощрение за каждое нажатие рычага, вводилась так называемая схема подкрепления с фиксированными интервалами. Согласно этому сценарию, животное получало лакомство только после трех нажатий на рычаг... или пяти... или двадцати. Представьте себя на месте крысы. Сначала стоит нажать на рычаг — и пожалуйста, пища перед вами; потом, нажав на рычаг, вы пищи не получаете; вы нажимаете еще раз — все равно никакой пищи; наконец, после третьего нажатия по лотку скатывается желанный шарик корма. Съев его, вы уходите, но потом возвращаетесь за новой порцией. На этот раз вы уже не берете на себя труд нажать рычаг один раз, а сразу своей розовой лапкой нажимаете его трижды. Вероятность получения подкрепления меняет характер реакции животного.

Скиннер также экспериментировал со схемами, когда подкрепление происходило через равные промежутки времени или вовсе отсутствовало. В последнем случае Скиннер вообще переставал поощрять крысу; обнаружилось, что после прекращения подкрепления через некоторое время животное переставало нажимать на рычаг, даже если слышало, как всюду вокруг полоткам катятся шарики корма. Подсоединив к клетке запищающее устройство, Скиннер смог наглядно зафиксировать, сколько времени требуется крысе на то, чтобы научиться правильному отклику, когда каждое нажатие рычага поощряется,

и через сколько времени после резкого прекращения подкрепления реакция угасает. Возможность точно измерять интервалы времени в случаях применения различных схем дала Скиннеру количественные данные, позволившие понять, как организмы учатся и как можно контролировать и предсказывать исход обучения. С достижением предсказуемости и контролируемости процесса родилась истинная наука о поведении, с кривыми распределения, графиками, отрезными точками и прочей математикой, и Скиннер был первым, кто использовал эти методы с такой подробностью и разнообразием.

Однако на этом Скиннер не остановился. Он стал исследовать результаты меняющихся схем подкрепления, и тут-то его и ждали самые значительные открытия. Он поощрял крыс пищей через меняющиеся промежутки времени, так что в большинстве случаев нажатие рычага ничего не давало животному, хотя изредка — скажем, после двадцатого или шестидесятого нажатия — лакомство появлялось. Интуиция подсказывает нам, что нерегулярное и редкое подкрепление вызовет безнадежность и угасание рефлекса, однако это оказалось не так. Скиннер обнаружил, что при меняющихся промежутках между поощрениями крысы продолжают с ослиным упорством нажимать на рычаг независимо от результата. Он изучал поведение животных при регулярном поощрении (скажем, за каждое четвертое нажатие) и при нерегулярном и обнаружил, что в последнем случае рефлекс труднее всего разрушить. Ага! Это было открытием, не уступавшим павловскому: Скиннер неожиданно получил возможность понять и объяснить странности в поведении не только крыс, но и людей: почему мы совершаем глупости, даже не получая постоянного поощрения за них, почему ваша лучшая подруга не отходит от телефона в надежде, что ее бессовестный бойфренд вдруг проявит доброту и позвонит, просто позвонит... Ах, пожалуйста, позвони! Почему совершенно разумные люди проигрывают & прокуренных залах казино все до гроша, несмотря на ожидающие их крупные не-

приятности. Почему женщины всем жертвуют ради любви, а мужчины рискованно играют на бирже. Все это основывается на одном и том же механизме нерегулярного подкрепления, и теперь Скиннер мог показать, как он работает, показать вероятность возникновения нерациональной навязчивой тяги к чему-то. А сила такой тяги огромна. Она властвует над нами с того момента, как Бог создал первого человека. Да, она огромна...

Впрочем, Скиннер и на этом не остановился. Если можно научить крыс нажимать на рычаг, то почему бы, например, не научить голубей играть в пинг-понг? Его интересовало, до каких пределов человек может формировать поведение другого существа? Вот что пишет Скиннер о попытках научить птицу клевать пластинку: «Сначала мы давали птице пищу, если она слегка поворачивала голову в сторону пластинки, в какой бы части клетки птица ни находилась. Поощрение увеличивает частоту такого поведенческого проявления. Мы продолжали поощрять птицу за принятие положения, все более близкого к пластинке, затем поощряли, только когда это сопровождалось наклоном головы, и наконец только когда клюв касался пластинки. Таким образом, при помощи оперантного научения можно выработать редкие и сложные виды поведения, обычно не встречающиеся в репертуаре данного организма».

Действительно, редкие... Используя бихевиористские методы Скиннера, его последователи сумели научить кролика брать в рот монету и бросать ее в копилку. Им также удалось научить свинью пользоваться пылесосом.

Основываясь на результатах этих экспериментов, Скиннер разработал свою безжалостно редуccionистскую философию. Он начал, окруженный своими ключющими пластинки голубями, атаку на такие понятия, как *восприятие*, *чувство*, *страх*. Страха не существует: есть только определенная кожная гальваническая реакция и невольная дрожь мускулов, производящая 2,2 вольта энергии. Так почему же мы не отмахиваемся от Скиннера как от свихнувшегося радикала? Нетолько потому, что

он создал науку о поведении. Его взгляды были смелыми, оптимистическими, патриотическими. Они лишали американцев их драгоценной независимости, но одновременно возвращали ее им обновленной и более совершенной. Мир Скиннера обещал абсолютную свободу, полученную благодаря ее противоположности: конформизму. Стоит нам согласиться на бездумное обучение, и мы получим безграничные биологические возможности, далеко выходящие за рамки «репертуара» нашего вида. Если голуби могут играть в пинг-понг, то человек, возможно, способен научиться совершенно поразительным вещам. Все, что для этого требуется, — правильное обучение, и мы перешагнем границы собственных тел со свойственными им ограничениями.

Известность Скиннера медленно росла. Он начал разрабатывать обучающие машины, создал теорию овладения языком на основании оперантного научения, обучал голубей наведению ракет на цели во время Второй мировой войны. Скиннер написал книгу «Уолден-два», в которой предлагалось создание общины на основе «поведенческой инженерии», где сила положительного подкрепления использовалась бы для научного контроля над людьми. На взгляд Скиннера, идеальная община должна была бы управляться не политиками, а доброжелательными бихевиористами, вооруженными конфетками и голубыми ленточками. Он также написал книгу «За пределы свободы и достоинства», о которой критик отозвался так: «В ней говорится о приручении человечества при помощи всеобщей школы собачьего послушания».

Скиннер умер прежде, чем смог применить свои великие эксперименты в социальной сфере. Он умер от лейкемии в 1990 году. Сумел ли он в последний момент понять, что заключительному акту жизни, которым является смерть, нельзя научиться и его нельзя преодолеть?

Какое место можем мы отвести Скиннеру? Возможные приложения его экспериментов вызывают тревогу; с другой сторо-

ны, его открытия весьма значительны. Они, по сути, объясняют человеческую глупость, а любое исследование, объясняющее глупость, — блистательно.

Джером Каган — современник Скиннера, сохранивший много воспоминаний о своем коллеге. Профессор психологии Гарвардского университета, он хорошо способен оценить Скиннера и то место, которое тот занимает в науке XX века. Я отправляюсь повидаться с ним.

Здание, в котором размещается кабинет Кагана, Уильям-Джемс-холл, находится на реконструкции, и мне приходится блуждать по бетонному лабиринту, украшенному надписями «Опасно! Без каски не входить!». Наконец я нахожу лифт. Все здание погружено в торжественную тишину, и только откуда-то из глубин, из подвалов, где хранятся всяческие артефакты (среди них, возможно, и ящики Скиннера), доносится стук отбойных молотков и тихая команда «Пошевеливайтесь!».

Я выхожу на пятнадцатом этаже. Двери лифта раздвигаются, и передомной, как в ночном кошмаре, сидит маленькая черная собачка — той-терьер, высунув красный язычок, особенно яркий на фоне черной шерсти. Собачка пристально смотрит на меня, как бдительный часовой. Я люблю собак, но только не той-терьеров. Интересно, почему? В детстве у меня был той-терьер, и он укусил меня — может быть у меня выработался условный рефлекс против той-терьеров? А при помощи поощрения меня можно заставить предпочитать шитсу овчаркам? Так или иначе, я наклоняюсь, чтобы погладить собачку, и она, словно почувствовав мою неприязнь, скалит совсем не игрушечные зубы, рычит и пытается тяпнуть меня за руку.

— Гамбит! — кричит какая-то женщина, выбегая из одного из кабинетов. — Гамбит, прекрати! Боже мой, он вас не укусил?

— Все в порядке, — отвечаю я. На самом деле это не так: меня трясет. Я получила негативное подкрепление — нет, даже наказание. Никогда больше не стану доверять той-терьерам, и я совершенно не хочу, чтобы мое отношение к ним изменилось.

Скиннер сказал бы, что может изменить мое отношение, только насколько я способна изменяться, насколько мы все на это способны?

Профессор Каган курит трубку. Его кабинет пропах сладковато-кислым пеплом. Он говорит с полной уверенностью, типичной для представителя «Лиги плюща»*:

— Позвольте вам сказать, что первая глава должна быть посвящена не Скиннеру. Первым был Павлов в начале XX века, а потом, на десятилетие позже, — Торндайк. Они-то и провели первые опыты по выработке условных рефлексов. Скиннер уточнил полученные ими данные, однако полученные им результаты не объясняют возникновения языка, мышления, рассуждений, метафор, оригинальных идей и вообще когнитивных процессов. Не объясняют они и чувства вины или стыда.

— А как насчет, — спрашиваю я, — тех экстраполяции, которые Скиннер делал из своих экспериментов? Будто бы у нас нет свободной воли, будто бы нами управляют одни только подкрепления? Вы в это верите?

— А вы в это верите? — отвечает мне Каган.

— Ну, — говорю я, — нельзя полностью исключить возможность того, что мы постоянно находимся под контролем, что наша свободная воля на самом деле всего лишь отклик на определенный стимул...

Прежде чем я успеваю договорить, Каган ныряет под свой письменный стол — ныряет в буквальном смысле слова: вскакивает с кресла и головой вперед устремляется в скрытое под крышкой пространство, так что я его больше не вижу.

— Я под столом, — кричит он оттуда. — Я никогда раньше не залезал под стол. Разве это не акт свободной воли?

* «Лига плюща» — группа самых престижных университетов и колледжей на северо-востоке США, известных высоким уровнем научных исследований. Название связано с английской традицией: стены университетов обычно увиты плющом.

Я моргаю. Там, где только что сидел Каган, теперь пустота. Из-под стола доносится шуршание. Я несколько беспокоюсь: во время телефонного разговора, когда мы договаривались насчет интервью, Каган упомянул, что у него болит спина.

— Ну, — бормочу я, чувствуя, как у меня холодеют от страха руки, — наверное, это может быть и актом свободной воли, и просто...

Каган снова не дает мне договорить. Он не вылезает из-под стола и продолжает разговор, скорчившись там. Я по-прежнему его не вижу, до меня только доносится словно отделенный от тела голос.

— Лорин, — говорит Каган, — Лорин, вы не можете объяснить мое пребывание под столом ничем, кроме моей свободной воли. Это не отклик на поощрение или стимул: я ведь никогда раньше под стол не залезал.

— О'кей, — говорю я.

Мы некоторое время сидим молча — я в кресле, он под столом. Мне кажется, что я слышу, как эта противная собачонка скребется в холле. Мне страшно туда выходить, но и оставаться здесь я больше не хочу. Я раздираюсь между двумя возможностями, так что сижу совершенно неподвижно.

Как мне кажется, Каган несколько недооценивает вклад Скиннера. Ведь наверняка эксперименты Скиннера — даже если они вторичны — важны для современного мира и нашего стремления к лучшей жизни. В 1950—1960-х годах методы Скиннера начали использовать в государственных психиатрических лечебницах для помощи пациентам, страдающим тяжелыми психозами. Благодаря схеме оперантного научения безнадежно больные шизофреники оказались способны самостоятельно одеваться и есть, получая за каждую ложку поощрение в виде страстно желаемой сигареты. Впоследствии врачи стали применять такие методы, как десенсибилизация и погружение, позаимствованные из скиннеровского репертуара, для лечения фобий

и панических расстройств; эти бихевиористские техники все еще широко применяются и явно сохраняют свою эффективность. Как говорит Стивен Косслин, профессор психологии Гарвардского университета, «Скиннер еще вернется, я уверенно могу это предсказать. Я остаюсь ярим его поклонником. Ученые совершают увлекательные новые открытия в области нервных субстратов, лежащих в основе открытий Скиннера». Косслин указывает на свидетельства того, что в мозгу существует две основные системы, ответственные за научение: базальные ганглии, паутина синапсов в глубине древних отделов мозга, борозды которого ответственны за формирование навыков, и фронтальная кора, та самая покрытая извилинами выпуклость, которая росла вместе с человеческим разумом и амбициями. Фронтальная кора, по гипотезам специалистов в области нейронаук, то самое образование, благодаря которому мы научились независимо мыслить, предвидеть будущее и строить планы, основываясь на прошлом опыте. Именно там рождается креативность и все ее удивительные проявления, но, как говорит Косслин, «только часть наших когнитивных процессов связана с корой головного мозга». Значительная часть научения, по его словам, «основывается на навыках, и эксперименты Скиннера побуждают нас искать нервные субстраты формирования этих навыков». Другими словами, Косслин утверждает, что Скиннер побудил ученых изучать базальные ганглии, повел их все дальше и дальше в глубины мозга, так что они, разбираясь в нервных сплетениях, выясняют биохимию, лежащую в основе поведения ключущих голубей, нажимающих на рычаг крыс и тех рефлексов, благодаря которым мы совершаем сальто-мортале летом на зеленой лужайке.

Брайан Портер, психолог-экспериментатор, применяющий разработанные Скиннером методы для решения проблем безопасности дорожного движения, говорит: «Конечно, бихевиоризм не порочен и не устарел. Скиннеровский бихевиоризм лежит в основе многих полезных социальных изменений. Используя со-

ответствующие техники, мы сумели снизить распространение лихачества на дорогах; например, случаев пересечения перекрестков на красный свет стало на 10—12% меньше. Благодаря Скиннеру мы знаем, что поощрение эффективнее наказания в формировании желательного вида поведения. Техники, основанные на скиннеровском бихевиоризме, помогают огромному числу людей избавиться от фобий и тревожности. Открытия Скиннера открывают заманчивые перспективы и в политике, если только наше правительство окажется в состоянии это понять».

Моя дочка плачет по ночам. Она просыпается в поту, и сневидение медленно таете пробуждением. «Тихо, тихо», — шепчу я, прижимая ее к себе. Ее пижамка влажная, темные кудряшки спутались. Я глажу дочку по головке, где уже закрылся родничок, касаюсь лобика, за которым фронтальная кора с каждым днем образует все больше связей, растираю затылок, где, как мне представляется, скрываются ганглии, похожие на клубки водорослей. Я по ночам обнимаю свое дитя, а за окном воет собака, напоминающая в лунном свете белый кусочек мыла.

Сначала дочка плачет потому, что бывает испугана: ей снятся страшные сны. Ей всего два годика, и ее мир расширяется с пугающей быстротой. Однако с течением времени она начинает плакать, желая, чтобы ее приласкали. Она привыкла к этим предрассветным объятиям, к ритму покачиваний, а за окном небо щедро усыпано звездами... Мы с мужем совершенно замучились.

— Может быть, нам следует скиннеризировать ее? — говорю я.

— Следует сделать *что*? — переспрашивает муж.

— Может быть, стоит прибегнуть к методам Скиннера, чтобы отучить малышку от плохой привычки? Каждый раз, когда мы подходим к ней ночью, мы осуществляем то, что Скиннер назвал бы положительным подкреплением. Нам нужно добить-

ся, чтобы привычка угасла благодаря тому, что мы уменьшим, а потом и прекратим свои отклики.

Эта беседа с мужем происходит в постели. Мне самой удивительно, как гладко я выговариваю термины, введенные Б.Ф. Я рассуждаю совсем как эксперт. Говорить на языке Скиннера так занятно! Хаос побежден, мы снова высыпаемся.

— Так ты предлагаешь, — говорит муж, — чтобы мы просто позволяли ей плакать, пока она не заплачется и не уснет? — Голос его звучит устало. Всем родителям знакомы такие споры.

— Нет, — говорю я, — послушай! Нам не нужно, чтобы она заплакалась. Нужно создать строгую последовательность уменьшающегося подкрепления. В первый раз, когда она заплачет, мы подойдем к ней на три минуты; в следующий раз — на две. Можно воспользоваться секундомером. — В моем голосе звучит возбуждение... или это все-таки тревога? — Потом мы постепенно будем увеличивать время, в течение которого мы позволяем ей плакать. Очень, очень постепенно. Так мы в конце концов добьемся угасания привычки благодаря угасанию откликов. — Говоря это, я вожу пальцем по простыне; она имеет рисунок в клетку, который раньше казался мне умильно деревенским, а теперь напоминает используемую в лабораториях бумагу для самописца...

Мой муж смотрит на меня — настороженно, следует добавить. Он не психолог, а если бы был таковым, то принадлежал бы к школе Карла Роджерса*; у него мягкий голос и мягкие движения.

— Не знаю... — говорит он. — Чему именно, по-твоему, мы ее так научим?

— Спать ночью в одиночестве, — отвечаю я.

— Или, — возражает он, — обнаружить, что когда ей требуется помощь, мы не обращаем на это внимания, что когда воз-

* Роджерс Карл (1902—1987) — американский психолог и психотерапевт, применявший методы гуманистической психологии и клиенто-центрированной терапии.

никаст опасность, реальная или мнимая, нас рядом не оказывается. Это не такой взгляд на мир, который я хотел бы привить дочери.

Впрочем, спор я выигрываю. Мы решаем скиннеризировать нашу дочку, хотя бы только потому, что остро нуждаемся в отдыхе. Вначале это кажется ужасно жестоким — слышать, как она зовет: «Мама, папа!», укладывать в кровать, когда она протягивает ручки в темноту, — но мы выдерживаем характер, и все получается как по волшебству, точнее, по науке. Через пять дней наша крошка ведет себя, как обученный нарколептик*: стоит ей коснуться щекой подушки в кровати, как она беспробудно засыпает на десять часов, и ночами нас никто не беспокоит.

Нам удалось! И теперь никто нас не будит! Только бывает, что мы с мужем не можем уснуть. Не забыли ли мы включить монитор? Достаточно ли высоко над кроватью камера? А может быть, пустышка порвалась и задушит нашу малышку? Мы не спим, и иногда монитор доносит до нас дыхание дочки, похожее на шелест статических разрядов, но ни разу — ее голос: ни плача, ни смеха, ни милого детского лепета. Словно ей мешает какой-то сверхъестественный кляп...

Малышка так спокойно спит в своем белом ящике... кровати.

Некоторые из настоящих скиннеровских ящиков хранятся в Гарварде. Я отправляюсь посмотреть на них. Они находятся в подвале Уильям-Джемс-холла, который все еще ремонтируется. Мне приходится надеть каску — тяжелую желтую скорлупу. Я спускаюсь по лестнице все ниже и ниже. Воздух делается влажным, и большие черные мухи жужжат, как нейроны, решающие сложную задачу. Стены подвала осыпаются, и если вы касаетесь их рукой, на ней остается тонкая белая пыль. Я прохожу мимо рабочего в высоких сапогах и с сигаретой, мерцаю-

* Нарколепсия — внезапные непреодолимые приступы сна.

ший кончик которой похож на воспаленный прыщ у него на губе. Мне мерещится, что подвал полон крыс; они снуют вокруг ящиков, их глазки светятся красным, голые хвосты мелькают туда и сюда: какая свобода!

Впереди я вижу огромное темное пятно на стене... или это тень?

— Вон они, — показывает мне сопровождающий, местный служащий.

Я иду вперед. Из полумрака выступают большие стеклянные витрины, внутри одной из которых мне мерещится какой-то скелет. Подойдя поближе, я вижу, что это останки птицы; ее полые легкие косточки соединены так, что птица кажется летящей. Череп испещрен мелкими дырочками. Наверное, это один из голубей Скиннера, в глубоких глазницах мерцает живой огонек... потом наваждение рассеивается.

Я перевожу взгляд с ящика на ящик и удивляюсь тому, что вижу. Скелет вполне соответствует зловещей репутации Скиннера, но ящики, знаменитые ящики — неужели это и есть наводившие страх черные ящики? Они, кстати, не черные, а невыразительного серого цвета. То ли я читала где-то, что они черные, то ли это просто мое измышление — странное пересечение факта и мифа? Нет, эти ящики не черные, и к тому же они выглядят довольно хлипкими; снаружи видно записывающее устройство, внутри — маленькие рычажки. Рычажки такие маленькие, что почти вызывают умиление, а вот лотки, по которым скатывались шарики корма, блестят холодным хирургическим хромом. И вот что я делаю: я сую голову внутрь ящика — открыв дверцу, я просовываю голову как можно глубже в ящик Скиннера, ощущая запах помета, страха, пищи, перьев — всяких мягких и твердых вещей, плохих и хороших. Как быстро предмет становится из привлекательно-зловещим... как трудно оценить по достоинству даже ящик.

Возможно, думаю я, самый правильный путь к пониманию Скиннера — воспринимать его как двух человек, а не одного.

Есть Скиннер-идеолог, страшноватая личность, мечтавшая о создании общин, где людей дрессировали бы, как собачек, и есть Скиннер-ученый, сделавший замечательные открытия, навсегда изменившие наши представления о том, чем определяется поведение. Имеются полученные Скиннером данные, неоспоримые и блестящие, подкрепление через нефиксированные интервалы, широкая область видов поведения, которые можно формировать, усиливать, ослаблять, и имеется скиннеровская философия, благодаря которой, как мне кажется, он и заработал свою темную репутацию. Эти две стороны индивидуальности Скиннера оказались перемешаны в общественном восприятии (и уж в моем восприятии наверняка), в результате чего наука и порожденные ею идеи соединились в каком-то мифическом сплаве. Однако можно ли разделить научные открытия и их возможное применение человечеством? Можем ли мы рассуждать о расщеплении атома в чистом виде, отвлекшись от бомбы и ее бесчисленных жертв? Разве наука не укоренена в социуме, и ценность наших открытий не является нерасторжимо связанной с употреблением, которое мы им находим? Вот так мы и ходим по кругу, пытаясь найти выход из лексического и грамматического лабиринта, разрешить этическую и интеллектуальную проблемы, имеющие чрезвычайную важность: будто бы науку и ее данные лучше всего оценивать, держа их взаперти в ящике, подальше от человеческих рук, которые неизбежно придадут им ту или иную форму.

Если отвлечься от вопроса о применении как критерии ценности научных открытий, то каковы механизмы, способствовавшие обретению Скиннером дурной славы? Как и почему возникли странные мифы о покончившей с собой дочери (которая, похоже, жива), о черных ящиках, об ученых, превращающих людей в роботов, почему такой взгляд оказывается предпочтительнее более взвешенной (к которой я постепенно пришла) оценке человека, колебавшегося между лирической прозой и перемальванием цифр, человека, нырявшего в теплую воду

пруда после занятий с крысами и голубями, человека, напевавшего мелодии Вагнера, полные сантиментов, изучая рефлекссы зеленой лягушки? Почему вся эта многогранность оказалась потеряна? Наверняка в этом отчасти виноват сам Скиннер. «Он был алчен, — говорит пожелавший остаться анонимным коллега. — Он сделал единственное открытие, а желал распространить его на весь мир; вот и споткнулся».

И все же нас отвращает от Скиннера не только его алчность. Изобретая новые приспособления, Скиннер поднял вопросы, которые оказались оскорблением человеку западного мира, гордящемуся своей свободой, но одновременно испытывающему большие сомнения насчет того, насколько эта свобода основательна. Наша боязнь редукционизма*, подозрения по поводу того, не является ли наше поведение всего лишь набором автоматических реакций, не возникли, как многие предпочли бы думать, только с приходом индустриальной эры. Они много, много старше. Еще с тех пор, как Эдип бунтовал против своей неумолимой судьбы или Гильгамеш пытался освободиться от роли, отведенной ему богами, люди гадали и тревожились о том, в какой мере мы сами дирижируем своими поступками. Работы Скиннера, как и некоторые другие, оказались тем сосудом, освещенным блеском металла машин XX века, в котором скопились наши постоянно обновляющиеся страхи.

Прежде чем уйти из подвала, где хранятся архивы Скиннера, я делаю еще одну остановку: мне хочется увидеть тот детский ящик, в которой маленькая Дебора провела первые два с половиной года своей жизни. Сам ящик, как выяснилось, был разобран, но мне показывают его изображение в «Журнале для домохозяек», который в 1945 году напечатал

* Редукционизм — методологическая установка, направленная на сведение явлений одного порядка к качественно иным явлениям (например, психических — к физиологическим или биохимическим).

статью об этом изобретении Скиннера. «Журнал для домохозяйек» был, пожалуй, не лучшим местом для публикации, если вы хотели поддержать свою научную репутацию. Тот факт, что Скиннер выбрал этот второстепенный женский журнал, свидетельствует о его весьма невысоких пиаровских навыках.

Статья называется «Младенец в ящике»; рядом с заглавием помещена картинка, на которой улыбающаяся Дебора упирается пухлыми ручками в плексигласовую стенку. Однако читаем дальше. Ящик для младенца, как выясняется, представляет собой всего лишь усовершенствованный манеж, в котором малышка Дебора проводила по нескольку часов в день. Благодаря термостату в нем поддерживалась постоянная температура, и ребенок не страдал ни от опрелостей, ни от насморка. По этой же причине отпадала надобность в подгузниках и пеленках, и мамочка могла избавиться от своего постоянного кошмара: как бы ребенок в них не задохнулся. Скиннер придумал специальную обивку, впитывавшую влагу и запахи; в результате время, затрачиваемое женщиной на стирку, сокращалось вдвое, что было особенно ценно в те времена, когда одноразовые памперсы еще не были придуманы. Все это представляется вполне гуманным, можно даже сказать — феминистским. Если же дочитать статью до конца, оказывается, что благодаря по-настоящему благоприятной окружающей среде (младенцу не грозили негативные подкрепления—даже упав, он не ушибся бы, поскольку углы манежа тоже имели мягкую обивку) ребенок получал одни только поощрения; Скиннер надеялся, что таким образом вырастит уверенного в себе головореза, полагающего, что может справиться со всем, что его окружает, и что таким же будет и его взгляд на мир в целом.

Все это, несомненно, выглядит весьма прогрессивным и благородным, так что Скиннера твердо можно зачислить в ряды гуманистов. Однако (а в моем рассказе «однако» встречается постоянно) статья содержит и предложения читателей: как назвать

новое приспособление. «Вырабатыватель условных рефлексов ребенка» — довольно пугающе, если не просто глупо...

В Интернете можно обнаружить тысячи и тысячи Дебор Скиннер, но ни одна не оказывается той, которая мне нужна. Мне хочется найти дочь Б.Ф., удостовериться, что она жива. Я звоню Деборе Скиннер, автору поваренной книги, и четырехлетней Деборе Скиннер, и еще нескольким носительницам этого имени. Мне попадаются Деборы, торгующие цветами, Деборы-физиотерапевты, Деборы-риэлторы, но ни одна из них не признает родства с Б.Ф. Скиннером.

Нет, найти нужную мне Дебору в Америке не удастся; нет и свидетельств о ее смерти в Биллингсе, штат Монтана. Но вот кого я нахожу, прибегнув к неоценимой помощи Интернета, — это ее сестру, Джулию Варгас, профессора педагогики Западно-Вирджинского университета. Я набираю ее номер.

— Я пишу книгу о вашем отце, — говорю я, удостоверившись, что она на самом деле дочь Б.Ф. Скиннера. Мне слышно, как где-то на заднем плане звякают кастрюли и стучит нож — чоп-чоп, — и представляю себе ее, другую дочь Скиннера, не попавшую в миф, нарезающую картошку и ярко-оранжевую морковку на старой разделочной доске в уединении своей кухни.

— Вот как, — говорит она, — и что же о нем вы пишете? — Нет сомнения: в голосе ее звучит подозрительность, она явно готова дать отпор.

— Я пишу, — отвечаю я, — о великих психологических экспериментах и хочу включить в книгу сведения о вашем отце.

— Ох... — говорит она и умолкает.

— Вот я и подумала, что вы могли бы рассказать мне, что он был за человек.

Чоп-чоп... я слышу, как где-то хлопает дверь.

— Я подумала, — повторяю я, — что вы могли бы сказать мне, что думаете...

— Моя сестра жива, и у нее все хорошо, — перебивает меня миссис Варгас. Я, конечно, ее об этом не спрашивала, но мне понятно, что такой вопрос ей задавали многие, и она знает, что все расспросы о ее семье этим начинаются и кончаются, оставляя в тени выдающиеся научные достижения ее отца.

— Я видела ее портрет на сайте в Интернете, — говорю я.

— Она художница, — объясняет Джулия, — живет в Англии, счастлива в замужестве. Она научила своего кота играть на рояле.

— Была ли она близка с отцом? — спрашиваю я.

— О, мы обе были с ним очень близки, — говорит Джулия и снова умолкает; на этот раз я практически вижу все, чем заполнено это молчание: воспоминания, чувства, прикосновение отцовской руки к детской головке... — Мне ужасно его не хватает, — вздыхает Джулия.

Нож больше не стучит по доске, и дверь больше не хлопает. Место этих звуков занимает голос Джулии Варгас, полный чего-то похожего на ностальгию. Сдержаться она не может.

— Он имел подход к детям, — говорит Джулия. — Он их любил. Наша мать... — Но фразу она не договаривает. — А папа... папа делал для нас воздушных змеев, замечательных змеев, которых мы запускали над Монхеганом. А еще он каждый год водил нас в цирк, а нашу собаку, Хантера, научил играть в прятки. Он мог научить животное чему угодно, так что Хантер играл в прятки, и это было замечательно... А змеев мы делали из дощечек и бечевки, и они летали высоко в небе.

— Так что для вас, — говорю я, — он был самым замечательным отцом.

— Да, — отвечает Джулия, — он точно знал, что нужно ребенку.

— А как насчет... — говорю я, — всей той критики, которую вызвали его работы?

Джулия смеется, хотя этот смех больше похож на лай.

— Я сравниваю его с Дарвином, — говорит она. — Люди отвергали идеи Дарвина, потому что боялись их. Идеи моего отца тоже пугают, но они не менее велики, чем открытия Дарвина.

— Вы согласны со всеми идеями своего отца? — спрашиваю я. — Вы согласны с тем, что мы — просто автоматы, что мы лишены свободы воли, или вы думаете, что он сделал слишком далеко идущие выводы из экспериментальных данных?

Джулия вздыхает.

— Знаете ли, — говорит она, — если мой отец и сделал в чем ошибку, так это в том, какие слова выбирал. Люди услышали слово «контроль» и сочли его фашистом. Если бы отец сказал, что люди *получают информацию* от окружающей среды или что окружающая среда их *вдохновляет* на определенные поступки, никаких проблем не возникло бы. Что касается моего отца, — продолжает Джулия, — истина заключается в том, что он был пацифистом. Еще он защищал права детей. Он не верил в пользу каких бы то ни было наказаний, потому что на примере животных убедился в их бесполезности. И еще мой отец добился отмены смертной казни в Калифорнии, но об этом никто не вспоминает.

Никто не вспоминает, — повышает голос Джулия, начиная сердиться, — что отец отвечал на каждое приходившее к нему письмо, в то время как эти *гуманисты*, — она практически выплевывает слово, — эти *так называемые гуманисты*, представители школы «У меня все о'кей, у тебя все о'кей», даже не берут па себя труд отвечать своим поклонникам. Они слишком заняты. Мой отец никогда не оказывался слишком занят, когда люди обращались к нему.

— Нет, нет, конечно, — говорю я, чувствуя некоторый страх. Голос Джулии звучит слишком напряженно, она слишком страстно защищает своего дорогого папочку.

— И позвольте сказать вам еще кое-что, — продолжает Джулия, и по ее тону я понимаю, что сейчас прозвучит важный воп-

рос, вопрос, который поставит меня на место. — Вот скажите мне, только честно...

— Обязательно, — отвечаю я.

— Вы хоть читали такие его работы, как «За пределы свободы и достоинства», или вы тоже из тех ученых, которые пользуются вторичными источниками?

— Ну... — начинаю я заикаться, — поверьте, я читала многие работы вашего отца...

— Верю, — перебивает она меня, — но как насчет «За пределы свободы и достоинства»?

— Э-э... нет, — мямлю я. — Я интересовалась его-чисто научными публикациями, а не философскими.

— Нельзя разделить науку и философию, — говорит Джулия, отвечая на тот вопрос, который я уже задавала себе. — Так вот вам домашнее задание. — Теперь ее голос звучит, как голос матушки, тетушки или старой учительницы — спокойно и тепло. Я снова слышу «чоп-чоп» — нож режет картошку и морковь. — Выучите свой урок, и тогда поговорим.

В тот вечер, уложив дочурку спать, я берусь за потрепанный томик под названием «За пределы свободы и достоинства» — сочинение, которое я относил к тоталитаристским текстам вроде «Майн кампф»; они стоят на моей книжной полке, но прочесть их я никак не удосуживаюсь.

«Ситуация постоянно ухудшается, и приводит в уныние то, что все большая вина за это ложится на технологию. Улучшение санитарных условий и успехи медицины сделали особенно острыми проблемы контроля над численностью населения. Войны стали особенно разрушительны с изобретением ядерного оружия, а бездумная погоня за удовлетворением потребностей в ответе за загрязнение окружающей среды».

Хотя это было написано в 1971 году, я вполне могу себе представить, будто читаю речь Альберта Гора или недавнее заявление партии зеленых. Не спорю: дальше Скиннер говорит неко-

торые вещи, которые вызывают тревогу: «Поставив под вопрос контроль, который осуществляет над своей жизнью отдельный человек, и показав роль влияния окружающей среды, наука о поведении тем самым подвергает сомнению концепции достоинства и значимости человека». Однако такие высказывания тонут в чисто прагматических рассуждениях. Скиннер недвусмысленно пропагандирует социальную политику, основывающуюся на собственных экспериментальных данных. Он призывает нас оценить несомненный контроль (или влияние) окружающей среды и придать окружающей среде такой вид, чтобы она осуществляла «позитивное подкрепление»; другими словами, Скиннер призывает поощрять адаптивное и креативное поведение граждан. Он советует обществу создавать такие стимулы, которые заставляли бы нас проявлять лучшие свои качества и подавлять те, которые ведут к деградации (как в тюрьмах и трущобах). Скиннер предлагает отказаться от наказаний, от унижения. Кто мог бы с этим спорить? Так не стоит ли отказаться от риторики, подменяющей честные намерения трескучими фразами?

В книге Скиннера написано: «Главная беда нашего века — не тревожность, а войны, преступность и другие напасти. Чувства — это побочный продукт поведения». В сказанном — суть скиннеровского многократно критиковавшегося антиментализма, его убеждения, что следует обращать внимание не на разум, а на поведение. На самом деле это не отличается от любимого изречения вашей матушки: «Дела говорят громче, чем слова». По мнению Скиннера — и последователя «Нью Эйдж»* Нормана Казинса, — когда мы действуем подло, наши чувства становятся чувствами подлецов, а не наоборот. Согласны вы с

* «Нью Эйдж» — возникшая в США в 1980-х годах субкультура, приверженцы которой считают, что начинается эра духовного обновления человека и общества. Движение включает широкий спектр верящих в личный духовный рост, холистическую медицину, реинкарнацию, астрологию и т.д.

этим или нет, такую позицию едва ли можно назвать антигуманной. В равной мере нельзя считать, когда Скиннер пишет о том, что человек существует в неразрывной связи с окружающей средой и никогда не может быть от нее свободным, будто он этим налагает на человечество сковывающие его цепи (как это было воспринято многими); речь идет просто о серебряистой паутине, связывающей нас со всем на свете. Я видела, как Джером Каган залез под стол, уверяя меня, что проявляет свободную волю и способен существовать независимо от окружающей среды; может быть, он действовал, опираясь на сомнительную патриархальную традицию. Сточки зрения Скиннера, мы все связаны друг с другом и должны нести ответственность за соединяющие нас веревочки. Попробуйте сравнить такую позицию с мнением современной феминистки Кэрол Гиллиган, считающей, что мы живем в сетях взаимозависимости, и женщины понимают и уважают это обстоятельство. И Гиллиган, и все феминистски настроенные психотерапевты утверждают, что мы вовсе не совершенно независимы, а состоим в родстве, и что пока мы не примем соответствующую картину мира и не создадим мораль, основанную на этом неоспоримом факте, общество будет продолжать разрушаться. Откуда Гиллиган, Джин Бейкер Миллер и другие феминистки почерпнули свои теории? В их работах таится дух Скиннера; может быть, его следует считать первым психологом-феминистом или все психологи-феминисты являются тайными скиннерианцами? В любом случае мы воспринимали Скиннера слишком упрощенно. Похоже, мы сильно ограничили его в свободе, прежде чем ему удалось поместить нас в свой ящик.

Джулия, приехавшая по делам в Бостон, приглашает меня посетить старый дом Скиннеров на Олд Ди-роуд в Кембридже. Я приезжаю туда чудесным весенним днем; сады полны цветущей сирени. Джулия оказывается пожилой женщиной, гораздо старше, чем я ее себе представляла, с тонкой прозрачной

кожей и зелеными глазами. Она впускает меня в дом. Этой есть жилище Б.Ф. Скиннера, куда он возвращался после долгих часов в лаборатории, где изучал удивительную пластичность живых существ, наши связи с обществом и все их разнообразные проявления. Оперантное научение — сухое и холодное название для концепции, которая в действительности может означать, что мы — одновременно скульпторы и скульптуры, художники и картины, несущие ответственность за собственное творение.

Дом по-прежнему принадлежит семье Скиннера. В настоящее время в нем живет внучка Б.Ф., Кристина, которая, как сообщает мне Джулия, является закупщицей для «Файлинс»*. Кухонный стол завален каталогами, фотографии моделей в черных кружевных трусиках соседствуют со старыми снимками Павлова и его пускающей слюни собаки.

Джулия ведет меня в кабинет своего отца, откуда больше десяти лет назад его забрали в госпиталь, где он и умер. Открывая дверь, Джулия говорит:

— Я сохранила все в точности так, как было при отце.

Мне кажется, что я слышу в ее голосе слезы. В кабинете душно. У одной стены стоит огромный желтый ящик, в котором Скиннер спал или слушал музыку. На стенах фотографии девочек — Деборы и Джулии, собаки Хантера. Большая книга на столе открыта на той же странице, что и много лет назад. Рядом — очки Скиннера. Там же бутылочки с витаминами, которые он принимал; несколько капсул Скиннер так и не успел принять, когда его увезли, а вскоре и похоронили в последнем в его жизни ящике — настоящем черном ящике. Я касаюсь бутылочек и стакана, в котором виден какой-то высохший синий эликсир. Мне кажется, что я ощущаю запах Б.Ф. Скиннера — запах старости и эксцентричности, пота, собачьей слюны, птичьего помета, безмятежности. На полке стоят папки, и я читаю этикетки на них:

* Сеть универмагов по продаже со скидкой товаров известных дизайнеров.

«Голуби, играющие в пинг-понг», «Эксперимент с вентилируемой колыбелью» и в самом конце — «Являюсь ли я гуманистом?». Есть что-то говорящее о трогательной уязвимости в том, что этот вопрос, возможно, самый важный, задан так откровенно.

— Можно мне прочесть? — спрашиваю я Джулию.

— Конечно.

Мы обе говорим шепотом в этой комнате, где сохранено прошлое. Джулия достает папку. Почерк Скиннера мелкий и неразборчивый, мне удастся прочесть только отдельные слова — «ради блага человечества», «мы должны сохранить природу, чтобы выжить», а в самом конце пожелтевшей страницы — «Интересно, стоило ли мне жить?».

Я смотрю на Джулию.

— Вы не собираетесь передать эти материалы в архив своего отца? — В полумраке кабинета ее глаза блестят, и их выражение, так же как и одержимость, с которой Джулия поклоняется миру Скиннера, говорит мне, что отец — единственная вероятность, в которой она никогда не усомнится; он — единственный стимул окружающей среды, который ее полностью себе подчинил. Хотел бы Б.Ф. Скиннер такой страстной преданности или поощрил бы дочь к тому, чтобы идти дальше, искать новые подкрепления, которые создадут новые реакции и породят новые идеи, пока голуби клюют пластинку, а крысы все бегут и бегут?

— Вот посмотрите, — говорит Джулия, показывая на столик у кресла. — Тут остатки шоколадки, которую отец ел как раз в тот момент, когда за ним приехали из больницы. — И действительно, на столе лежит кусочек черного шоколада на фарфоровой тарелочке, и на нем отпечатались следы зубов. — Я хочу, чтобы эта шоколадка сохранилась навсегда.

— Сколько же ей лет? — спрашиваю я.

— Больше десяти, и она все еще в хорошем состоянии.

Я смотрю на Джулию, а потом, когда она выходит из комнаты, поднимаю надкусанный квадратик и внимательно его

разглядываю. Мне отчетливо видно, где губы Скиннера касались сладости... а потом, словно мою руку дергает невидимая нитка, в ответ на стимул, которого я совершенно не ожидала, а может быть, как проявление полной свободы воли (ответа на этот вопрос я не знаю, не знаю!), — я поднимаю руку — или моя рука оказывается поднята — и я представляю себе, как кладу этот кусочек в рот. Я ощутила бы вкус старого и пыльного шоколада, и на моих зубах остался бы след чего-то очень странного и не такого уж сладкого.

2

Обскура

Стэнли Милграм и повиновение властям

В 1961 году старший преподаватель Йельского университета двадцатисемилетний Стэнли Милграм решил изучить повиновение властям. В мире, пережившем Холокост, люди пытались понять, как случилось, что эсэсовцы расстреляли, согнали в газовые камеры, повесили двенадцать миллионов человек — предположительно выполняя приказы своих командиров. Общепринятым тогда мнением было представление о подавляющей роли «авторитарной личности»: согласно этой гипотезе, определенный вид воспитания — сурового и истинно тевтонского — приводил к появлению людей, готовых по приказу совершить любые жестокости по отношению к кому угодно. Милграм, специалист в области социальной психологии, подозревал, что такое объяснение слишком ограничено. Он предположил, что ответ на вопрос о причинах преступного повиновения лежит не столько в силе авторитарной личности, сколько в воздействии ситуации. На взгляд Милграма, чрезвычайная ситуация может заставить любого нормального человека отбросить моральные принципы и по приказу совер-

шать чудовищные злодеяния. Чтобы проверить свою гипотезу, Милграм предпринял один из величайших и самых жутких розыгрышей в истории психологии. Он создал поддельную, по выглядящую совершенно убедительно «шоковую машину» и привлек к своим опытам сотни добровольцев. Они получали инструкцию нанести смертельный (как они считали) удар током другому участнику эксперимента (им не было известно, что это актер, имитирующий страдания и даже смерть). Как далеко может зайти человек, выполняя приказ? Какой процент обычных мирных граждан окажется готов подчиниться жестоким распоряжениям экспериментатора? И какой процент восстанет против них? Вот что обнаружил Милграм.

Часть первая: эксперимент

Вы, возможно, опаздываете. Вы быстро идете по переулку в Нью-Хейвене, штат Коннектикут. Стоит июнь 1961 года, вдалеке перед вами маячат шпили Йельской епископальной церкви. Улицы пахнут летом — растоптанными цветами и подгнившими фруктами, и, может быть, поэтому вы испытываете легкую тошноту... а может быть, дело в предчувствии. Нет, все-таки виноваты запахи — в воздухе пахнет чем-то сладковатым и паленым.

А может быть, вы и не опаздываете. Вы, наверное, человек ответственный и приходите всегда с запасом в несколько минут, так что можно не спешить. Луны не видно, небо затянуто облаками, идет дождь — косые серебряные струи заставляют улицы пахнуть отбросами и цементом. При таком сценарии вы тоже испытываете легкую тошноту — из-за предчувствия, хотя вы и не можете сказать, какого именно. Еще и этот запах... запах разложения...

У вас в кармане лежит объявление. Две недели назад вы вырезали его из газеты. «Мы заплатим 4\$ за один час вашего времени. Требуется добровольцы для исследований памяти». По-

скольку это Йель и поскольку речь идет о наличных — сумме достаточной, чтобы купить новый смеситель (старый совсем не работает), ну и главное — поскольку это в интересах науки, вы соглашаетесь. Итак, вперед! Эти переулки такие... такие захолустные; они поворачивают туда и сюда, поднимаются вверх и идут под уклон, кирпичные стены крошатся, между плитами тротуара растут зеленые сорняки. Неудивительно, что вы спотыкаетесь. Однако сохранить равновесие вам удастся, к тому же вы уже пришли: перед вами Лиисли-Читтенден-холл. Вы как раз протягиваете руку к серой двери, когда она открывается, и из здания выходит человек. Лицо его пылает... и уж не слезы ли текут у него по щекам? Он торопится скрыться в сумерках... ну а вам нужно войти. Вы входите.

Первым делом вам платят. Вы оказываетесь в комнате, еще более обшарпанной, чем переулки снаружи, — облезлые стены, путаница труб под потолком, — и суровый человек в белом халате отсчитывает вам три хрустящие бумажки по доллару и четыре монетки по четверти доллара.

— Вот ваша компенсация, — говорит он. — Она причитается вам, что бы ни случилось.

И что же тут, гадаете вы, может случиться?

В комнату входит еще один человек. У него круглое лицо и глуповатая улыбка, а соломенная шляпа сидит косо. Голубизна его глаз — не ледяной блеск интеллекта и не глубокая синевая страсти — кажется какой-то линиялой. Хоть пока еще ничего не произошло, вы думаете: «Этот тип не кажется особенно сообразительным». Его имя, говорит человек, Уоллес... кажется, так: вы не очень хорошо расслышали. «Привет, — отвечаете вы, — меня зовут Голдфарб» — или Вентворт, или Вайнгартен — годится любое имя. Только помните: какое бы имя вы ни назвали, вы остаетесь самим собой.

Экспериментатор говорит:

— Нас интересует, как наказание отражается на эффективности обучения. В этой области проводилось немного систе-

магических исследований, и мы надеемся, что полученные нами данные окажутся полезны для системы образования. В нашем опыте один из вас будет играть роль ученика и получать удары электрическим током за ошибки при воспроизведении последовательностей слов, которые будут ему зачитываться, а другой станет учителем, наказывающим ученика, если слова окажутся повторены неправильно. А теперь решите, — говорит экспериментатор, — кто из вас будет учеником, а кто учителем.

Вы смотрите на... кактам его зовут? Кажется, Уоллес... Уоллес пожимает плечами. Вы тоже пожимаете плечами.

— Кинем жребий, — предлагает экспериментатор и протягивает два сложенных листка бумаги. Вы берете один, Уоллес — другой. Вы разворачиваете свой листок: на нем написано «учитель». Слава богу...

— Похоже, — говорит, смеясь, Уоллес, — я буду учеником.

Экспериментатор знаком предлагает вам с Уоллесом идти за собой. Пройдя по короткому темному коридору, вы оказываетесь в комнате, похожей на тюремную камеру.

— Садитесь в кресло, — говорит экспериментатор Уоллесу, и Уоллес садится. Это не обычное кресло... это, черт возьми, электрический стул с переключателями, ремнями и странными присосками, которые должны крепиться на коже. — Нам нужно его привязать, — говорит экспериментатор, и вы внезапно обнаруживаете, что затягиваете ремни на Уоллесе; он послушен, как ребенок, а его кожа, которой вы касаетесь, оказывается удивительно мягкой. Экспериментатор протягивает вам баночку с мазью и говорит: — Помажьте ему руки, чтобы электроды лучше прилегали. — И вы, сами не понимая, как это получается, уже втираете мазь в мягкую плоть. Вы снова чувствуете легкую дурноту, но вместе с тем и некоторое возбуждение. Экспериментатор говорит: — Затяните ремни получше, — и вы затягиваете, и снова смазываете, и опять застегиваете черные пряжки, так что Уоллес оказывается весь опутан ремнями и

проводами. Прежде чем выйти из комнаты, вы бросаете взгляд на связанного человека; в его глазах отражается страх, и вам хочется сказать ему:

— Ш-ш... Ничего не случится.

Здесь ничего плохого не случится... Здесь ничего плохого не случится... Вы повторяете и повторяете это себе, следуя за экспериментатором, выходя из похужей на камеру комнаты и направляясь в другую похужую на камеру комнату; только здесь нет электрического стула, а вместо него — огромный генератор с блестящими кнопками, под каждой из которых помечен вольтаж — 15, 30, 45 и так далее, до 450. Под самой верхней кнопкой надпись: «Опасно! Экстремальный уровень шока». Иисус Х. Христос... Что еще за Х? Разве у Иисуса было второе имя? Хейли, Халифакс, Хьюстон? Вы начинаете серьезно обдумывать второе имя Иисуса — такое с вами иногда случается: вы думаете о чем-то постороннем, чтобы не думать о том, что непосредственно в этот момент происходит. Хейли, Халифакс, Хьюстон... Тем временем экспериментатор говорит вам:

— Вы будете зачитывать Уоллесу через микрофон эти последовательности слов. За каждую допущенную им ошибку вы будете наказывать его ударом электрического тока, начиная с минимального — 15 вольт — и постепенно увеличивая вольтаж. Хотите получить образчик удара тока?

Конечно, вы ведь всегда любили всяческие образчики: ложку новой марки мороженого, маленькие пакетики шампуня, — так почему бы не попробовать и это? Вы протягиваете руку. В свете флюоресцентных ламп лаборатории ваша рука кажется белой и вялой... какой-то неприятной, волосатой. Экспериментатор прикладывает к вашей коже что-то вроде вилки — два электрода, — и вы чувствуете, как в вашу плоть вонзаются два раскаленных клыка... это похоже на поцелуй электрического ската. Вы отшатываетесь.

— Это было 45 вольт, — говорит экспериментатор. — Теперь вы знаете, что собой представляет наказание за ошибку.

О'кей. О'кей.

Вы начинаете.

«Озеро, удача, сено, солнце. Дерево, лентяй, смех, ребенок». В последовательностях слов есть какая-то поэзия, и вы довольны; доволен, кажется, и Уоллес, голос которого доносится до вас сквозь потрескивание в наушниках: «Давай, давай, парень!» — и вы выдаете очередную порцию. «Шоколад, вафли, валентинки, купидон...» И тут-то Уоллес делает первую ошибку — забывает «купидона»; может, ему не везет в любви? Вы наказываете его первым ударом тока, всего 15 вольт — царапнет, как котенок, ничего страшного.

Только этот первый удар вес меняет. Вы это ясно ощущаете: голос Уоллеса, когда он повторяет следующую последовательность, делается серьезным и напряженным, но, черт возьми, он снова делает ошибку! Вы наказываете его 30 вольтами. Ну вот, молодец: следующая попытка без ошибок, и следующая тоже. Вы начинаете болеть за Уоллеса, но тут он забывает назвать дом, потом георгин, потом траву, и не успеваете вы опомниться, как напряжение возрастает до 115 вольт. Вы смотрите на свой палец на кнопке — блестящий ноготь, твердый сустав... и нажимаете на кнопку. В наушниках раздается вопль.

— Выпустите меня, выпустите меня отсюда! С меня хватит, выпустите!

Вас начинает бить дрожь. Вы чувствуете, что ваша рубашка промокла от пота. Вы поворачиваетесь к экспериментатору и говорите:

— Похоже, пора заканчивать. Он хочет, чтобы его выпустили.

— По условиям эксперимента вы должны продолжать. — У экспериментатора лицо игрока в покер.

— Но он хочет, чтобы его выпустили, — настаиваете вы. — Мы не можем продолжать, если он не согласен.

— По условиям эксперимента вы должны продолжать, — повторяет экспериментатор, как будто у вас проблемы со слухом. Но ведь вы все слышите, все хорошо слышите! У вас прекрасный слух, да и зрение тоже. У вас возникает абсурдное желание сообщить экспериментатору о безупречном состоянии своего здоровья, о том, как успешно вы закончили колледж, о том, что вас недавно повысили по службе. Вам хочется заверить мистера «Белый халат», что вы — достойный человек, всегда стремящийся помочь, который терпеть не может кого-нибудь разочаровывать, но, как ни печально, продолжать эксперимент вы не можете... не хотелось бы разочаровывать, но вы не можете...

— Пожалуйста, продолжайте, — говорит экспериментатор.

Вы моргаете. Иногда солнце скрывается за облаками, которые быстро скользят по небу. Такие дни самые лучшие — чистое голубое небо, облака белые, как вата, яркий флаг полыхает на вершине шеста... Вы продолжаете. Где-то между воспоминаниями об облаках и флаге вы обнаруживаете, что продолжаете. Вы сами не знаете почему: вы терпеть не можете кого-нибудь разочаровывать, а этот экспериментатор выглядит таким уверенным в себе... Тут вы вспоминаете, как в детстве видели солнечное затмение, когда солнце и луна совместились на золотую сияющую минуту.

Уоллес снова делает ошибку... три, четыре ошибки подряд. Вы дошли до кнопки с надписью «150 вольт», и он кричит:

— У меня большое сердце! Выпустите меня отсюда! Я не хочу больше участвовать в эксперименте! — А экспериментатор стоит у вас за спиной и велит вам продолжать:

— Не останавливайтесь, пожалуйста. Удары тока болезненны, но вреда не причиняют. Они не нанесут постоянных повреждений тканям организма.

Вы с трудом сдерживаете слезы. Вас зовут Голдфарб, или Вайнгартен, или Вентворт... Как же вас зовут? Вы не очень уверены...

— Но у него больное сердце, — говорите вы... по крайней мере думаете, что говорите. Или это просто ваш разум шепчет сам себе?

— Постоянного повреждения тканей организма не будет, — повторяет экспериментатор, и вы кричите:

— Ради бога, но ведь возможны и временные повреждения!

— По условиям эксперимента вы должны продолжать, — говорит экспериментатор, и вы не то смеетесь, не то плачете; ваш желудок бурчит «ха-ха-ха», а глаза льют слезы, и вы просите:

— Давайте пойдем туда и проверим, все ли с ним в порядке. Только удостоверимся, что с ним ничего не случилось... — Мистер «Белый халат» качает головой, вы даже слышите, как скрипят позвонки его шеи — «нет, нет, продолжайте», а вы проводите рукой по собственной шее и поражаетесь тому, какой мокрой и скользкой она стала и какой странно бескостной... вы щупаете и щупаете, но так и не можете нащупать позвоночник. Разве этот экспериментатор врач? — Вы врач? — спрашиваете вы экспериментатора. — Вы уверены, что не будет постоянных повреждений? — Он выглядит таким уверенным в себе, в точности как врач... вы-то сами не врач, хоть и получали хорошие отметки в школе... он знает, что делает... а вы не знаете. Он ведь в белом халате. Так что вы продолжаете нажимать кнопки, рядом с которыми обозначено все более высокое напряжение, и диктуете последовательности слов, и с вами происходит что-то странное. Вы полностью сосредоточиваетесь на своем задании. Вы старательно выговариваете слова и нажимаете на кнопки, как пилот, управляющий самолетом. Ваше поле зрения сужается так, что вы видите только панель управления. Вы летите куда-то. Вы летите через что-то, хотя и не могли бы сказать, через что. У вас есть ваша работа. Она не имеет никакого отношения к небу, никакого отношения к солнцу, к костям, к флагам. Вы должны делать дело, и плоть исчезает, Уоллес исчезает, на его месте остается только блестящий металлом механизм.

При 315 вольтах Уоллес вскрикивает в последний раз; после этого душераздирающего вопля наступает тишина. Уоллес молчит. Нажав кнопку «345 вольт», вы поворачиваетесь к экспериментатору. Вы очень странно себя чувствуете. Вам кажется, что внутри у вас пустота, и голос экспериментатора, когда он говорит вам «Считайте молчание неправильным ответом», словно наполняет вас воздухом.

— Считайте молчание неправильным ответом, — говорит он, и это оказывается так смешно, что вы начинаете хихикать. Вы хохочете и нажимаете кнопки, потому что иначе нельзя, потому что вы не можете закричать «Нет! Нет! Нет!». Мысленно вы можете сказать это, но ваши руки вам не повинуются, и вы начинаете понимать, как велико расстояние между головой и руками — целые мили непроходимой тундры. Разумом вы говорите «нет», а руки ваши танцуют по кнопкам в такт со словами «юбка, талант, пол, вихрь; гусь, перо, одеяло, звезда...» и все время в наушниках вы слышите только зловещую тишину, изредка прерываемую шипением электростатических разрядов... человека там нет. Нет там человека.

Это очень похоже на пробуждение. Похоже на то, как если бы вы уснули и видели во сне лентяев и акул, а потом проснулись, и все кончилось. Экспериментатор говорит:

— Теперь мы можем остановиться, — и в дверь входит Уоллес, все еще в криво сидящей шляпе, ни один волосок у него не сместился. Выглядит он чудесно.

— Ну, парень, и устроил ты мне веселую жизнь, — говорит он. — Но я не в претензии. — Он пожимает вам руку. — Вау, и взмок же ты! Успокойся. Я здорово умею разыгрывать мелодраму, и со мной ничего не случилось.

Экспериментатор подтверждает:

— С Уоллесом все в порядке. Удары были не так сильны, как казались. Указание на опасность при высоком напряжении

касается только мелких лабораторных животных, для которых обычно и используется этот генератор.

«Ох...» — думаете вы.

Уоллес уходит. В комнате появляется подвижный невысокий молодой человек по имени Милграм и говорит:

— Вы не будете возражать, если я задам вам несколько вопросов? — Затем он показывает вам изображение школьника, которого секут розгами, и начинает расспрашивать: какое у вас образование, и служили ли вы в армии, и какую религию исповедуете... вы чувствуете себя беспомощным, на вопросы отвечаете автоматически, и еще вы очень растеряны. Значит, удары электрического тока рассчитаны на мышей, а не на человека? А сами вы — мышь или человек? Если Уоллес в самом деле ничуть не страдал, тогда почему он так громко кричал? Почему он вопил, что у него больное сердце? Вы знаете о болезнях сердца. Вы знаете о костях и крови, и получается, что кровь — на ваших руках. Вы приходите в ярость. Вы пристально смотрите на этого шустрого Милграма и говорите:

— Я понял. Эксперимент вовсе не касается обучения. Вы изучаете повиновение — повиновение власти. — И Милграм, которому всего двадцать семь лет и который страшно молод для пионера в такой противоречивой, болезненной, так много освещающей области, которая в конце концов должна принести ему славу, поворачивается к вам. У него зеленые глаза, похожие на два леденца, и красная закорючка на месте рта. — Так речь шла о повиновении, — повторяете вы, и Милграм отвечает:

— Да, так и есть. Если бы вы не догадались сами, я все объяснил бы вам — всем испытуемым я рассылаю стандартные письма. Шестьдесят пять процентов участников эксперимента вели себя точно так же, как и вы. В той ситуации, в которую мы вас поставили, совершенно естественно делать такой выбор. Вам нечего стыдиться. — Ну, вас-то ему обмануть не удастся. Ему не удастся вас успокоить. Один раз вас провели, но второй — не получится. Нет таких слов, которые могли бы ободрить вас

после того, что этим вечером вы узнали в лаборатории Милграма. «Озеро, лентяй, лебедь, песня...» Вы узнали, что на руках у вас — кровь... а тело ваше создано для повиновения словам других людей.

Послушные марионетки... Может быть, вон тот человек, на противоположной стороне улицы, или житель соседнего дома — но только не вы. Именно так вы, *читатель*, возможно, и думаете. Если бы вам не повезло и вы оказались тем душным июньским вечером в обшарпанной комнате Линсли-Читтенден-холла в Йельском университете, вы бы вели себя иначе. Вас ведь, в конце концов, зовут не Голдфарб, Вайнгартен или Вентворт. Возможно, вы буддист... вегетарианец... доброволец, ухаживающий за больными в лечебнице. Может быть, вы работаете с трудными подростками, или жертвуете деньги клубу «Сьерра»*, или выращиваете поразительно красивые розовые флоксы в своем маленьком садике. Так что вы так не поступили бы. И все-таки — *вам это тоже касается*, что Стэнли Милграм и доказал в своей лаборатории в Линсли-Читтенден-холле, а потом в Бриджпорте; впоследствии его данные подтвердились исследованиями, проведенными по всему миру. От шестидесяти двух до шестидесяти пяти процентов людей, имея дело с законной властью, выполняют приказы, даже если это грозит кому-то смертельной опасностью.

Такое кажется невероятным, невозможным, особенно потому, что вы — как и я — в душе гуманист.

Только гуманистами были в большинстве и испытуемые Милграма...

— Я — хороший специалист, достаточно зарабатываю. Единственное, что во мне плохо, — я уж очень связан со своей работой: обещаю что-нибудь детишкам, планирую отвезти их

* Клуб «Сьерра» — общественная природоохранная организация, ведущая активную просветительскую деятельность и занимающаяся вопросами спорта и туризма в США.

куда-нибудь, а потом все отменяю, потому что меня вызвали на службу.

— Я очень люблю свою работу. У меня чудесная семья, трое детей. Мне нравится выращивать цветы и возиться в огороде: у нас на столе всегда свежие овощи.

Так описывали себя двое из проявивших полное повиновение испытуемых Милграма после тестирования. Свежие овощи... Цветы... Те самые розовые пионы в саду.

Прежде чем начать свой эксперимент, Стэнли Милграм, старший преподаватель Йельского университета, провел опрос. Он спрашивал известных психиатров о том, как, по их мнению, будут вести себя испытуемые. Он также опросил студентов последнего курса университета и обычных жителей Нью-Хейвена. Все они предсказали одно и то же. Испытуемые не станут прибегать к сильным ударам тока, все они остановятся самое большее на 150 вольтах, за исключением патологических личностей, тайных садистов, которые будут увеличивать силу тока до тех пор, пока жертва не перестанет стонать. Даже теперь, когда прошло больше сорока лет после урока Милграма, который вроде бы всеми усвоен, люди продолжают говорить: «Ко мне это не относится».

Относится.

Значение эксперимента Милграма, возможно, как раз в этом и заключается: он показывает огромный разрыв между тем, что мы о себе думаем, и тем, кем в действительности являемся.

Милграм был, безусловно, не первым психологом, который экспериментально исследовал послушание людей, и не первым, кто обманывал испытуемых («шоковая машина» была просто декорацией, а «ученик» и «экспериментатор» — нанятыми актерами), но он оказался первым, кто делал это систематически. Впрочем, до Милграма существовал загадочный ученый по имени К. Лендис, который в 1924 году опубликовал результаты опытов в неназванной лаборатории в Уэльсе: он обнаружил, что

семьдесят один процент испытуемых проявил готовность отрезать голову крысе, если на этом настаивал экспериментатор. В 1944 году психолог Дэниел Френк сообщил о том, что ему удалось заставить испытуемых совершать самые странные действия просто потому, что он, когда высказывал свои требования, был одет в белый халат: «Пожалуйста, встаньте на голову»; «Пожалуйста, закройте один глаз и идите задом»; «Пожалуйста, лизните оконное стекло».

Едва ли можно считать, что на Милграма оказали влияние эти малоизвестные исследования. Во-первых, Милграм, который собирался изучать политологию, за четыре года обучения в колледже Квинса не прослушал ни единого психологического курса, так что вряд ли был знаком с литературой по этому предмету. Во-вторых, Милграм был откровенен и признавал чужие заслуги. Он называл социального психолога Соломона Ашатем ученым, который его, Милграма, создал (если считать, что один человек может создать другого). Еще будучи студентом выпускного курса, Милграм работал лаборантом у Аша. Аш в то время был поглощен исследованием группового давления. Один из его опытов состоял в оценке линий разной длины; было обнаружено, что испытуемые присоединялись к мнению группы ради сохранения принадлежности в ней: если группа считала, что отрезок А длиннее отрезка Б, то растерянный испытуемый соглашался с этим, пусть и видел, что на самом деле все не так.

Аш был, да и теперь остается крупнейшей величиной в области социальных наук, но Милграму, на несколько дюймов ниже ростом и вообще уступающему в размерах учителю, скоро предстояло его обогнать. Милграм преклонялся перед Ашем. Однако отрезки, что ни говори, лирической привлекательностью не обладают, а Милграм, как и Скиннер, в душе был романтиком. Он писал либретто и рассказы для детей, декламировал Китса и Рильке. Он был свидетелем смерти от сердечного приступа своего пятидесятиоднолетнего отца и всегда считал, что умрет рано, и поэтому спешил оставить яркий след в науке.

— Когда мы поженились, — свидетельствует его вдова, Александра Милграм, — Стэнли сказал мне, что не проживет дольше, чем до пятидесяти одного года, потому что очень похож на своего отца. Он всегда чувствовал, что времени ему отпущено мало. Поэтому, когда в тридцать лет у него начались неприятности с сердцем, он понял, мы оба поняли, что его дни сочтены.

Может быть, по этой причине Милграм не захотел изучать восприятие отрезков, чего-то прямого и узкого. Он хотел провести блистательный эксперимент или охватывающий весь мир опрос, ответы которого сохранились бы на долгое, долгое время. В душе он стремился к великим свершениям. «Я пытался придумать способ превратить эксперименты Аша во что-то более значимое для человека, — сказал он в интервью, опубликованном в «Сайкологджи тудей». — Мне казалось недостаточным изучать конформизм применительно к отрезкам. Меня интересовало, может ли давление группы вынудить человека совершить поступок, моральное значение которого было бы более очевидным: может быть, проявить агрессию в адрес другого человека, например, нанося ему сильные удары током».

Об ударах Милграм знал не понаслышке. Еще до того, как он оказался свидетелем смерти своего отца, он знал, что такое страх. Он вырос в Южном Бронксе, где в трещинах тротуаров росли сорняки, а по потрескавшемуся линолеуму в домах бегали тараканы. В гостиной дома, где жила семья Милграма, тяжелые занавеси не давали доступа солнечному свету, а радиоприемник напоминал большой ящик с матовым стеклом, за которым двигалась стрелка, указывающая на станции. Милграм был очарован радиоприемником. Ему нравились маленькие отверстия в пластике, градуированные шкалы, по которым вверх и вниз ходила белая палочка, разнообразные звуки, доносившиеся из динамика: то музыка, то смех, то плач. В 1939 году Стэнли было шесть лет; потом наступил 1942 год, и мальчик оказался перед каким-то важным открытием. По радио, кото-

рое его семья слушала каждый день — в Европе у них остались родственники, — передавали сообщения о гибели сотен тысяч людей, о зверствах СС, о жертвах, живыми закатанных в асфальт. Стэнли рос под эти звуки — разрывы бомб и гудение пламени, — и в его теле происходили собственные детонации. Как странно: секс и страх. Мы можем только гадать, как это все было; нигде никаких свидетельств не осталось.

В 1960 году Милграм покинул Принстон и своего учителя Аша и стал старшим преподавателем в Йельском университете. Вскоре после своего назначения он начал делать дорогостоящие заказы на переключатели и электроды; в архиве сохранились относящиеся к этому времени записи: провести через потолок кабель для микрофона... установить разрядники... изучить процедуру наложения электродов. Были и записи результатов: «Джеймс Джастин Макдоноу — идеальная, совершенная жертва, покладистая и покорная». Читая эти заметки, трудно избавиться от ощущения, что Милграм — отчасти бесенок, этакий мелкий еврейский лепречаун, вся наука которого — розыгрыш. Милграм и в самом деле обладал острым чувством комического; может быть, он, как никакой другой ученый, показал нам, как мало расстояние между искусством и экспериментом, между смехом и бессердечием, между работой и игрой.

— Стэнли любил, по-настоящему любил свою работу, — говорит миссис Милграм. Да и как могло быть иначе? Он проводил такой опыт: надписывал конверты, ронял их на тротуарах Нью-Йорка, а потом наблюдал: поднимет ли их кто-нибудь и опустит ли в почтовый ящик. Он разработал технику, получившую название «расталкивание очереди», своего рода партизанское применение социальных наук: Стэнли прятался, а потом выскакивал и врзался в очередь, наблюдая при этом за реакцией тех, кого оттеснил. Ясным солнечным днем он выходил на улицу, показывал на небо и отмечал время, за которое вокруг соберется толпа глазееющих в пустоту. Милграм любил изоб-

ретать, опровергать устоявшееся мнение, делать абсурдные заявления, однако в отличие от Сартра* и Беккета** измеряя при этом абсурдность.

— Он разливал ее по бутылочкам, — говорит Ли Росс, профессор психологии Стенфордского университета. — Он мезуркой измерял абсурдное поведение в своей лаборатории, чтобы мы могли все отчетливо увидеть. Это и делает Милграма Милграмом.

Итак, Милграм заказал электроды, тридцать переключателей, черные ремни, акустическое оборудование — все декорации для опасного спектакля, который собирался разыграть, спектакля, который должен был — в буквальном смысле слова — потрясать мир; данный эксперимент нанес такой вред его карьере, от которого Милграм так никогда полностью и не оправился. Он начал со студентов Йельского университета; к его изумлению, все они без исключения оказались послушными, без сомнений нажимая все на новые кнопки. «Эти йельцы, — передавала мне его слова Александра Милграм, — имея с ними дело, нельзя прийти ни к каким заключениям».

Миссис Милграм говорит:

— Стэнли был уверен: если он выйдет за пределы университетской общины, ему удастся получить более репрезентативную выборку, члены которой проявят большее неповиновение.

Так и случилось. Милграм поместил объявление в «Нью-Хейвен реджистер» с приглашением для участия в опытах здоровых мужчин в возрасте 20—50 лет — «фабричных рабочих, квалифицированных ремесленников, поваров, инженеров, врачей, юристов». Он привлек Алана Элмса, старшекурсника Йель-

* Сартр Жан Поль (1905—1980) — французский философ и писатель, одна из основных тем художественного творчества которого — абсурдность бытия.

** Беккет Сэмюэл (1906—1989) — ирландский драматург, один из основоположников драмы абсурда.

ского университета, для помощи в вербовке добровольцев. Элмс, которому теперь шестьдесят семь лет и который преподает в университете Дэвиса, хорошо помнит свою работу с Милграмом. У него тихий усталый голос, и я не могу не подумать, что это голос человека, который сам испытал шок, видел что-то нехорошее.

— Вы довольны, что участвовали в знаменитом эксперименте? — спрашиваю я его.

— О да, — отвечает Элмс и вздыхает. — Это было нечто очень, очень впечатляющее. Такое никогда не забудешь. — Помолчав, он добавляет: — Я никогда не буду раскаиваться, что принимал участие в опытах.

Так и начался эксперимент летом 1961 года; погода тогда стояла необычно жаркая, в колокольне церкви развелось множество летучих мышей, и вы шли по переулку, сжимая в руке вырезанное из газеты объявление. Всего с помощью Элмса Милграм привлек более ста жителей Нью-Хейвена. Опыты всегда проводились по вечерам, что придавало им дополнительный зловещий оттенок, хоть в этом и не было необходимости: хватало испускаемых актером криков и черепов на генераторе. Милграм предупредил местную полицию о возможности возникновения слухов о пытках, которым подвергаются какие-то люди: это не так, просто разыгрывается спектакль.

Спектакль, судя по всему, для испытуемых, которые обливались потом и ежились, выслушивая распоряжения экспериментатора, был вполне убедительным. Многие участники явно беспокоились, когда им предлагали увеличивать силу ударов тока; у одного случился такой сильный припадок истерического смеха, что эксперимент пришлось прекратить. Смеха? Почему смеха? Странная вещь: смех вообще звучал часто, придушенное хихиканье или громкий хохот. Некоторые говорили, что смех свидетельствует: все знали об очередной непристойной шутке чертенка Милграма. Кто-то считает, что испытуемые смеялись над

Милграмом, придумавшим такой очевидный розыгрыш. Элмс с этим не согласен:

— Люди смеялись, потому что испытывали тревогу, а мы, Милграм и я, смеялись из-за чувства неловкости.

Милграм и Элмс наблюдали за испытуемыми сквозь одно-стороннее, прозрачное только с одной стороны стекло и снимали на пленку невероятное повинование участников опыта, которую они сами не ожидали; при этом они вытирали слезы с глаз, потому что такое поведение было ужасно, ужасно смешным...

То, что ученые и писатели сочли смех во время эксперимента признаком его непристойности, мало что дает для оценки самого опыта и скорее говорит об упрощенном взгляде на комедию и трагедию и связи между ними. Комедия и трагедия нерасторжимо переплетаются и по смыслу, и по символике, и по этимологии. Сам Милграм то смеялся, то говорил, что выявленные им закономерности «устрашают и угнетают». Александра Милграм свидетельствует:

— Такие высокие цифры, такие результаты, которых он сам не ожидал, сделали взгляд Милграма на людей циничным.

Иного и нельзя было бы ожидать. Милграм рассчитывал на повинование испытуемых, но не до такого же потрясающего уровня, когда шестьдесят пять процентов участников оказывались готовы нанести удар, который они считали смертельным. Нет, такого Милграм не ожидал. В попытке лучше понять феномен он менял условия опыта. Он помещал «ученика» в одну комнату с испытуемым, убирал микрофон, заставлял испытуемого включать ток, прижимая руку «ученика» к металлической пластинке. Испытуемые проявляли меньше покорности, но совсем ненамного. Это ужасает и угнетает, да. Тридцать процентов обыкновенных людей обнаружили полную готовность снова и снова прижимать руку «жертвы» к бьющей током пластине, наблюдая, как она вопит и поникает (по инструкции экспериментатора, конечно).

Эксперимент Милграма финансировался Национальным научным фондом. Деньги были получены в июне. Июль и август прошли под шипение и голубые искры разрядов. В сентябре, всего на третий месяц эксперимента, Милграм писал своим попечителям: «Еще недавно по наивности я гадал, найдется ли во всех Соединенных Штатах достаточно моральных уродов, которых злонамеренное правительство могло бы использовать как персонал в лагерях смерти вроде тех, что существовали в Германии. Теперь я начинаю думать, что полный комплект мог бы быть набран в одном Нью-Хейвене».

Только представьте себе, каково Милграму было делать такие открытия. Удавалось ли ему уснуть ночью? Не ощупывал ли он лица своих спящих детей — не такие уж мягкие: у дочки обнаруживались твердые скулы и мелкие белые зубки... Неужели обычные улицы Нью-Хейвена имеют освещенную и теневую стороны? Милграм открыл не то, что люди мучают и убивают других людей, — мы знали это и так; он открыл, что люди готовы делать это без всякой агрессивности. Милграм ясно показал, что убийство не связано с гневом: ведь его испытуемые гнева не испытывали, это были спокойные добропорядочные граждане, выращивающие флоксы и качающие в колыбелях своих малышей.

Милграм был социальным психологом, и это означало, что он должен был интерпретировать свои открытия применительно к определенной ситуации, что является краеугольным камнем социальной психологии. Для этой области науки личность — то, *кем вы являетесь* — значит меньше, чем ваше место — то, *где вы находитесь*, — и Милграм утверждал, что он показал, как любой нормальный человек может стать убийцей, если окажется в таком месте, где требуется совершить убийство. Он использовал свои эксперименты (более жесткие или более мягкие в разные годы) для того, чтобы объяснить отталкивающее поведение военных во Вьетнаме, в нацистской Германии; его работы неразрывно связаны с тезисом о банальности зла, высказан-

ным Ханной Арендт*, с дисциплинированным бюрократом Эйхманом**, слепо выполнявшим приказы под влиянием внешних сил. Теперь, спустя много лет после экспериментов Милграма, социальные психологи все еще твердят, что значение имеет контекст, а не психика.

Ли Росс, соавтор книги «Личность и ситуация: перспективы социальной психологии», пишет: «Я не сказал бы, что не существует устойчивых черт характера человека, вносящих свой вклад в моральное или аморальное поведение, но их существенно перевешивают обстоятельства: где человек находится, в какое время, с кем». Другими словами, Росс и его коллеги утверждают, что наше поведение — не столько результат устойчивого набора внутренних предпочтений и убеждений, сколько следствие внешних воздействий, меняющихся, как ветер или погода.

Милграм в целом разделял такой взгляд на мир, но если присмотреться, появляются свидетельства того, что полностью уверен он не был. Например, раз уж за все (или почти все) ответственна ситуация, зачем он после каждого сеанса проводил личностное тестирование? Почему он собирал данные об образовании, религиозной ориентации, военной службе и половой принадлежности испытуемых? Почему позднее, будучи профессором Сити-колледжа в Нью-Йорке, он предложил молодой Шарон Пресли в качестве темы докторской диссертации исследование индивидуальных личностных черт неконформистов? Должно быть, этот предмет его интересовал...

Вскоре после первого эксперимента Милграм и Элмс начали поиск личностных характеристик, коррелирующих с повиновением и непокорностью. Они провели обследование своих

* Арендт Ханна (1906—1975) — известный философ и историк, бежала из нацистской Германии в США. Автор фундаментальных исследований природы тоталитаризма.

** Эйхман Карл (1906—1962) — немецкий военный преступник, возглавлявший отдел «по делам евреев» в имперском управлении безопасности.

испытуемых, пытаюсь обнаружить в их жизни и психике указания на то, что они делали и почему. Однако такие исследования, понимаете ли, — запретная область для социальной психологии. Росс фыркает: «Это личностная ерунда, и мы этим не занимаемся. И Милграм не занимался». А вот и нет: вместе с Элмсом он изучал отдельных людей и написал о них несколько статей. Он наверняка делал это потому, что знал: ситуация не является всеобъемлющим объясняющим фактором. Ведь послушайте: будь это так, будь ситуация исчерпывающей и все определяющей, Милграм получил бы стопроцентное повиновение! Однако результат оказался иным, и тридцать пять процентов испытуемых проявили непокорность. Почему? Почему? Ни один социальный психолог на этот вопрос ответить не может. Именно в этой критической точке социальная психология отказывает. Она может объяснить вам групповое поведение, но молчит о людях, которые говорят «нет», о тех экзотических побеггах, которые вырастают на общей грядке и превращаются в непохожие на других растения. Если продолжить эту метафору, Милграм получил урожай, на тридцать пять процентов состоявший из гибридов — и дело было не в почве, а в семенах.

В середине 1960-х годов Милграм и Элмс пригласили тех же испытуемых в свою лабораторию и предложили им батарею личностных тестов. Один из них назывался Миннесотский многофазовый личностный опросник, другой — тест тематической апперцепции. Элмс интенсивно проводил интервью наедине с испытуемыми, расспрашивая и послушных, и непокорных о детстве, отношениях с родителями, самых ранних воспоминаниях. Выяснить удалось очень немного.

— Католики были более послушны, чем евреи, — говорит мне Элмс. — Это мы точно выявили. И чем дольше человек находился на военной службе, тем послушнее он оказывался. Мы также нашли, что испытуемые, у которых результаты по шкале социальной ответственности опросника были выше, проявляли больше готовности выполнять приказы, — вздыхает Элмс, —

но ведь эта шкала измеряет не только уважение к социальным и этическим ценностям, но и тенденцию к проявлению покладистости и соглашательства. Так что же нам удалось узнать? Тестирование с равной вероятностью могло выявить и послушание, и непокорность.

Милграму и Элмсу оказалось очень трудно найти какие-либо постоянные качества личности, отличающие покладистых от непокорных. По их данным, первые сообщали о более тесных отношениях с отцами, чем вторые; в детстве послушных обычно шлепали или вовсе не наказывали, в то время как непослушные получали порку или лишались обеда. Несколько больше людей, склонных к подчинению, служили в армии и сообщали о том, что им приходилось стрелять в людей; непокорные это отрицали.

Что вы можете почерпнуть из этой информации? Не так уж много. Непослушного порют, послушного шлепают. У готовых подчиняться отношения с отцами более тесные, чем у бунтарей. Непокорные имеют высокие баллы по шкале социальной ответственности, которая, впрочем, измеряет и покладистость. То ли опросник врет, то ли у тех и других испытуемых личности настолько сложны, что переплетающиеся тенденции невозможно распутать...

Ну а мне распутать этот клубок очень хочется. Я хорошо помню, как в первый раз услышала об эксперименте Милграма. Я училась тогда в университете Брандейса. Мы в прекрасный майский день сидели на лужайке под цветущими вишнями, ронявшими нежно-розовые прозрачные лепестки. Занятия проводились на воздухе, и профессор социологии говорил: «Вот так они все нажимали и нажимали на кнопки». Я ощутила озноб, потому что узнала ситуацию. Интуитивно я немедленно поняла, что подчинилась бы экспериментатору — уж такая я всегда была послушная девочка. Я прекрасно могла понять, как оказываешься связанной ситуацией, как лишаешься собственно-

го взгляда, собственного разума, становишься пустышкой и только повинуешься, повинуешься... потому что кто вообще ты такая? Я помню, как смотрела на свои руки тогда на лужайке под роняющими лепестки вишнями. Мои руки точно такие же, как и ваши, с теми же линиями жизни на ладонях, и я говорила себе: «Что мне нужно иметь внутри, чтобы не подчиняться?» Я была тогда тощей угловатой девчонкой с сияющими глазами, я делала все от меня зависящее, чтобы понравиться окружающим. Я всегда так себя веду. Вот я и хотела узнать, что мне нужно для того, чтобы измениться, повзрослеть, стать тем экзотическим побегом, который отличается от других растений на грядке. *Нет.* «Нет» — такое простое слово, и как же трудно заставить свои губы его произнести...

С тех пор прошли годы, но и сегодня я все еще хочу узнать об этом. Элмс говорит мне по телефону:

— Мы не нашли явно выраженных личностных черт ни у послушных, ни у непокорных.

И я спрашиваю:

— А нет ли кого-то из участников эксперимента Милграма, с кем я могла бы поговорить? Ведь кто-то из них еще жив?

— Архивы засекречены до 2075 года, — отвечает Элмс. — Имена — это конфиденциальная информация.

Может быть, я и послушная, но это не мешает мне быть настырной. Я звоню одному человеку, другому, они выводят меня на третьего, потом четвертого... Так проходят недели. Я разговариваю со священниками, с раввинами, с учениками Милграма. Пока идут эти поиски, в какой-то газете — не помню какой — мне попадаете сообщение о том, что один из испытуемых Милграма, проявивший непокорность, оказался во Вьетнаме и отказался стрелять. Я представила себе этого человека, которому сейчас лет шестьдесят—семьдесят, живущего в скромном чистеньком домике с горшками базилика на крыльце. Мне нужно было его найти.

В конце концов он сам мне позвонил.

Часть вторая: люди

Увидеть базилик мне так и не удастся. Домик тоже. И мой собеседник, как выясняется, во Вьетнаме не был. Но он, семидесятивосьмилетний Джошуа Чаффин, в самом деле участвовал в эксперименте Милграма и оказал, как он меня заверяет, неповиновение. Первое же, что он мне говорит по телефону, звучит так:

— Нуда, я там был. Был в этой лаборатории и дошел только до 150 вольт. Если бы пошел дальше, то, поверьте, сейчас я с вами не разговаривал бы: моим собеседником был бы психиатр.

Непокорный испытуемый, и к тому же занятный! Даже еще не увидевшись с ним, я могу сказать, что он разговорчив, настоящая душа общества; у него мягкий выговор с легким намеком на идиш и, как мне кажется, добрые серые глаза.

Джошуа долго, долго говорит со мной по телефону. Он как будто только и ждал разговора с журналисткой, которая начнет расспрашивать о его судьбоносном участии в том давнем и с тех пор подвергшемся такой критике эксперименте.

— Вы, молодые люди, — говорит он, — теперь и представления не имеете, какой убедительной была тогда ситуация. Я и на минуту ни в чем не усомнился. Мне и в голову не пришло, что это розыгрыш. На генераторе была табличка с надписью «Сделано в Уолтхеме, Массачусетс», а это как раз такое место, где подобное оборудование должно было бы производиться, если вы понимаете, что я хочу сказать. И если вы думаете, что послушание имело отношение к престижу Йеля, то подумайте еще раз, потому что Милграм разыграл свой спектакль перед лавочниками Бриджпорта, и люди все равно шли и нажимали на кнопки. Я сам нажимал. Теперь я жалею... Я нажимал, но дошел только до 150 вольт. На 150 вольтях я остановился. — Он повторяет это снова и снова, словно желая ободрить себя; странно, с какой свежестью все сохранилось в его памяти — лаборатория, снопы голубых искр,

крики «ученика». Джошуа стареет; эксперимент остается вне времени.

Мы договариваемся о встрече. Он все еще живет в Нью-Хейвене и часто ходит мимо Линсли-Читтенден-холла. Иногда он даже спускается к входу в подвал, где все когда-то и происходило.

— Там тогда все было таким облезлым, — говорит мне Джошуа, — но я все равно ясно вижу, как все было — серая дверь, трубы под потолком... Повсюду трубы.

Прекрасным летним днем я еду в Нью-Хейвен, чтобы повидаться с Джошуа. Воздух необыкновенно мягок, небо безоблачно, чайки издают свои печальные крики. Нью-Хейвен выглядит покинутым, студенты разъехались, только на тротуарах у домов кое-где еще видны груды чемоданов и рюкзаков.

Мы встречаемся в ресторане. Снаружи солнце льет яркий свет, резко контрастирующий с душным полумраком внутри; вечно царящий тут вечер освещают только свечи, мигающие на маленьких столиках. Все посетители — старики, и все едят рыбу. Джошуа, который подробно описал мне себя, ждет за столиком в глубине зала. На столике — накрахмаленные салфетки, сложенные в форме лебедей. Я сажусь.

Нам приносят еду. Джошуа тыкает вилкой в обвалянную в сухарях рыбу, отправляет кусочек в рот и старательно жует.

— Я был старшим преподавателем, занимался охраной окружающей среды, — говорит Джошуа. — Я увидел объявление и подумал: почему бы и нет? В те времена четыре доллара были заметной суммой, а деньги мне были нужны. Вот я и совершил это. — Он принимается описывать мне «это», о котором мы уже все знаем, — как он смазывал кожу «ученика» специальной пастой, чтобы лучше прилегали электроды, как он услышал первый стон, нажав кнопку с надписью «75 вольт», как крики, доносившиеся сквозь потрескивание разрядов в микрофоне, становились громче, как он наконец повернулся к экспериментатору и сказал: «Это неправильно», а проклятый эксперимен-

татор... Джошуа повторяет громче: — Этот проклятый экспериментатор! — и крошки рыбы разлетаются у него изо рта, а покрытые темными пятнами руки дрожат, когда Джошуа вспоминает прошлое. — Проклятый экспериментатор велел мне продолжать.

— А вы? — спрашиваю я, наклоняясь вперед — к чему? К морали? Я не уверена в собственных чувствах. Как будто мораль — материальный объект, который можно потрогать руками...

— Я сказал экспериментатору: «Нет».

Я смотрю на губы Джошуа, когда он выговаривает это «нет», то самое слово, которое так трудно дается мне. Коснуться языком нёба и выплюнуть — «нет»...

— Я сказал, — повторяет Джошуа, — я сказал: «Я участвовал в экспериментах и раньше, и это неправильно». Я забеспокоился, услышав крики ученика, весь вспотел, а сердце у меня заколотилось, так что я остановился и заявил: «Достаточно».

— И почему же вы так поступили? — спрашиваю я. — Я имею в виду — что дало вам силу отказаться, когда стольким людям это не удавалось?

Мне в самом деле очень хочется услышать его ответ. Я проехала так много миль, только чтобы услышать, как человек становится независимым. Как человек рвет нити, которые делают нашу жизнь представлением марионеток. Джошуа — не марионетка. Он сам управляет своими мышцами.

Джошуа вытирает рот накрахмаленной белой салфеткой. Он дергает за клюв, и лебедь теряет форму. Подняв глаза к потолку, Джошуа долго молчит и наконец отвечает:

— Меня беспокоило состояние моего сердца.

— Состояние вашего сердца? — как эхо, повторяю я.

— Меня беспокоило, — Джошуа опускает голову и смотрит на меня, — что эксперимент вызовет слишком сильный стресс и у меня случится сердечный приступ, а также, — добавляет он, словно вспомнив о чем-то, — а также я не хотел причинить вред тому парню.

Я киваю. Невозможно не заметить, что «парень» оказался на втором месте, а сердце Джошуа — на первом; хотя кто мог бы его в этом упрекнуть? И все-таки это был не тот ответ, которого я ожидала от моего этичного собеседника. Я рассчитывала на что-то, блистающее иудео-христианской моралью, на что-то глубокомысленное вроде: «Во мне глубоко укоренился этический императив: не делать другому того, что я не хотел бы...»

Нет, не повезло. Джошуа, как выяснилось, беспокоился о своем сердце, и его непокорность проистекала из этого источника, по крайней мере в ретроспективе. Он продолжает говорить и рассказывает мне, как был настолько возмущен, что на следующий день ворвался в кабинет Милграма в университете и увидел профессора, спокойно проверяющего студенческие работы. Джошуа сказал ему: «То, что вы делаете, неправильно. Неправильно! Вы расстраиваете наивных испытуемых. Вы ведь не обследуете людей в медицинских целях. Вы можете вызвать у кого-нибудь сердечный приступ — ваш эксперимент вызывает очень сильный стресс».

Джошуа вспоминает, как Милграм невозмутимо посмотрел на него и сказал: «Я уверен, что мы не спровоцируем сердечный приступ ни у кого из испытуемых», а Джошуа ему ответил: «У меня вы его почти вызвали», после чего у них состоялся долгий разговор. Милграм в конце концов успокоил Джошуа, похвалил за независимое поведение, а под конец попросил: «Мистер Чаффин, я был бы благодарен, если бы вы. знаете ли, особенно не распространялись». «О чем не распространяться?» — переспросил Джошуа. — «Насчет эксперимента, — ответил Милграм. — Насчет того, что мы на самом деле изучаем. Мы все еще продолжаем тестирование, и я, естественно, не хочу, чтобы испытуемые узнали, что мы изучаем не научение, а повиновение».

— Так вот, — говорит мне Джошуа, — я потом долго думал об этом — о том, чтобы не распространяться. Я думал, не эле-

дует ли сообщить в полицию. Я был и в самом деле возмущен. Так что подумывал, не пойти ли в полицию.

— И как? — спрашиваю я. — Обратились вы в полицию? Или, может быть, как-то иначе разоблачили Милграма?

Джошуа на мгновение отводит глаза. В это время появляется официант и уносит наши тарелки, так что теперь нас с Джошуа разделяет лишь белое пространство скатерти и оплывающая свеча.

— Нет, — говорит Джошуа.

— Что — нет? — переспрашиваю я.

— Нет, я не выдал Милграма и сохранил истинную цель эксперимента в секрете.

Мне это кажется странным: Джошуа так гордится тем, что противоречил Милграму, и в то же время по большому счету подчинился ему в самом важном. Теперь уже я отвожу глаза: я растеряна и не могу найти во всем этом морального центра; вместо него я обнаруживаю обычного, милого, противоречивого и сложного человека со старческими темными пятнами на руках.

Я расспрашиваю Джошуа о его жизни. Сюрпризы возникают один за другим. Нет совершенно никаких свидетельств того, что отказ повиноваться экспериментатору в лаборатории хоть в чем-то соответствует поведению Джошуа в обычной жизни. Он много лет работал на корпорацию «Экссон»* (людей, занимающихся защитой окружающей среды, Джошуа называет «няньками деревьев»). В возрасте двадцати пяти лет был мобилизован в армию и служил на Филиппинах.

— Я был прекрасным солдатом, — говорит Джошуа. — Мы захватили этих паршивых япошек и держали их под замком.

— А убили вы кого-нибудь во время войны? — спрашиваю я.

— Это же была Вторая мировая война, — говорит Джошуа. — То была совсем другая война.

* «Экссон» — нефтяной концерн, владеющий широкой сетью бензоколонок.

— Я знаю, — отвечаю я. Но эти «паршивые япошки», готовность держать пленных под замком, «няньки деревьев», примерная служба в армии, решение не доносить на Милграма — все это просто не сочетается с тем решительным поведением во время эксперимента, которым Джошуа так гордится.

— Так убили вы кого-нибудь на войне? — снова спрашиваю я и при этом вспоминаю слова Элмса о том, что проявлявшие послушание почти всегда стреляли в людей на войне, а непокорные — нет.

— Я не знаю, — отвечает Джошуа и смущенно ежится.

— Совершили ли вы во время войны что-то, в чем теперь раскаиваетесь? — спрашиваю я.

— Не знаю, — отвечает Джошуа. — Я... Официант! Я хочу кофе. — Появляется кофе и пирожное «крем-брюле», и Джошуа ест его слишком торопливо, так что из набитого сладостями рта не раздается больше ни слова.

Я звоню Элмсу.

— Итак, — говорю я ему, — я нашла непокорного испытуемого, но оказалось, что он рассуждает о «паршивых япошках», о том, каким он был хорошим солдатом и как отказался от собственных взглядов и не выдал Милграма. — И Элмс, голос которого звучит еще более устало, отвечает:

— Что ж, то, как человек ведет себя в одной ситуации, означает, что он непременно будет вести себя так же и в другой.

Я беседую еще с несколькими социальными психологами, и они повторяют мне примерно то же самое, употребляя выражения вроде «отсутствие кросс-ситуационной консистентности». Ли Росс говорит:

— Случай Чаффина просто доказывает, что поведение определяет не личность, а ситуация. — Честно говоря, это объяснение представляется мне совершенно ничего не объясняющим. Утверждение, что в одной ситуации Чаффин проявлял независимость, а в другой — покорность только потому, что

человек представляет собой клубок непредсказуемых импульсов, очень хлипкая модель, и я не собираюсь соглашаться с ней. Пример Чаффина ни в коей мере не доказывает, будто не существует личностных черт, связанных с непокорностью или ее противоположностью — послушанием; что он доказывает (если считать, что выборка из одного человека может доказать хоть что-нибудь) — так это что поведение испытуемого в лабораторных условиях не обязательно распространяется на ситуации за пределами лаборатории, которые представляют собой нечто совершенно иное.

Это нечто, именуемое в психологии внешней валидностью и обычно понимаемое как генерализация*, представляет собой серьезную проблему для лабораторной психологии. Какой прок в том, чтобы продемонстрировать результаты, которые не могут быть воспроизведены за пределами чистых белых стен маленькой научной лаборатории? Представьте себе ученого, открывшего новый антибиотик, который изумительно действует на самцов-крыс с единственным яичком, содержащихся в суперстерильных клетках. Такое открытие внешней валидностью не обладает, потому что у большинства мужчин — два яичка и, как правило, живут они в далеко не стерильных условиях.

Сомнения во внешней валидности преследовали эксперимент Милграма с самого начала. Милграма критиковали за то, что созданная им ситуация лишена повседневного реализма, что она далека от конфликтов реальной жизни; в результате человеческая драма, отраженная экспериментом, оказывается безотносительной к тому миру, в котором мы живем. Хотя широкая публика восприняла данные, полученные Милграмом, с интересом — в «Нью-Йорк тайме» появилась статья «65% испытуемых при слепом тестировании повинуются приказам причинять боль», а телекомпания ABC сняла фильм под названи-

* Генерализация — возможность получить те же результаты, что и при исходном эксперименте, в других условиях и на других популяциях.

ем «Десятый уровень», где кудрявого и слегка безумного Милграма играл Уильям Шатнер, — более узкий круг профессиональных психологов смотрел на эксперимент Милграма косо. Берни Миксон усомнился в том, что Милграм изучал именно повиновение; скорее можно было говорить об исследовании доверия: те испытуемые, которые «дошли до конца», имели все основания верить в добрую волю экспериментатора. Другие ученые не соглашались с гипотезой о доверии и утверждали, будто Милграм создал исключительно сценическую ситуацию, мало что говорящую нам о совершенно не сценической реальной жизни, которую мы ведем. Некоторые говорили, что эксперимент Милграма не объясняет ничего, кроме самого себя; это было суровое обвинение, налагающее на всю его затею клеймо творения солипситеского* театра, наблюдающего за собственными проделками и бормочущего, по словам Хендерикуса Стэма**, «Ну разве мы не умницы?». Ян Паркер, поместивший отклик на милграмовский эксперимент в журнале «Гранта», вообще нашел его трагикомическим спектаклем; это мнение совпало с заключением видного ученого Эдварда Э. Джонса, который еще раньше отклонил статью Милграма, присланную в его журнал: «Мы не можем сделать никаких заключений по поводу повиновения; скорее можно восхититься возможностями созданной вами ситуации как оказывающего влияние контекста».

Одним из наиболее яростных критиков Милграма оказался Дэниел Дж. Голдхаген, бывший профессор Гарвардского университета и автор книги «Добровольные палачи Гитлера: рядовые немцы и Холокост». Голдхаген высказал серьезные сомнения по поводу генерализации специфического эксперимента Милграма и вытекающей из него парадигмы повиновения, ко-

* Солипсизм — форма субъективного идеализма, признающая несомненной реальностью только сознающего субъекта и объявляющая все остальное существующим только в его сознании.

** Стэм Хендерикус (род. в 1954 г.) — американский психолог.

торая объясняла бы возникновение геноцида. «Эксперимент Милграма приводит к большему числу ошибочных заключений насчет Хагсокоста, чем все появившиеся до сих пор публикации, — пишет Голдхаген. — Его теории повиновения просто неприменимы к реальной жизни. Люди все время отказываются подчиняться законной власти. Американское правительство говорит одно, мы делаем другое. Даже обращаясь за медицинской помощью и будучи уверенными в добрых намерениях своих врачей, пациенты очень часто не выполняют назначений. Более того, в созданной Милграмом ситуации испытуемые не имели времени на то, чтобы обдумать свои поступки, а в реальной жизни все иначе. В реальной жизни эсэсовцы убивали днем, а вечером возвращались домой, к своим семьям. В реальной жизни люди имеют сколько угодно возможностей изменить свое поведение. Когда они этого не делают, то не потому, что слушаются начальства, а потому, что таков их выбор. В эксперименте Милграма фактор выбора вовсе не рассматривался».

Что ж, это такая критика, которой мало не покажется. Кое-что Милграму было трудно переварить, кое-что его забавляло. Он привлек к себе внимание общества, ученые спорили о значении зловещих событий в лаборатории, а Питер Гэбриел написал в его честь песню под названием «Мы делаем то, что нам говорят».

Никто, впрочем, так и не мог определить смысл эксперимента Милграма, не мог сказать, что он измеряет или предсказывает и какое значение следует приписывать полученным данным. Выявлял ли он покорность, доверие, внешнее принуждение или что-то еще?

— На самом деле, — говорит Ли Росс, — значение экспериментов, то, что именно они показывают, остается совершенно загадочным.

Тем временем, пока одни ученые обличали Милграма в методологических ошибках, другие ополчились на него с этичес-

ких позиций. Милграм представил результаты своих исследований в 1963 году; в 1964-м детский психолог Дайана Баумринд опубликовала в ведущем психологическом журнале резкую отповедь Милграму: он обманывал испытуемых, не получал их информированного согласия, причинял травмы. Коллега по Йельскому университету донес на Милграма в Американскую психологическую ассоциацию, и решение о его вступлении было отложено на год.

— Вы должны понять, — говорит Ли Росс, — что все это происходило в 1960-е годы, когда общество было очень чувствительно к этическим проблемам. Только что стали известны подробности расследования в Таскеги отказов в лечении чернокожим сифилитикам, все еще обсуждались преступления нацизма, и общее настроение было явно антисциентистским*. Именно с этих позиций судили о Милграме.

А судили его строго. Коллеги направили на него яркие лабораторные лампы и обнаружили множество недостатков. Милграм ежился и отбивался. На вечеринках люди отшатывались от него, узнав, кто он такой. Бруно Беттельхейм**, образец гуманизма, назвал работы Милграма несущими зло. Когда пришло время перезаключать контракт с университетом, и Йель, и Гарвард не захотели видеть его в своих увитых плющом стенах.

— Да и кто взял бы его? — говорит его вдова, миссис Милграм. — В те времена для заключения контракта требовалось единодушное одобрение сотрудников факультета, а Стэнли был таким противоречивым...

Желания Стэнли, похоже, тоже были противоречивыми: он хотел быть исключением, но сохранить общее одобрение; шокировать мир, а потом оказаться в его всепрощающих объятиях. Один университет за другим отвергал его кандидатуру, и у

* Антисциентизм — отрицание роли науки в жизни общества, оценка ее как силы, враждебной человеку.

** Беттельхейм Бруно (1904—1990) — известный американский психоаналитик и психотерапевт.

Милграма — а вовсе не у его испытуемых, не у Джошуа Чаффипа — начались неприятности с сердцем. Толстый голубой стебель — аорта — оказался закупорен, вялая сердечная мышца грозила отказать. В тридцать один год Милграм стал профессором Сити-колледжа в Нью-Йорке — не такое уж малое достижение для столь молодого человека, — но в тридцать восемь перенес первый из пяти инфарктов миокарда. Удушье заставляло его хвататься за горло, боль отдавалась в плече, колени подгибались... Реанимация, снова реанимация, но каждый раз пламенный мотор становился все слабее.

Что убило Стэнли Милграма? То же, что убивает нас всех: сама жизнь. Разочарования, усталость, тяжкий груз времени, неизбежный вред, причиняемый организму слишком большим количеством яиц и мяса, страх, потери... Милграм пережил много потерь: раннюю смерть отца, на которого он был так похож и который каждый день приносил из своей пекарни две халы с плетеными, смазанными маслом верхушками. Стэнли потерял отца, потерял престиж сотрудника «Лиги плюща», а потом потерял безупречную репутацию: на него снова и снова нападали за негуманное поведение в лаборатории.

— Для Стэнли это было ужасно, просто ужасно, — говорит миссис Милграм. Я прошу ее рассказать больше, но она отказывается. В 1984 году, когда ему был пятьдесят один год, сидя на защите диссертации, Милграм почувствовал тошноту. — В тот день у него не было ленча, — говорит миссис Милграм, — я в этом уверена. А его секретарша была настоящей мегерой — она не принесла бы ему и стакана воды, если бы он попросил. — Так Милграм и сидел, бледный, преодолевая тошноту. Его друг Ирвин Кац проводил его до дому, и Милграм, должно быть, ощутил, как ровный ритм колес поезда метро отличается от трепетания его собственного обескровленного сердца. У станции его встретила Александра Милграм и отвезла прямоком в больницу. Он еще смог сам войти в приемный покой. Милграм был бледен, руки его дрожали. «Я Стэнли Милграм, и

у меня произошел пятый инфаркт», — сказал он медсестре и упал. — Он был мертв, — объясняет мне миссис Милграм. Его унесли в палату, сорвали рубашку, приложили к груди электроды. — *«Условия эксперимента требуют, чтобы вы продолжали, продолжали, продолжали...»* Один электрический разряд, другой, тело выгибается дугой, бьется, как вытасненная из воды рыба, еще один разряд, черный кислородный мешок уже ни к чему. Милграм мертв, и электрические удары не могут оживить его.

Его зовут *не* Джейкоб Пламфилд, у него *не* голубые глаза и живет он *не* в той части Бостона, которая называется Джамайка Плейн. Ему *не* семьдесят девять, хоть и близко к тому. Я, пожалуй, снабжу его бородкой, серебристо-белой бородкой, а его любовнику дам имя Джим.

Джейкоб Пламфилд соглашается разговаривать со мной только на условии стопроцентной анонимности. Он участвовал в эксперименте Милграма и в отличие от Джошуа проявил полное повиновение. Он говорит, что руки его до сих пор болят от того, что он тогда сделал.

Все еще идут споры о том, что создал Милграм: ситуацию то ли нереалистическую, то ли неэтичную; но в одном усомниться нельзя: его эксперимент оставил по себе такие сильные воспоминания, что и Джошуа, и Джейкоб говорят о тех событиях так, словно они произошли только вчера, и глаза их горят. Если созданная в лаборатории ситуация нереальна, как утверждают многие критики Милграма, то почему и каким образом смогла она так глубоко отпечататься на неоспоримо реальных жизнях этих людей, ничуть не менее глубоко, чем юбилеи, рождение детей, первый сексуальный опыт?

— Мне было двадцать три, — говорит Джейкоб. — Я оканчивал университет. — Он рассказывает мне о своей жизни с красочностью, достойной Оскара Уайльда. У него была тайная связь с соседом по комнате, и он все еще боролся со своим пропавшимся гомосексуализмом. — В школе и колледже я вся-

чески старался быть как все, — говорит Джейкоб. — Всячески! Я был золотым мальчиком. Я получал наивысшие оценки. У меня была красотка-подружка. И все время я засматривался на других мальчишек, когда мы плавали в бассейне, на их спины. Не знаю почему.

Наконец, уже на выпускном курсе, он с собой не совладал: влюбился и вступил в связь с соседом по комнате. Джейкоб помнит, что это были за ночи: потные тела, хлюпающий звук, когда их влажные груди отрывались друг от друга, невыносимое возбуждение. Однако его сосед всего лишь экспериментировал с однополрой любовью и скоро покинул Джейкоба ради девушки. Джейкоб был в отчаянии. — Я всем телом чувствовал, какой это позор — быть геем. Почему я не мог испытывать влечения к девушкам? — Он отчаянно мастурбировал, воображая себе всякие «ужасные вещи». А потом увидел объявление об эксперименте и решил пойти. — Бог знает почему, — говорит он мне. В лабораторию Милграма он отправился через три дня после разрыва со своим любовником... член его болел, руки были липкими от спермы, и когда экспериментатор сказал: «Постоянного повреждения тканей не будет, продолжайте, пожалуйста»...

— Что ж, — говорит Джейкоб, — я и продолжал. Я был настолько угнетен, что мне было почти все равно, и я думал: «Постоянного повреждения тканей не будет... он, должно быть, прав. Молю Бога, чтобы он оказался прав. Я не хочу никакого постоянного повреждения... а у меня нет ли постоянного повреждения тканей?» — Джейкоб красочно описывает эту сцену: вопли «ученика» так соответствуют его собственному отвращению к себе, что боль становится общей, и он нажимает и нажимает на кнопку, совершенно утратив опору и изливая таким образом свои тайные страхи.

— Потом, — продолжает Джейкоб, — когда со мной проводили беседу по окончании эксперимента и объяснили, что произошло, я пришел в ужас. Да, в самый настоящий ужас. Мне твердили: «Вы никому не причинили вреда, не беспокойтесь»,

но было слишком поздно. Невозможно, — говорит Джейкоб, — ничего объяснить испытуемому после подобного эксперимента. Вы наносили удары. Вы думали, что действительно наносили удары, и ничто не может избавить вас от знания о том, как вы действовали. Вернуться назад нельзя.

Я вспоминаю, слушая Джейкоба, слова профессора социологии из Бостонского колледжа Дэвида Карпа: «Только представьте себе, каково пришлось испытуемым: прожить всю жизнь, зная, на что они способны».

— Значит, — говорю я Джейкобу, — можно предположить, что вы находите эксперимент Милграма изначально аморальным, причинившим вам вред.

Джейкоб отвечает не сразу; он гладит свою собаку.

— Нет, — наконец говорит он, — вовсе нет. Скорее уж совсем наоборот.

Я молча смотрю на него.

— Эксперимент, — объясняет Джейкоб, — заставил меня иначе оценить свою жизнь. Меня заставили осознать собственную податливость, и я начал с ней бороться. Я начал смотреть на свою тщательно скрываемую гомосексуальность как на разновидность податливости, увидел в этом моральный вызов. Я перестал скрываться. Я осознал, как важно иметь твердую моральную позицию. Я ощутил собственную душевную слабость, ужаснулся и занялся этическим накачиванием мускулов, если вы понимаете, о чем я.

Я киваю: я понимаю, что он имеет в виду.

— Я перестал скрываться, — говорит Джейкоб, — и это потребовало много сил, но и дало мне много сил тоже. Я увидел, как уязвим я для любой власти, и стал строго следить за собой; я научился обманывать ожидания. Я перестал быть примерным мальчиком с тщательно скрываемым секретом, рассчитывающим на блестящую карьеру, и стал работать в просветительском центре для городских подростков-геев. И я отдаю должное Милграму за то, что он пробудил меня от спячки.

Его пес, Арго, кладет морду на колено хозяина, и Джейкоб гладит и гладит его. Мы сидим в комнате с окном-эркером, полом из кленовых досок, встроенным комодом с серебряными ручками. Это уютная, умиротворяющая комната. В подобной я могла бы уснуть. В ней столько всего было передумано и приведено к решению. Стены выкрашены белой краской, на окне — занавески из белой парусины, на подоконнике — горшок с пассифлорой. Джейкоб живет просто. Приближаясь к концу жизни, он почти не имеет накоплений, хотя его давний партнер, Джим, юрист, более богат.

Куда бы вы ни кинули взгляд в этом жилище, вы увидите следы новой жизни, которую когда-то начал Джейкоб: грамоты за успехи в обучении подростков, признаки активного сопротивления материальным благам. Джейкоб, проявивший повинение при эксперименте Милграма, прожил гораздо более независимую жизнь, чем непокорный Джошуа, служивший в компании «Экссон» и в армии.

Так с чем же мы остаемся? Опять встает вопрос о валидности, поскольку эксперимент Милграма мало что говорит о том, как выбор, сделанный в лаборатории, отразится на поведении человека вне ее; если мы считаем предсказательную ценность и генерализацию основными целями научного эксперимента, то, может быть, критики Милграма правы?

Социальный психолог Дуглас Мук написал статью под названием «В защиту внешней валидности», в которой подвергает сомнению сам принцип использования генерализации в качестве показателя ценности эксперимента. «Если только перед исследователем не стоит специфическая прикладная задача, репрезентативность лабораторных данных в терминах приземленного реализма может не иметь значения». Другими словами, если вы не собираетесь использовать свои открытия в реальном мире, то какая разница, существенны для него полученные вами результаты или нет? Что ж, думаю, с этим можно согласиться. Однако к чему ведут аргументы Мука при-

мнительно к таинственному эксперименту Милграма? Ученый, скажем, подходит к эксперименту с тех же позиций, что и читатель — к роману; имеют место те же эстетические требования к структуре, темпу, теме, уроку, который из него можно извлечь. Вы не можете закрыть «Братьев Карамазовых» и сказать: «Очень интересно, хотя я и понятия не имею, о чем, собственно, речь» — просто не можете, и все. Литературное произведение составляет часть канона в основном в силу того, какое значение оно вносит в нашу жизнь. Эксперименты Милграма, бесспорно, составляют часть канона, и все же никто не может однозначно определить их суть. Повиновение? Нет. Доверие? Нет. Трагикомический спектакль? Нет. Пример нарушения этических принципов? Нет. Так какое сообщение оставил нам Милграм, в какой бутылке, по волнам какого моря он его послал?

Что ж, тогда самое лучшее, что можно сделать, — это обратиться к самим испытуемым, потому что они даже в большей степени, чем сам Милграм, являются носителями добытых им плохих или хороших новостей. И когда вы это сделаете, когда спросите участников эксперимента: «Что это все для вас значило?» — вы, возможно, получите сходные *ответы*, которые наконец дадут возможность примирить противоречия. Измерял ли Милграм повиновение или доверие? Была ли созданная им ситуация реальной или поддельной? Знали ли испытуемые, что являются жертвами розыгрыша, или их удалось обмануть? Был ли эксперимент Милграма затеей озорного бесенка или научным подвигом? Имеет ли какое-либо значение генерализация?

— Эксперимент изменил мою жизнь, заставил меня жить, в меньшей мере оглядываясь на авторитеты, — говорит Джейкоб.

Гарольд Такушиан, бывший ученик Милграма, а теперь профессор университета Фордхэма, вспоминает, что видел на столе Милграма папку с письмами:

— Это была большая черная папка с сотнями писем от испытуемых, и большинство из них сообщало, сколь многому уча-

ствие в эксперименте их научило и показало, как следует поступать. — Испытуемые утверждали, что это событие заставило их пересмотреть свое отношение к повиновению и к властям; один молодой человек даже заявил, что в результате участия в эксперименте Милграма сделался убежденным пацифистом.

Вот это, пожалуй, и есть то, что нам осталось: эксперимент, значение которого не в измеримых результатах, но в воспитательном воздействии. Довольно ироническое следствие эксперимента по изучению повиновения заключается в том, что он сделал по крайней мере некоторых из испытуемых менее покорными. И это поразительно: достижением Милграма оказалось не описание или демонстрация феномена, а скорее детонация, своего рода психологический эквивалент атомной бомбы, только на этот раз созидательный, а не разрушительный; ведь сам Милграм говорил: «Эти эксперименты рожают осознание и могут быть первым шагом к изменениям».

Что же касается личностных характеристик, ассоциирующихся с повиновением и непокорностью, я так и не смогла их обнаружить, к несомненному злорадству социальных психологов. Тем не менее я верю, что они существуют, потому что мы — не просто ситуации, в которых оказываемся. Милграм, придававший много значения воздействию ситуации, все же искал личностные особенности (значит, и не так уж он верил в силу ситуации?) и писал (хоть это его высказывание часто забывают): «Я уверен, что существует комплексная личностная основа для повиновения и непокорности, но я знаю, что найти ее нам не удалось».

Однако я помню, как теплым весенним днем в Брандейсе, впервые услышав об эксперименте Милграма, я испытала шок узнавания и сразу же поняла, что была бы способна все нажимать и нажимать кнопки, не имея внутренней силы сопротивляться. И я знала, что способна на такое не потому, что меня вынуждают к этому какие-то особые обстоятельства, нет. Импульс был внутренним — маленькая горячая точка. Это не было

внешнее воздействие. Маленькая горячая точка — и руки нажимают кнопки. Как часто приходилось мне — и вам тоже — слышать оскорбительные высказывания в адрес представитель другой национальности и молчать, чтобы не случилось скандала? Как часто я — и вы тоже — была свидетелем придинок начальника к коллеге, но молчала, чтобы не лишиться работы? Маленькая горячая точка существует во многих из нас. Одни ситуации заставляют ее разгореться ярче, другие — нет, но моральной уступчивостью больны многие сердца, и когда после многочисленных уступок сердцу приходится сделать еще одну, оно не выдерживает, и тогда никакие электрические удары не могут вернуть его к жизни. Я прислушиваюсь к собственному сердцу — тук-тук — и смотрю на свои руки, и мне хочется думать, что теперь, когда я так хорошо познакомилась с мистером Милграмом, Джошуа, Джейкобом и вами — да, вами, — я буду танцевать несколько иначе, когда объявят мой номер. Я смотрю на свои руки теперь, ярким солнечным летним днем, и вижу, как линии на ладонях разбегаются в разные стороны, предсказывая и добро, и худо — заранее ничего наверняка не узнаешь. Шестьдесят пять процентов подчинились, тридцать пять — нет. А потом хорошие стали плохими, а плохие — хорошими. Все перепутано... Мои руки болят, ощущая, какими безграничными возможностями обладают. Наступает вечер. Моя двухлетняя дочь выучила новое слово по-испански. «Обскура! Обскура!» — кричит она; это, по ее словам, означает: «Темнеет! Темнеет!» Она подбегает ко мне, и я обнимаю ее — руками, в которых скрыты такие возможности.

3

Что значит быть нормальным человеком в сумасшедшем доме

Экспериментирование с психиатрическим диагнозом

В начале 1970-х годов Дэвид Розенхан решил проверить, насколько хорошо психиатры способны отличить «нормальных» людей от «ненормальных». Психиатрия как область медицины, конечно, основывается на вере в то, что профессионалы знают, как надежно диагностировать отклоняющиеся психические состояния и на основании таких диагнозов принимать решения о пригодности человека к социальному функционированию — исполнению роли родителя, выполнению правил условного осуждения, способности измениться под влиянием тюремного заключения. Розенхан знал о том, в какой огромной степени психиатры осуществляют социальный контроль, и относился к этому критически; поэтому он разработал эксперимент для проверки того, действительно ли их квалификация соответствует их власти. Он привлек восьмерых участников, которые под вымышленными предлогами были помещены в различные психиатрические лечебни-

цы; став пациентами, они вели себя совершенно нормально. Целью эксперимента было выяснить, установят ли психиатры их нормальность или их заключение окажется затуманено заранее сформированным мнением: если человек числится пациентом психиатрической лечебницы, значит, он свихнулся. Эксперимент Розенхана изящно показывает, насколько наше восприятие искажается теми очками, сквозь которые мы смотрим на окружающий мир. Полученные Розенханом данные говорят о том, что мы неистребимо имманентны, погружены в субъективизм; они расширяют наши знания не только в области психиатрии и психологии, но и философии.

Он потерял жену. Он потерял дочь. Он потерял разум в результате нескольких инсультов, и теперь Дэвид Розенхан, почетный профессор психологии и права Стэнфордского университета, едва способен дышать. Несколько месяцев назад он стоял в своей кухне в Пало Альто, когда впервые почувствовал, как по его ногам поднимается онемение. К тому времени, когда он добрался до отделения срочной медицинской помощи, он лишился власти над ногами; затем последовали руки, торсы и, наконец, легкие. Врачи были в растерянности, они так и не смогли определить, в чем же дело с этим бунтарем-исследователем, тем самым, который посвятил большую часть своей карьеры опровержению психиатрических диагнозов. И вот теперь он сам находился в клинике и представлял собой загадку для медицины. Лицо Розенхана стало неподвижным. Сейчас, когда я пишу эти строки, он все еще не может произнести большинство слов. Его молчание оставляет дыру в моем рассказе, который сам посвящен дырам, которые Розенхан обнаружил в считавшейся твердой почве психиатрии.

Стоял 1972 год. Томас Заз написал свою книгу «Миф психического заболевания», Р. Д. Лэинг бросил вызов психиатрам, предложив считать шизофрению особой разновидностью по-

эзии. Только недавно на дулах винтовок развевались флажки, символизируя прекращение военных действий во Вьетнаме. Розенхан, обладатель степеней в психологии и юриспруденции, во Вьетнаме не был, но, по свидетельству коллеги, следил за тем, как много призывников использовали психические заболевания в качестве предлога для уклонения от военной службы. Имитировать некоторые симптомы было довольно легко — но насколько легко? Розенхан, обожавший приключения, решил кое-что испробовать.

Подчиняясь импульсу, он позвонил восьмерым своим друзьям и сказал что-то вроде: «Вы очень заняты в будущем месяце? Найдется у вас время под вымышленным предлогом попасть в психиатрическую клинику и посмотреть, что получится, смогут ли там определить, что вы на самом деле здоровы?» Как ни удивительно, у всех восьмерых следующий месяц оказался не слишком занят, и все — трое психологов, один студент-выпускник, врач-педиатр, врач-психиатр, художник и домохозяйка — согласились принять участие в этой уловке вместе с самим Розенханом, который с трудом мог дождаться начала эксперимента.

— Дэвид просто позвонил мне и сказал: «Ты занят в октябре?» — и я ответил: «Конечно, занят», но к концу разговора я рассмеялся и согласился. Я предоставил ему себя на весь октябрь — время, пока длился эксперимент, — рассказывает один из фальшивых пациентов, Мартин Селигман.

Некоторые из лечебниц, которые выбрал Розенхан, были роскошными зданиями из белого кирпича, другие — государственными учреждениями с пахнущими мочой коридорами и разрисованными граффити стенами. Все псевдопациенты должны были явиться туда и сказать следующее: «Я слышу голос. Он произносит «плюх»». Розенхан специально выбрал такую жалобу, потому что нигде в психиатрической литературе не было сообщений о голосах, которые произносили бы столь откровенную карикатурную страшилку.

На все последующие вопросы притворщики-больные должны были отвечать совершенно честно, не называя только своих настоящих имен и профессий. Предполагалось, что никакие другие симптомы симулировать они не будут. Если их госпитализировали, то, оказавшись в лечебнице, они должны были сразу же сказать, что голос исчез и они чувствуют себя нормально. Розенхан преподавал своим сообщникам урок: как избегать лечения, как не проглатывать таблеток, пряча их под язык.

— Мне понадобилось на это некоторое время, — говорит Мартин Селигман. — Я не сразу освоил умение управляться с таблетками, и я очень нервничал. Я боялся, что случайно проглочу таблетки, которые меня будут заставлять принимать, и еще больше боялся того, что окажусь жертвой гомосексуального изнасилования.

Несколько дней псевдопациенты осваивались. Такая практика носила, несомненно, пассивный характер: люди просто позволили охватить себя апатии и запахам лечебницы. Их волосы отрасли и спутались, дыхание стало неприятно пахнуть. Они освоили умение прятать таблетки под языком, а потом отворачиваться и незаметно их выплевывать. Стояла осень, и в небе висела круглая луна. По улицам скользили гоблины в ярких накидках, ведьмы разгуливали с мигающими свечами в тыквах. Так что это было — трюк? Или научный эксперимент?

День, когда Розенхан отправился в одну из пенсильванских государственных лечебниц, был великолепным. Небо сияло морозной синевой, деревья казались огромными кистями, которые окунули в банки с красками, а потом вытащили и перевернули, так что они оставались влажными и яркими. Розенхан оставил свою машину на стоянке. Лечебница располагалась в готическом здании, все ее окна были забраны решетками. На территории были видны санитары в голубых халатах.

Когда Розенхан вошел в приемный покой, его проводили в маленькую выкрашенную в белый цвет комнату.

— Что вас беспокоит? — спросил психиатр.

— Я слышу голос, — коротко ответил Розенхан.

— И что этот голос говорит? — спросил психиатр, не зная, что попадаете в приготовленную Розенханом западню.

— «Плюх», — сказал Розенхан, и мне кажется, что произнес он это с самодовольным видом.

— «Плюх»? — переспросил психиатр. — Вы сказали «плюх»?

— «Плюх», — подтвердил Розенхан.

Психиатр, должно быть, почесал в затылке. Он был растерян и смущен. Возможно, он отложил ручку и журнал регистрации и секунду смотрел в потолок. Проблема в том, что мы не знаем точно, что происходило в каждом из приемных покоев, потому что Розенхан не потрудился оставить подробные отчеты. Что нам известно — так это что каждый псевдопациент сообщал, что голос принадлежал представителю того же пола, что и он сам, и что он вызывал некоторое беспокойство; каждый также сообщал, что решил обратиться за советом именно сюда, потому что друзья говорили, будто «это хорошая лечебница».

Роберт Спицер, один из самых выдающихся психиатров XX века и суровый критик Розенхана, в 1975 году опубликовал в «Журнале патопсихологии» статью, посвященную полученным Розенханом результатам, где говорилось: «Некоторая пища чрезвычайно вкусна, но оставляет отвратительное послевкусие. Так и с исследованием Розенхана. Мы знаем очень мало о том, как представлялись псевдопациенты и что они говорили». В примечании к статье Спицер добавляет: «Розенхан не назвал лечебницы, в которые обращались испытуемые, из соображений конфиденциальности и опасения нападок. Это делает невозможным получить от персонала лечебниц ни подтверждение, ни опровержение сообщения Розенхана о том, как псевдопациенты себя вели и как были приняты».

Позднее в телефонном разговоре со мной Спицер говорит:

— Вся эта затея — «плюх». Розенхан использует полученные данные, чтобы показать, как смешны психиатры потому,

что раньше никто из больных не жаловался на слуховые галлюцинации, где звучал бы «плюх». Ну и что? Однажды у меня был пациент, который жаловался на голос, постоянно произносящий «Все о'кей, все о'кей». Сообщений о таком в литературе я не встречал, но это не значит, что человек не был на самом деле болен. — Мне не хочется противоречить Спицеру, но, по-моему, голос, говорящий «все о'кей», — вполне о'кей...

Спицер делает паузу.

— Так как дела у Дэвида? — спрашивает он.

— Не так уж хорошо, — отвечаю я. — Его жена умерла от рака, а дочь Нина погибла в автомобильной катастрофе. Он перенес несколько инсультов и сейчас страдает от болезни, которую врачи не могут определить. Он парализован.

То, что Спицер, услышав эти новости, не выражает особой печали, говорит о том, с какой неприязнью коллеги все еще относятся к полученным Розенханом результатам, даже по прошествии сорока лет.

Розенхана провели подлинному коридору. Ему это не было известно, но в разбросанных по всей стране лечебницах восемь его сподвижников также были госпитализированы. Должно быть, Розенхан испытывал и страх, и возбуждение. Он был журналистом и ученым, достигшим вершины своей карьеры, и он рисковал собственным организмом ради получения знаний. Он не смотрел в микроскоп или в телескоп; он сам запустил себя на орбиту, он ходил по луне. Именно на луне он и оказался: помещения лечебницы были стерильны, и моряки, фальшивые профессора и женщины с опухшими губами плавали там в невесомости собственных видений. Розенхана отвели в палату и велели раздеться. Заметил ли он, что его тело ему больше не принадлежит? Кто-то сунул ему в рот термометр, кто-то надел ему на руку черную манжету для измерения давления, кто-то сосчитал его пульс: все было в норме. Все было в норме, но никто этого не замечал. Розенхан сказал:

— Знаете, голос меня больше не беспокоит, — и доктора в ответ только улыбнулись. — Когда я отсюда выйду? — наверное, спросил Розенхан, и в голосе его прозвучала легкая паника — боже, что он наделал... — Когда я отсюда выйду?

— Когда поправитесь, — ответил ему врач. Но он же здоров: у него все в норме, давление 110/80, пульс 72 — его организм работает, как хорошо смазанная машина. Это не имело значения. Не имело никакого значения то, что его разум совершенно ясен. Ему поставили диагноз «параноидальная шизофрения» и заперли в лечебнице на много дней.

Посредине отделения находилось застекленное помещение, которое Розенхан скоро начал называть «загоном для быков». Там суетились сестры, разливая по пластиковым стаканчикам винно-красное лекарство и раскладывая таблетки — разноцветные, как конфетки, круглые, как горошины, маленькие, словно розовые точки на длинной полоске белой бумаги. Розенхан подчинялся абсолютно всему. Он «принимал» таблетки три раза в день, а потом спешил в туалет, чтобы там их выплюнуть. Розенхан заметил, что так же поступают и все остальные пациенты: получив очередную порцию таблеток, они толпой устремлялись в туалет, и никому до этого не было дела, если люди вели себя смирно...

Пациенты психиатрической клиники «невидимы, недостойны того, чтобы на них обращать внимание», — писал впоследствии Розенхан. Он видел, как сестра, войдя в полную народа общую комнату, расстегнула блузку и стала поправлять бюстгальтер. «Чувства, что она пытается выглядеть соблазнительно, ни у кого не возникло, — продолжал Розенхан. — Она скорее просто нас не замечала». Он видел, как пациентов били; одного из них свирепо наказали просто за то, что тот сказал сестре: «Вы мне нравитесь». Розенхан не описывает длинных ночей, проведенных на узкой койке, когда каждые пятнадцать минут в палату заглядывал санитар с фонариком; яркий золо-

той луч не освещал ничего, абсолютно ничего. О чем он тогда думал? Тосковал ли он по своей жене Молли? Гадал ли, как идут дела у двух его малышей? Тот мир должен был казаться ему таким далеким, хоть лечебницу от его дома отделяло не больше сотни миль, как говорит нам объективная наука. Осмос — в социальном отношении иллюзия. Мембраны не являются полупроницаемыми: они — сплошные перегородки, разделяющие пространство — ты здесь, я там. Может быть, нас разделяет всего секунда, но что касается предубеждений и ярлыков — это вечность.

Розенхан и его сподвижники получали лечение, и когда они описывали радости и разочарования своей обычной жизни — не забудьте, они говорили чистую правду во всем, за исключением жалобы на «голоса», — обнаружилось, что их прошлое трансформируется так, чтобы соответствовать диагнозу: «Белый мужчина, возраст 39 лет. Выявлена длительная история склонности к резко противоположным эмоциям в отношениях с окружающими. Аффективная стабильность отсутствует. Хотя пациент говорит о наличии у него нескольких близких друзей, эти отношения двусмысленны». В 1973 году Розенхан писал в «Сайнс», одном из самых престижных научных журналов: «Несомненно, значение, приписанное высказываниям пациента, определялось диагнозом: шизофренией. Будь известно, что пациент «нормален», приписанное значение было бы совсем другим».

Странная вещь: другие обитатели психиатрической лечебницы в отличие от докторов, по-видимому, знали, что Розенхан здоров. С другими участниками эксперимента по всей стране происходили те же странности: сумасшедшие лучше выявляли нормальных, чем их врачи. Один молодой человек, подойдя к Розенхану в общей комнате, сказал: «Вы не свихнулись. Вы — журналист или исследователь», а другой пациент предположил: «Вы инспектируете лечебницу».

Находясь на лечении, Розенхан выполнял все распоряжения, требовал себе привилегий, помогал другим пациентам ре-

шать их проблемы, давал юридические консультации, вероятно, много играл в пинг-понг и вел подробные записи, что персонал лечебницы квалифицировал как «писательское поведение» и видел в нем проявление параноидальной шизофрении. И вдруг в один прекрасный день по причинам столь же произвольным, как и причины его госпитализации, Розенхан был выписан. Воздух был обжигающе холодным. Розенхан узнал нечто очень тревожное: в психиатрических лечебницах в пациентах не видели людей; психиатрия была психически больна. Во скольких же клиниках по всей стране, гадал он, люди так же, как и он, получают неверный диагноз, ненужное лечение и удерживаются против собственной воли? Может быть, ярлык «безумие» и порождает безумие: диагноз влияет на состояние мозга, а вовсе не наоборот? Может быть, не наш мозг формирует нас? Может быть, это мы формируем свой мозг? Может быть, нас создает этикетка, прикрепленная к нам. Приближалась зима, и падал снег, меняя очертания зданий и автомобилей. Лечебница становилась белой и быстро исчезала из виду, лишившись материальности.

В 1966 году, за годы до приключения Розенхана, двое исследователей, Р. Розенталь и Л. Якобсон, провели эксперимент, предложив ученикам 1—4-х классов тест с искаженным названием: «Гарвардский тест измененного научения». Было объявлено, что данный тест — показатель будущих академических успехов, или «спурта», хотя на самом деле он измерял лишь некоторые невербальные умения. Учителям было сказано, что от тех учеников, кто обнаружил высокие показатели, в течение следующего года можно ожидать беспрецедентных успехов. На самом же деле тест ничего такого предсказать не мог.

Учителям были сообщены не имеющие никакого значения результаты тестирования, и через год Розенталь и Якобсон снова обследовали детей. Выяснилось, что ученики, отнесенные к группе «спурта», добились больших академических успехов, чем

остальные. Более того, дети из этой группы показали явный рост коэффициента интеллекта, особенно в 1—2-х классах; это говорило о том, что на данный показатель возможности и ожидания воздействуют так же, как и выявленные способности.

Еще раньше, в начале XX века, другой своего рода «эксперимент» показал влияние ожиданий на интерпретацию событий. Это очень странная история, в которой фигурирует конь по имени Ганс, который, как все думали, умел считать. Если вы задавали Гансу (которого скоро стали называть Умным Гансом) арифметическую задачу, он, топая копытом, сообщал ответ. Люди платили деньги, чтобы посмотреть на Ганса и задать ему задачу, снова и снова экспериментируя с самым большим, несомненно, лабораторным животным, известным психологии.

Однако в 1911 году нашелся скептик, человек по имени Оскар Пфунгст, который стал наблюдать за Гансом. Внимательно следя за ним сквозь очки на протяжении многих дней и ночей, он обнаружил, что конь, конечно, считать не умел, но научился стучать копытом, ориентируясь на подсказки со стороны зрителей. Например, когда число ударов копытом достигало правильного значения, зрители неосознанно совершали еле заметные движения — поднимали брови, склоняли голову, — и Ганс останавливался. Вот так-то: никакого отношения к умению считать фокус не имел; конь просто улавливал скрытые сигналы, посылаемые ему окружением. Лошади и люди восприимчивы, так что Гансу оставалось только подтвердить устоявшееся мнение, каким бы абсурдным оно в данном случае ни было; отсюда ясно видно, как далеко мы готовы зайти, чтобы подтвердить то, что нам хочется подтвердить.

Розенхан знал о Розентале и Якобсоне, об Умном Гансе и скептике О. Пфунгсте, спасителе разума, но он знал и о кое-чем еще. Хотя все эти эксперименты демонстрировали силу предубеждений и контекста в восприятии реальности, ни один из них не касался медицины, к которой себя с гордостью относит психиатрия. В пенсильванской государственной лечебнице ра-

ботали дипломированные врачи, и они совершали очень скверные, хуже того — глупые ошибки. Встретившись со своими сподвижниками после окончания эксперимента, Розенхан узнал, что всем им, за исключением одного, был поставлен диагноз «шизофрения» на основании единственного глупого симптома (тому участнику эксперимента, который оказался исключением, был поставлен диагноз «маниакально-депрессивный психоз» — тоже достаточно тяжелое клеймо). Как выяснилось, средний срок пребывания в лечебнице составил девятнадцать дней (при максимуме в пятьдесят один и минимуме — семь). Розенхан узнал, что все участники потеряли в статусе и, наконец, что все они были выписаны с заключением о ремиссии заболевания, что, конечно, означало, что здравость их рассудка так и не была обнаружена, а психическое здоровье воспринималось как временное явление, так что им предстояло снова и снова подвергаться лечению.

Все это случилось, когда Розенхану было под сорок; он был лысым, могучего сложения мужчиной, известным своими розыгрышами и гостеприимством: на вечеринки у себя дома он приглашал по пятьдесят человек. Он обожал щедрое угощение и в конце концов установил на своей кухне две посудомоечные машины, чтобы не возиться с тарелками.

Приятельница и коллега по Стэнфордскому университету Флоренс Келлер говорит о Розенхане:

— Дэвид — единственный известный мне человек, который расширил свой дом после того, как дети отправились в колледж, — чтобы устраивать более многолюдные вечеринки. — Потом Келлер добавляет: — Он здорово умел управляться со словами, но вы никогда не чувствовали, что в самом деле его знаете. Он всегда оставался в маске.

Да, так оно и было.

Действительно, мы часто стремимся обнаружить в других те самые тенденции, которые чувствуем в себе. Поэтому, должно быть, Розенхан испытывал определенное злорадство, когда

в начале 1970-х годов написал статью, описывавшую его эксперимент с псевдопациентами, — статью, взорвавшую, как бомба, мир психиатрии, лишая ее статуса. «Что значит быть нормальным человеком в сумасшедшем доме» была напечатана в престижном научном журнале «Сайнс», что довольно забавно, поскольку Розенхан подвергал сомнению саму достоверность науки, по крайней мере в приложении к психиатрии. В первых же абзацах он высказал свою основополагающую мысль: диагноз связан не с пациентом, а с контекстом, и любой диагностический процесс, столь легко приводящий к многочисленным подобным ошибкам, не может считаться надежным.

«Сайнс», журнал, выходящий по сей день, имеет тираж примерно в шестьдесят тысяч. Обычно, насколько я могу судить, познакомившись к настоящему времени со многими номерами, передовая статья вызывает некоторый анемичный отклик — несколько совершенно беззубых писем. За статьей Розенхана, однако, последовал целый шквал пламенных посланий, содержащих иногда весьма забавные аргументы. Розенхан оскорбил психиатрию как науку и тем самым побудил многих американских психиатров поднапрячься и проявить острый интеллект, скрывающийся за их несколько сомнительными утверждениями. Вот некоторые их высказывания:

Большинство врачей не считают пациентов, обращающихся к ним за помощью, лжецами; поэтому они, конечно, могут быть введены в заблуждение. Было бы возможно провести исследование, при котором пациенты, обученные симулировать признаки инфаркта миокарда, получили бы соответствующее лечение только на основании их слов (поскольку данные электрокардиограммы не дают возможности поставить диагноз), но было бы глупостью из данных такого исследования делать вывод о том, что заболевания как такового не существует, диагноз — ошибочный ярлык, а

«болезнь» и «здоровье» — понятия, существующие только в головах врачей.

Псевдопациенты не вели себя нормально в приемном покое. Будь это иначе, они подошли бы к дежурной сестре и сказали: «Понимаете, я здоровый человек, который попытался выяснить, смогу ли я попасть в лечебницу, притворяясь сумасшедшим. У меня получилось, и я был госпитализирован, а теперь я хотел бы, чтобы меня выписали».

А вот отрывок из моего любимого письма:

Если бы я выпил кварту крови, скрыл это и обратился в приемный покой любой больницы с жалобами на кровавую рвоту, поведение персонала было бы совершенно предсказуемым. Если бы мне поставили диагноз «язва желудка» и назначили соответствующее лечение, сомнительно, что я смог бы убедительно утверждать, будто медицина не знает, как диагностировать соответствующее заболевание.

Роберт Спицер, тот самый бодрый психиатр, знаток психоанализа, занимавший престижный пост в Институте биометрии Колумбийского университета, был в числе самых встревоженных статьей Розенхана ученых. Письма в редакцию он писать не стал. Он написал две статьи — тридцать три страницы насыщенной и логичной прозы, — развенчивающие полученные Розенханом результаты.

— Вы читали мои ответы Розенхану? — спрашивает он меня при телефонном разговоре. — Они ведь блестящи, не правда ли?

Спицер говорит о многом, но главное — он защищает достоверность психиатрии и ее диагностики, доказывает ее надежность как научной, медицинской процедуры.

— Я верю в медицинскую модель психиатрии, — говорит он мне; это означает, что он считает психические заболевания в целом такими же, как болезни легких или печени, и нуждающимися в таком же подходе; он полагает, что в один прекрас-

ный день психические отклонения будут поняты в терминах тканей и синапсов и мозг перестанет быть тем черным ящиком, которым является сейчас.

«Так каковы же результаты? — писал Спицер, опровергая оппонента. — По словам Розенхана, все пациенты при выписке получили диагноз «в состоянии ремиссии». Что такое ремиссия, известно: это значит — без признаков заболевания. Таким образом, все психиатры явно признали, что псевдопациенты были, как это называет Розенхан, "нормальны"».

Спицер приводит еще много доводов в пользу достоверности психиатрии как отрасли медицины. После чтения статей Спицера и писем в ответ на публикацию Розенхана я обнаруживаю, что начинаю колебаться. С одной стороны, исследование не было безупречным. Если бы я выпила кварту крови и меня рвало ею в приемном покое... значит, все-таки психиатрия, должно быть, не так уж отличается от других медицинских направлений. Однако погодите-ка минутку. В случае с кровью меня не продержали бы в клинике пятьдесят один день, да и кровь — это вам не «плюх». Я хочу сказать, кровь — гораздо более убедительное свидетельство; я качаюсь как на качелях: нормальность — ненормальность, достоверность — недостоверность...

В 1976 году, всего через два года после того, как Розенхан опубликовал свои данные, я и в самом деле оказалась пациенткой психиатрической клиники на Восточном побережье, и это, кстати, не было симуляцией. Я, четырнадцатилетняя девчонка, имела кучу симптомов, куда, правда, не входили галлюцинации. Я делала все, что делают четырнадцатилетние девчонки, и еще кое-что. Я обожала драму и воображала себя будущей Вирджинией Вульф*. С другой стороны, не все в моем поведении было театральщиной. Даже не говоря о моих собственных

* Вирджиния Вульф (1882—1941) — английская писательница и литературный критик. Ее работы отмечены чертами экспериментаторства, «потока сознания».

симптомах, в «контейнере», как я почти с любовью начала называть клинику, я кое-что повидала. Я видела застекленный сестринский пост, откуда выкатывались хромированные тележки с похожими на конфеты таблетками, видела страдающего манией лунатика со струящимся по лицу потом, видела женщину по имени Роза, которую нашли в ванной с веревкой вокруг шеи. Да, я кое-что повидала. Я видела вещи, явно не родившиеся в головах врачей, вроде той петли на шее, поэтому для меня психические заболевания совершенно реальны. Впрочем, все мы, пациенты, собравшись в общей комнате, где дым стоял такой густой, что можно было топор вешать, играли поставленными нам диагнозами, как дети — разноцветными камешками: «пограничное состояние» было голубым и блестящим, «шизофрения» — алой с белой полоской, «депрессия» — тускло-зеленой и туманной, как катаракта, а потому ценимой невысоко. Одна попытка самоубийства расценивалась как ерунда, три давали вам некоторый статус, а более десяти вызывали мрачное уважение. Как преступники в тюрьме, мы обменивались профессиональными секретами, порожденными, несомненно, присвоенными нам ярлыками и получаемым нами лечением; в какой-то момент становилось трудно определить: мы ли существовали ранее ярлыков или ярлыки сформировали нас... Мое, например, состояние в «контейнере» ухудшилось — как в результате заражения, если в больнице распространяется стафилококковая инфекция. Что же касается утверждения, будто псевдопациенты не вели себя нормально, потому что нормальным было бы подойти и признаться в розыгрыше... ну так я видела прелестную девушку по имени Сара, студентку колледжа Смита, кроткую и спокойную, во всех смыслах образцового поведения, которая каждый день мягко просила ее выписать и каждый день получала отказ. Так разве можно тут судить? По сообщению Розенхана, санитары били пациентов и будили их окриком «Эй ты, вонючий сукин сын!» и так же обращались к ним в присутствии других людей. Я никогда не слышала руга-

тельств от персонала. Нельзя отрицать, что психиатр, в чьем ведении я находилась, уделял мне совсем немного времени; впрочем, я все равно хорошо его помню, потому что он мне очень нравился. Его звали доктор Су, он происходил из какой-то другой страны, имел усики и по какой-то странной причине часто носил с собой бейсбольную битку. Мы с ним обычно встречались в его тесном кабинете, где он, наклонившись, рассматривал порезы на моих запястьях, похожие на полураскрытые губы, потому что я постоянно расковыривала их украденными где-нибудь щепками. Взглянув на мои запястья, доктор Су с искренним чувством говорил: «Какой стыд, Лорин. Какой стыд, что ты так мучаешь себя».

Эксперимент Розенхана, как, возможно, любое произведение искусства, фокусирует свет, обладает мощным воздействием и не лишен недостатков. Вы, конечно, можете с этим спорить, как уже делали те, о ком шла речь выше. Только, как по доброте душевной сказал бы доктор Су: «Какой стыд!»

Тем не менее, на мой взгляд, Розенхан обнаружил несколько основополагающих истин. Ярлыки и в самом деле определяют, как мы видим то, что видим. Психиатрия — только что вылупившаяся из яйца наука, если вообще наука, поскольку по сей день она не обладает твердыми знаниями практически о любых физиологических субстратах психических заболеваний, а наука основывается на знаниях о теле, об измеримых вещах. Психиатры и в самом деле делают необоснованные заключения — не все, но многие, и могут быть надутыми индюками, возможно, из-за собственной неуверенности. Как бы то ни было, эксперимент Розенхана избавиться от этой неуверенности им не помог. Его статья вызвала ярость, а потом последовал вызов. «Ладно, — сказала одна психиатрическая клиника, выпячивая свою коллективную грудь, — вы полагаете, мы не знаем, что делаем? Ну так докажите! В следующие три месяца присылайте сколько хотите псевдопациентов в наш приемный покой, и мы их выведем на чистую воду. Вот вам!»

Так Розенхану была брошена перчатка.

Ну, Розенхан, с его боксерским телосложением, подраться любил. Так что он согласился и сказал, что пришлет в названную клинику некоторое число псевдопациентов, а персонал должен решить — проводя своего рода эксперимент Розенхана наоборот, — не кто из них безумен, а кто здоров. Прошел месяц. Прошел второй. По истечении трех месяцев сотрудники клиники сообщили Розенхану, что с высокой степенью уверенности выявили сорок одного из присланных им псевдопациентов. Розенхан же не посылал ни одного. Дело было закрыто, матч проигран. Психиатрии оставалось только повесить голову.

Было время, когда мы верили в психиатрию, как в бога; в тот золотой век — 1930, 40, 50-е годы — в этой области царил психоанализ, который, казалось, знал ответы на все вопросы. История вашей жизни может вас исцелить: свернитесь клубочком и поплачьте. На манию смотрели как на «желание есть, желание быть съеденным и желание уснуть».

Странность заключалась в том, что психоанализ, который настолько слился с психиатрией, что захватил все позиции в этой области, не очень интересовался трудным делом постановки диагноза. Существовал справочник (он и до сих пор существует) «Диагностическое и статистическое руководство по психическим заболеваниям», сокращенно DSM. Первое издание появилось в 1952 году, второе — в 1968-м. Как раз DSM-II и использовался в то время, когда были госпитализированы псевдопациенты. В DSM-II симптомы шизофрении описывались очень туманно, основываясь на понятиях типа «реактивный невроз» и «трудности формирования привязанности»; как указывал Розенхан, чем более двусмыслен язык руководства, тем больше места для ошибок. Именно в этом контексте известный психиатр Адольф Мейер сказал: «Я очень редко ощущаю стремление далеко оторваться от признания неясности ситуации и

потребность в окончательном решении, которое само демонстрирует собственную ненужность».

Несмотря на столь очевидно сбивающий с толку язык, психиатрия наслаждалась золотыми денечками, когда люди глубоко в нее верили и в силу этой веры тратили тысячи и тысячи долларов, лежа на кушетках в кабинетах психоаналитиков.

— Дэвид Розенхан, — говорит Флоренс Келлер, — был на самом деле первым, кто тогда объявил: «Знаете что, ребята? А король-то голый». Можно по всей справедливости сказать, что он в одиночку разрушил психиатрию, и она от этого так и не оправилась. — Флоренс Келлер некоторое время молчит. Она — главный психолог клиники в Пало Альто. — Я хочу сказать: посмотрите вокруг. Кто теперь идет в психиатрию? Больше невозможно найти психиатра для клиники. Психиатры перевелись, потому что психиатрия — в значительной мере мертвая область, и она не оживет, пока не появятся весомые данные о патогенезе психических заболеваний, о роли нейронов и химических взаимодействий. Тогда, возможно, психиатрия отвоюет свои позиции.

Спицер с этим не согласен. Так и должно быть: он ведь психиатр. Спицер говорит:

— Я полагаю, в нашей области происходит множество захватывающих событий.

Не был он согласен и в 1973 году, когда Розенхан опубликовал свои данные. Если Розенхан взялся в одиночку разрушать психиатрию, то Спицер тогда в одиночку взялся за то, чтобы ее восстановить. Вместе с группой уважаемых коллег он принялся за то хлипкое руководство по диагностике, которое содержало достаточно неясностей, чтобы позволить Розенхану и его сподвижникам попасть в психиатрическую лечебницу, и хорошенько его переделал. Спицер выполнил все эфемерные и субъективные утверждения, которые ему попадались, освободил руководство от наукообразного лепета. Он ужесточил диагностические критерии так, что каждый из них стал основ-

ваться на измерениях; теперь для постановки любого диагноза появились очень жесткие указания на то, какие симптомы должны иметь место, как часто и как долго должны они проявляться.

DSM-III (1980) включает очень много таких инструкций: «Пациент должен обнаруживать по крайней мере четыре симптома, соответствующих критерию А, на протяжении по крайней мере двух недель, три, соответствующих критерию В, и один, соответствующий критерию С». DSM-II подобных указаний не содержал. Там были фразы вроде такой: «Главной характеристикой нарушения является тревожность, которая может напрямую ощущаться и выражаться или подсознательно, автоматически контролироваться благодаря использованию различных механизмов защиты». Пожалуй, хватит... Спицер утверждает, что внесенные в DSM-III, который страниц на 200 объемнее DSM-II, инновации являются «защитой медицинской модели применительно к психиатрии». Если пациент соответствует расширенным критериям, то он болен, если нет — то здоров. Двусмысленность, эфемерная, неопределенная тревожность больше не значат ничего.

Со времен Розенхана психиатрия предприняла многочисленные попытки выявить физиологические основы психических заболеваний — по большей части, хотя и не полностью, безрезультатно. В 1980-х годах появился многообещающий новый диагностический метод выявления депрессии, названный тестом подавления дексаметазона: он давал возможность обнаружить в моче страдающих этим заболеванием определенный продукт метаболизма. Открытие было встречено с энтузиазмом. Скоро, очень скоро мы сможем ставить диагноз депрессии так же, как ставим диагноз анемии: пописает пациент в баночку, потом три янтарные капли на предметное стеклышко с мазком препарата — и готово! Сразу ясно, есть депрессия или нет, и спорить тут не о чем.

Этот тест оказался ненадежным, так что сразу отправился в мусорную корзину истории. Попытки психиатров создать другие диагностические тесты тоже особого успеха не принесли. В последнее время появились сообщения о том, что Чарльз Немеорофф из университета Эмори продвинулся в нужном направлении: он установил, что гиппокамп у страдающих депрессией примерно на 15% меньше, чем у здоровых, а у крысят, отлученных от матерей, имеется избыток нейротрансмиттеров*. Это, конечно, волнующие открытия, но остается неясным, что они дают для понимания причин заболевания.

Если покажется, что сказанное выше не имеет никакого отношения к эксперименту Розенхана, то это не так. Многие современные исследования являются осознанным или неосознанным откликом на брошенный им вызов и результатом сомнений, которые он породил у «мягких» психиатров.

— Новая система классификации, принятая в DSM, является строго научной, — говорит Спицер.

— Ничто так не подчеркивает условный характер психиатрических диагнозов, чем недавнее решение Американской психиатрической ассоциации изъять из DSM гомосексуальность [речь идет о DSM-II, 1968]. Каково бы ни было мнение специалистов о природе гомосексуальности, тот факт, что профессиональное сообщество голосованием решало, следует или нет считать гомосексуальность нарушением, ясно показывает различие как между психическими заболеваниями и тем, что считают таковыми психиатры, так и чувствительность последних к контексту. Изменения в отношении образованной части общества к гомосексуальности произвели соответствующие изменения в восприятии ее психиатрами, — говорит Розенхан.

— Все диагнозы, — возражает на это Спицер, — ставятся на основании разработанной людьми классификации, так что кри-

* Нейротрансмиттеры — физиологически активные вещества, посредством которых в нервной системе осуществляются контактные клеточные взаимодействия.

тиковать это смешно. Говорю вам: теперь, когда принята новая диагностическая система, эксперимент Розенхана никогда бы не удался. Его уловка просто не сработала бы. Вас никогда бы не госпитализировали, а в приемном покое вам поставили бы отложенный диагноз. — Термин «отложенный диагноз», кстати, — специальная категория, позволяющая официально не ставить диагноз при недостатке информации. — Нет, — повторяет Спицер, — эксперимент Розенхана никогда не удалось бы успешно повторить. В современных условиях — никогда.

Вот я и решаю попробовать.

Многое сейчас выглядит так же, как и тогда. Небо такой же пронзительной синевы, деревья радуют глаз яркими красками, и алые листья, похожие на раскрытые ладошки, медленно падают на еще зеленую траву лужайки. В лавках скоро появятся пластиковые тыквы, а детишки станут покупать свежие тыквы и вырезать на них страшные рожи ножами, которые еще велики для их рук. Первым делом срезается верхушка, потом вычищается внутренность со всеми семенами и перепутанными волокнами клетчатки, издающими влажный запах осени. Моя собственная дочка еще слишком мала для возни с тыквами: ей только что сравнялось два. Может быть, из-за Розенхана и всех исследований, которые после его разоблачений начались в области «этиологии и патогенеза», я часто беспокоюсь о мозге дочурки, который представляется мне розовым и сморщенным в своем жилище — черепе.

— Ты решила *что?* — переспрашивает мой муж.

— Я хочу попробовать, — отвечаю я, — в точности повторить эксперимент Розенхана и посмотреть, госпитализируют ли меня.

— Прости, пожалуйста, — говорит он, — а не кажется ли тебе, что нужно подумать и о своей семье?

— Да ничего у меня не получится, — говорю я, вспоминая слова Спицера. — Я через час уже вернусь.

— А если нет?

— Тогда ты приедешь и заберешь меня.

Муж теребит свою бороду, которая, пожалуй, стала слишком длинной. Он носит хакерскую рубашку, в которой синтетики больше, чем хлопка, с роршаховским* чернильным пятном на кармане.

— Приеду и заберу? Ты думаешь, мне поверят? Меня просто запрут в соседней палате, — говорит он почти с надеждой. Мой муж родился слишком поздно, чтобы насладиться шестидесятью годами, и это очень его огорчает. Он молча продолжает теребить бороду. В открытое окно влетает мотылек и начинает отчаянно биться о лампу. Тень, которую он отбрасывает на стену, велика, как птица. Мы следим за мотыльком и вдыхаем запах осени.

— Я тоже с тобой поеду, — наконец говорит муж.

Да нет, не поедет: кому-то же нужно присматривать за дочкой. Я начинаю готовиться: пять дней не принимаю душ. Потом звоню приятельнице, о которой известно, что ее отличает склонность к авантюрам, и спрашиваю, нельзя ли мне воспользоваться ее именем взамен собственного, которое кто-нибудь может узнать. Мой план заключается в том, чтобы назваться ею, а потом попросить ее, предъявив удостоверяющие личность документы, получить истории болезни, чтобы я точно знала, что говорилось в приемном покое. Приятельница, Люси, соглашается. Вот кого на самом деле следовало бы отправить в сумасшедший дом!

— Это так забавно, — говорит она.

Потом я долго практикуюсь перед зеркалом.

— Плюх, — говорю я и начинаю хихикать. — Я... я приехала сюда... — теперь нужно изобразить тревогу, наморщить лоб. — Я приехала сюда, потому что слышу голос, который говорит

* Тест Роршаха заключается в интерпретации дорисовывания испытуемым чернильных клякс.

«плюх». — Каждый раз, сказав это, я, стоя перед большим зеркалом в обвисшей черной бархатной шляпе, начинаю смеяться.

Если я рассмеюсь, я наверняка выдам себя. Ну, если мне все-таки удастся сдержаться, если я буду говорить о себе правду, за исключением этого единственного симптома, как делали Розенхан и компания во время своего эксперимента, что ж, может быть, меня и поместят в палату. Мой сценарий, правда, в одном существенно отличается от замысла Розенхана. Никто из участников его затеи не имел раньше дела с психиатрией; я же, напротив, обладаю солидной историей болезни, включая несколько госпитализаций, хотя сейчас и вполне здорова. Я решаю скрыть это обстоятельство и отрицать какие-либо предшествующие обращения за психиатрической помощью; такая ложь, как мне известно, является радикальным отступлением от исходного протокола эксперимента. *Плюх.*

Я на прощание целую дочку. Мужа я тоже целую на прощание. Я пять дней не принимала душ. Зубы у меня грязные. Я надела измазанные в краске черные леггинсы и футболку с надписью «Ненавижу свое поколение».

— Как я выгляжу? — спрашиваю я мужа.

— Как всегда, — отвечает он.

Я отправляюсь. Ничто не сравнится с поездкой на автомобиле осенью. Стоит выехать за город, и воздух начинает пахнуть опавшими листьями и урожаем. Посреди поля виден красный амбар, по нему пробегают тени от синих туч, перемежаясь с ярким солнечным светом. Слева от дороги кипит река, покрытая пеной после недавних дождей. Поток встает на дыбы, истерически кидаясь на плоские спины скал, перемешивая ил, тину, гальку — следы туманной древней истории.

Я выбрала лечебницу в нескольких милях от города, в которой есть психиатрическое отделение. Эта лечебница имеет отличную репутацию — учтите на будущее. Здание находится на холме, и к нему ведет извилистая дорога.

Чтобы попасть в приемный покой психиатрического отделения, нужно найти соответствующую дверь в огромном белом холле и нажать кнопку звонка. Через интерком доносится голос: «Мы можем вам помочь?», и вы отвечаете: «Да».

— Да, — говорю я.

Двери открываются — похоже, без всякого человеческого участия; за ними обнаруживаются трое полицейских с блестящими серебряными бляхами. На экране стоящего в углу телевизора кто-то стреляет в лошадь — бах! — и пуля рисует звезду на красивом лбу, черную на черной шерсти.

— Имя? — спрашивает сестра, открывая регистрационный журнал.

— Люси Шеллман, — отвечаю я.

— А как пишется Шеллман? — задает сестра вопрос.

Я не сильна в таких вещах и на подобный фонетический экзамен не рассчитывала... Что ж, придется постараться.

— Ш-е-л-м-е-н, — говорю я.

Сестра записывает, с подозрением глядя на буквы.

— Какое странное имя, — говорит она. — Это же множественное число*!

— Ну, — объясняю я, — так уж получилось на Эллис-айленде**.

Сестра поднимает на меня глаза, потом что-то — чего я не вижу — пишет в журнале. Я начинаю беспокоиться о том, не решит ли она, что у меня бред, связанный с Эллис-айлендом, так что я говорю:

— Я никогда не бывала на Эллис-айленде. Это семейная история.

* В английском написании первая фамилия включает часть «тап», а вторая — «теп»; второе слово является множественным числом первого.

** Эллис-айленд — остров близ Нью-Йорка, в 1892—1943 гг. главный центр по приему эмигрантов в США, где оформлялись их документы (в которых указывалась фамилия).

— Расовая принадлежность? — спрашивает сестра.

— Еврейка, — отвечаю я и начинаю гадать: не следовало ли сказать «протестантка»? На самом деле я еврейка, но тут меня одолевает паранойя (чего обычно не случается): я не хочу, чтобы моя национальность была использована против меня.

Чего я так боюсь? Никто не может подвергнуть меня принудительному лечению. Со времен Розенхана и отчасти в результате его исследования законы, касающиеся принудительного лечения, стали гораздо строже, и до тех пор, пока я отрицаю тягу к убийству или самоубийству, я — свободная женщина. «Ты свободная женщина, Лорин», — говорю я себе, хотя где-то на заднем плане моего сознания река истерии выносит на поверхность ил и мусор.

Я контролирую ситуацию. Я говорю это себе, хотя река все так же бурлит. Я ведь на самом деле не чувствую, что я ситуацию контролирую. В любой момент кто-нибудь может вывести меня на чистую воду. Как только я скажу «плюх», какой-нибудь начитанный психиатр тут же заявит: «Вы — мошенница. Я знаю об этом эксперименте». Остается только молить Бога, чтобы здешние психиатры не оказались начитанными. На это я и делаю ставку.

Этот приемный покой кажется мне странно знакомым. Сестра записывает мое имя, которое не мое, и несуществующий адрес; я придумала название улицы, потому что мне нравится, как это звучит: Ром-роу, 33. Ром-роу, место, где пираты выращивают зелень в своих садах. Приемный покой кажется знакомым потому, что в прошлом я не раз попадала в очень похожие, только тогда у меня были настоящие симптомы психического нарушения... все это было очень давно. Запах заставляет меня вернуться в те дни: пот, свежевывстиранное белье, пустота. Я не ощущаю триумфа, только печаль, потому что где-то рядом таится настоящее страдание, а лошадь с алой звездой на лбу падает на солому. Запах есть запах, сестра есть сестра — ничего не меняется.

Меня отводят в маленькую комнату, где к стене прислонены носилки с черными ремнями.

— Садитесь, — предлагает мне сестра, и в комнату входит мужчина, закрыв за собой дверь.

— Я мистер Грейвер, — говорит он, — старший медбрат, и я сейчас измеряю ваш пульс.

Сто ударов в минуту.

— Многовато, — говорит мистер Грейвер. — Я бы сказал — верхняя граница нормы. Конечно, кто не будет нервничать на вашем месте. Здесь ведь приемный покой психиатрического отделения — это кого угодно заставит нервничать. — Он улыбается мне мягкой доброй улыбкой. — Послушайте, не принесли ли вам стакан родниковой воды? — И прежде чем я успеваю ответить, он вскакивает, исчезает и тут же возвращается с высоким стаканом, почти элегантным, где в воде плавает бледно-желтый ломтик лимона. Этот ломтик неожиданно кажется мне таким красивым: он играет с желтизной, но никак не может обрести ее, мешает белый цвет, а цедра слишком тоненькая.

Мистер Грейвер вручает мне стакан. Этого я не ожидала — такой доброты, такой услужливости. Розенхан писал о том, что подвергся дегуманизации. Пока что если кто-нибудь и подвергся дегуманизации здесь, так это мистер Грейвер, который быстро превращается в моего собственного личного дворецкого.

Я делаю глоток.

— Большое спасибо, — говорю я.

— Может быть, я еще что-нибудь могу для вас сделать? Вы не голодны?

— О нет, нет, — отвечаю я. — Со мной на самом деле все в порядке.

— Ну, не хочу вас обидеть, но с вами явно не все в порядке, — говорит мистер Грейвер, — иначе вас здесь не было бы. Так что вас тревожит, Люси?

— Я слышу голос, — говорю я.

Он что-то записывает в карточке и понимающе кивает.

— И что голос говорит?

— Плюх.

Он больше не кивает понимающе.

— Плюх? — Это, в конце концов, не то, что обычно произносят голоса. Обычно они оставляют угрожающие сообщения о звездах, змеях, маленьких спрятанных микрофонах.

— Плюх, — повторяю я.

— Так и говорит?

— Так и говорит.

— Это началось постепенно или резко?

— Как с неба свалилось, — отвечаю я и почему-то представляю себе падающий с неба самолет, вошедший в крутое пике, вопли пассажиров... Я и в самом деле начинаю чувствовать себя немножко сумасшедшей. Как трудно отделить разыгрываемую роль от реальности — социальные психологи давно обратили внимание на этот феномен. Я тру виски.

— Когда вы начали слышать голос? — спрашивает мистер Грейвер.

— Три недели назад, — говорю я в подражание Розенхану и его сотоварищам.

Мистер Грейвер спрашивает, хорошо ли я ем и сплю, предшествовали ли появлению голоса какие-нибудь стрессы в моей жизни, были ли у меня травмы. Я отвечаю на все эти вопросы отрицательно: аппетит у меня хороший, сплю я нормально, с работой все в порядке.

— Вы уверены? — спрашивает он.

— Ну, что касается травм, — говорю я, — когда я училась в третьем классе, сосед по имени Блейер упал в свой бассейн и утонул. Я сама ничего не видела, но рассказы об этом были, пожалуй, травмирующими.

Мистер Грейвер грызет кончик ручки, глубоко задумавшись. Я вспоминаю старика Блейера, ортодоксального иудея. Он утонул в субботу, и его синяя бархатная ермолка плавала в бассейне.

— Плюх... — говорит мистер Грейвер. — Ваш сосед плюхнулся в бассейн. Вы теперь слышите «плюх». Может быть, возникло нарушение, связанное с посттравматическим стрессом. Слуховая галлюцинация может быть попыткой вашей памяти справиться с травмой.

— Ну, тогда не было ничего особенного, — говорю я. — Просто...

— Я бы сказал, — в голосе мистера Грейвера начинает звучать уверенность, — что случай с утонувшим соседом был для вас травмирующей потерей. Я приглашу психиатра, чтобы он оценил ваше состояние, но на самом деле я думаю, что мы имеем дело с посттравматическим стрессом. Органическое повреждение мозга, пожалуй, можно исключить — об этом я не стал бы беспокоиться.

Мистер Грейвер уходит: ему нужно пригласить психиатра. Теперь уже мой пульс — не 100 ударов в минуту, а по крайней мере 150: психиатр наверняка разоблачит меня или, еще хуже, окажется кем-нибудь, кого я знаю еще со школьных времен, и как я тогда объясню свою выходку?

В маленькую запертую комнату, где я сижу, входит психиатр. Он одет в ярко-голубой халат и не имеет подбородка. Он пристально смотрит на меня, и я отвожу глаза. Он садится и вздыхает.

— Значит, вы слышите «плюх», — говорит он, почесывая свой отсутствующий подбородок. — Так чем же нам вам помочь?

— Я обратилась сюда, потому что хотела бы избавиться от голоса.

— Голос раздается внутри вашей головы или снаружи?

— Снаружи.

— Он когда-нибудь говорит что-нибудь, кроме «плюх», — например, велит вам убить кого-нибудь или покончить с собой?

— Я не хочу ни убивать кого-то, ни кончать с собой.

— Какой сегодня день недели? — спрашивает психиатр.

Тут я сталкиваюсь с новой проблемой. Дело в том, что все это происходит под конец моего отпуска, так что по части дней недели у меня представления не очень четкие. Чувство времени — один из признаков, по которым психиатры судят, нормален человек или нет.

— Суббота, — отвечаю я, молясь в душе, чтобы не ошибиться. Психиатр что-то записывает.

— О'кей, — говорит он. — Значит, вы слышите этот голос, а больше никаких симптомов психического отклонения у вас нет?

— Значит, у меня посттравматический стресс? — спрашиваю я. — Так предположил мистер Грейвер...

— Мы многого не знаем насчет человеческой психики, — говорит доктор, внезапно опечалившись. Он потирает переносицу, на мгновение закрыв глаза. Когда он склоняет голову, я вижу лысину у него на макушке величиной с ермолку старика Блейера, и мне хочется сказать: «Да ладно, ничего страшного. В мире много такого, чего мы не знаем». Но я молчу, а психиатр по-прежнему выглядит растерянным. — Но ведь этот голос вас тревожит...

— Ага, вроде того.

— Я пропишу вам антипсихотическое средство, — говорит доктор, и как только это произносит, перестает быть печальным. Его голос начинает звучать уверенно и властно: появилось что-то, что в его силах сделать. Таблетка ведь не просто таблетка: она — знак препинания, она разрывает длинную невнятную строку. Остановитесь здесь. Начните отсюда. — Я собираюсь назначить вам риспердал, — говорит доктор. — Он снизит активность слуховых центров у вас в мозгу.

— Так вы думаете, что у меня психоз?

— Я считаю, что некоторые признаки психоза у вас имеются, — отвечает психиатр, но у меня возникает чувство, что теперь он и должен так говорить, раз уж назначил мне риспердал: не можете же вы выписывать антипсихотическое средство, если это не подтверждается вашим диагнозом. Мне становится со-

всршенно ясно, что решение определяется назначенным препаратом, а не наоборот. Во времена Розенхана все определяла заранее принятая психоаналитическая схема; в наши дни на смену ей пришла фармакологическая схема, таблетка. В любом случае утверждение Розенхана, что диагноз не зависит от состояния пациента, похоже, остается верным.

— Разве я выгляжу, как психопатка? — спрашиваю я.

Доктор смотрит на меня, долго, долго смотрит.

— Немного, — отвечает он наконец.

— Вы шутите! — заявляю я, поправляя шляпу.

— Вы, — говорит психиатр, — явно страдаете депрессией. Депрессия может иметь психопатические проявления, так что я выпишу вам еще и антидепрессант.

— Я страдаю депрессией? — как эхо повторяю я. Это меня беспокоит, потому что депрессия — это то, что со мной уже бывало. Кто знает, может быть, она вернулась снова, и психиатр заметил ее раньше, чем я сама? А может быть, депрессию вызвал затеянный мной эксперимент или я делаю то, что делаю, в бессознательной попытке получить помощь? Весь мир тонет в тумане.

Доктор выписывает рецепты. Весь разговор с ним занял меньше десяти минут. Я выхожу из лечебницы достаточно рано, чтобы успеть пообедать в китайском ресторанчике с настоящей Люси Шеллман, которая мне говорит:

— Тебе следовало сказать «шлеп» или «бум-бум», а не «плюх». Так было бы еще смешнее.

Потом я покупаю прописанные мне лекарства в работающей круглосуточно аптеке и, решив поэкспериментировать, принимаю таблетку рisperдала — всего одну маленькую таблеточку. В результате я впадаю в такой глубокий беспробудный сон, что ни единый звук не может проникнуть в мое сознание, и я, лишившись веса, плаваю в каком-то незнакомом мире и вижу смутные тени — деревья, кроликов, ангелов, корабли, — но как ни присматриваюсь, могу только гадать, что это такое.

* * *

Довольно забавно входить таким образом в приемные покои и разыгрывать мой маленький спектакль; в следующие восемь дней я проделываю это еще восемь раз — по числу госпитализаций в эксперименте Розенхана. Меня, конечно, каждый раз отказываются госпитализировать: я отрицаю, что представляю для кого-либо угрозу, и заверяю, что способна выполнять свою работу и присматривать за ребенком. Как ни странно, в большинстве случаев мне ставят диагноз «депрессия» с элементами психоза, хотя я совершенно уверена — после тщательной самооценки и выяснения единодушного мнения друзей и брата-врача, — что депрессией я не страдаю. Тут нужно сделать маленькое, но важное замечание: депрессия с элементами психоза не является легким заболеванием; в DSM она числится в разделе тяжелых заболеваний, сопровождаемых выраженными моторными и интеллектуальными расстройствами.

— Нет, ты вовсе не выглядишь настолько больной, ты вообще кажешься здоровой, — в один голос говорят друзья и мой брат. Тем не менее в приемных покоях во мне видят именно это психическое отклонение, как я ни отрицаю всякие симптомы, кроме «плюх», и прописывают лекарства. В целом я получаю рецепты на двадцать пять антипсихотических препаратов и на шестьдесят антидепрессантов. Разговор с психиатром ни разу не продолжается больше двенадцати с половиной минут, хотя в большинстве случаев мне приходится ждать в приемной — в среднем по два с половиной часа. Никто ни разу не спрашивает меня, помимо формальных вопросов о религиозной принадлежности, о том, из какой семьи я происхожу; никто не интересуется тем, мужской или женский голос я слышу; никто не проводит полного психологического обследования (которое включало бы подробные и легко заполняемые опросники, выявляющие нарушения мышления, которые почти всегда сопровождают психоз). Однако везде считают мой пульс.

* * *

Я звоню Роберту Спицеру в Колумбийский институт биометрии.

— Что, по вашему мнению, случилось бы, если бы исследователь захотел повторить эксперимент Розенхана в современных условиях? — спрашиваю я его.

— Такой исследователь не был бы госпитализирован, — отвечает Спицер.

— Но был бы ему поставлен диагноз? Что в таком случае предприняли бы врачи?

— Если бы гипотетический пациент говорил только то же самое, что и Розенхан и его сообщники?

— Да, — отвечаю я.

— «Плюх» как единственный симптом? — продолжает допытываться Спицер.

— Да, — отвечаю я.

— Тогда ему поставили бы «отсроченный диагноз». Я предсказываю, что именно так и случится, потому что «плюх» как единственный симптом не дает достаточной информации.

— Прекрасно, — говорю я, — тогда позвольте вам сказать, что я попробовала провести такой эксперимент.

— Вы? — переспрашивает он и на некоторое время умолкает. — Вы меня разыгрываете! — Интересно, слышит ли он сам, что в голосе его появились оборонительные нотки? — Так что же произошло?

Я рассказываю ему о своих посещениях лечебниц. Я говорю ему, что мне не поставили «отсроченный диагноз», но почти каждый раз обнаруживали у меня депрессию с элементами психоза и выписали кучу таблеток.

— Что за таблетки? — спрашивает он.

— Антидепрессанты и антипсихотические препараты.

— Какие именно антипсихотические средства?

— Риспердал, — отвечаю я.

— Ну... — говорит Спицер, и я почти вижу, как он постукивает ручкой по столу, — это очень легкий препарат, знаете ли.

— Легкий, — соглашаюсь я. — Фармакологический аналог обезжиренного молока?

— Вы предубеждены, — говорит мне Спицер, — как в свое время Розенхан. Вы начали эксперимент, уже имея предвзятое мнение, и нашли то, что искали.

— Я обратилась с единственной жалобой — на «плюх», и на этом одном слове была выстроена целая схема и назначено лечение, несмотря на то что никто на самом деле не знает, как эти таблетки действуют и достаточно ли они безопасны.

Спицер, в своей биометрической лаборатории в Колумбийском университете, молчит. Мне становится интересно, что биометрическая лаборатория собой представляет. До сих пор я не задумывалась, что может значить такое название и что там делает психиатр. Биометрия, измерение жизни. Я представляю себе Спицера в окружении мензурок и пробирок, каждая из которых содержит разноцветные субстанции — синюю депрессию, зеленую манию, самое обычное счастье — сиреневый туман.

Спицер все еще молчит. Мне хочется спросить его: «Чем именно вы занимаетесь, какова ваша повседневная работа?», но тут он откашливается и говорит:

— Я разочарован. — Мне кажется, что я слышу в его голосе поражение, вижу, как понижают его плечи, как он кладет ручку. — Думаю, — медленно продолжает Спицер, и теперь в его голосе звучит горькая честность, — думаю, врачи просто не любят говорить «Я не знаю».

— Вы правы, — отвечаю я. Рвение выписывать лекарства в наши дни определяет диагноз, так же как во времена Розенхана его определяло рвение обнаруживать патологию, но и то и другое едва ли можно считать чем-то, кроме моды, преходящего увлечения.

Я думаю вот о чем: в 1970-е годы американские врачи ставили своим пациентам диагноз «шизофрения» во много раз чаще, чем английские психиатры. По эту сторону океана ши-

зофрения была в моде. Теперь же, в двадцать первом веке, отмечается драматический рост таких диагнозов, как депрессия, посттравматический стресс и гиперактивность с дефицитом внимания. Получается, таким образом, что не только частота определенных диагнозов увеличивается или уменьшается в зависимости от восприятия заболеваемости обществом, но и врачи, присваивающие ярлыки, делают это без достаточной оглядки на критерии DSM, те самые критерии, которые должны были бы предохранять от необоснованных догадок, те самые критерии, на которых должен основываться план лечения, прогноз, оценка прошлого пациента и его возможного будущего.

Так вот какие различия по сравнению с экспериментом Розенхана я обнаружила. Меня не госпитализировали — это очень значительная перемена; никому даже в голову это не пришло. Мне поставили неправильный диагноз, но не заперли в сумасшедшем доме. И вот еще одно различие: все врачи без исключения были со мной доброжелательны. Розенхан и его сподвижники чувствовали себя униженными поставленным им диагнозом; со мной же, какова бы ни была причина этого, обходились с явной добротой. Один из психиатров погладил меня по руке. Другой сказал: «Послушайте, я знаю, как вам страшно — как же иначе, раз вы слышите голос, но я в самом деле думаю, что риспердал вам сразу поможет». В его словах мне слышится собственный голос, фразы, которые я как психолог часто говорю своим пациентам: «У вас то-то и то-то. Лечение поможет вам в том-то и том-то». Я говорю это не для того, чтобы продемонстрировать власть, но чтобы сделать хоть что-то, принести хоть какое-то утешение. Если мы способны только нащупать место, где скрывается тайна — синяя депрессия, туман счастья, — и тем наметить границы континуума, если мы способны ухватить их лишь на тот краткий миг, который требуется нейрону для единственной пульсации, то, может быть, нам все-таки удастся воздействовать на эмоции пациента, придать им форму, несущую об-

легчение. Я верю в то, что именно надежда на это, а вовсе не ограниченность двигала психиатрами, с которыми я встречалась. Один из них, вручая мне рецепты, сказал: «Не исчезайте, Люси. Мы хотим увидеть вас через два дня и узнать, как у вас дела. И помните: мы тут двадцать четыре часа в сутки, если вам что-нибудь понадобится. Мы окажем вам любую помощь — я говорю именно о *любой* помощи».

Я тогда была так тронута, почувствовала себя такой виноватой...

— Большое вам спасибо, — сказала я. — Я и выразить не могу, как много для меня значит ваша доброта.

— Выздоровливайте, — сказал он мне на прощание, исчезая за вращающимися дверями, а я вышла в ночь, под звезды, которые смотрели на меня осуждающе. Они были похожи на монетки, рассыпанные по черной жести, а окна приемного покоя сияли ярким светом. Потом раздался пронзительный крик — человеческая боль имеет так много форм, и человеку хочется избавиться от одиночества, хочется, чтобы кто-то был рядом и принес стакан воды с ломтиком лимона... Такова человеческая сторона психиатрии, и нам следует отдать ей должное.

Прошло три недели после моего последнего визита в лечебницу, и тут непонятно откуда у моей дочурки возникло увлечение полосками лейкопластыря. У ее кукол появились многочисленные порезы, невидимые для человеческого глаза. Приходя домой после работы, я обнаруживаю, что полосками лейкопластыря заклеены доски пола, дверцы кухонных шкафчиков, даже стены. Наш дом старый, должно быть, у него много ран. Ночью он скрипит. Моя дочурка ночами плачет, и иногда кажется, что плачет без причины; только я подозреваю, что есть какие-то «плюхи», которых мы, взрослые, не улавливаем. Малышка это чувствует, падает на пол и кричит: «Хочу в зоопарк!» Я утешаю ее при помощи полосок лейкопластыря: одна тебе, одна — мне, пока мы обе не оказываемся сплошь ими обкле-

ны. Дочке очень нравится смотреть, как я вынимаю их из коробки, зубами разрываю упаковку и тут же снимаю пластиковую пленку, обнажая клейкий слой и полоску бинта в середине. Я прикладываю пластырь к ее коже, и это помогает моей дочурке, хоть мы и не знаем, где она поранена.

Розенхан использовал результаты своего эксперимента для того, чтобы дискредитировать психиатрию как медицинскую специальность. Однако разве в разнообразных больницах нашей страны, онкологических центрах, детских клиниках не встречаются случаи многих, многих заболеваний, этиология, патогенез и само название которых туманны? Что у этой женщины — фибромиалгия или заражение вирусом Эпштейна-Барра? А у того больного эпилепсия или опухоль в мозгу, слишком маленькая, чтобы ее можно было обнаружить? Розенхан ведь и сам оказался жертвой загадочной болезни, которой разные врачи давали разные названия. Нам известно, что он не мог говорить и не мог дышать без аппарата искусственного дыхания. Чего мы не знаем — так это почему и как это случилось (ведь у тела миллион способов выйти из-под контроля), как его вылечить или хотя бы немного помочь.

Мне очень хотелось бы помочь Розенхану, который, когда я пишу эти строки, все еще находится в госпитале на Западном побережье, парализованный, лишившийся способности говорить. Его приятельница Флоренс Келлер говорит мне:

— Он пережил столько трагедий. Три года назад его жена Молли умерла от рака легких. Потом два года назад его дочь Нина погибла в автомобильной аварии в Англии. Для него этого оказалось слишком много.

Вот мне и хотелось бы сказать Розенхану, что я повторила его эксперимент и получила от этого массу удовольствия: мне кажется, что ему было бы приятно об этом услышать. Сейчас ему семьдесят девять и он скоро совершит свой величайший эксперимент — шаг в другой мир, эксперимент, результаты которого никогда, никогда не становятся известны.

Мне хотелось бы посетить Розенхана.

— Не думаю, что сейчас подходящее время, — говорит его сын, Джек. — Он не может говорить, и он очень слаб.

Но ведь разговор с Розенханом мне и не нужен. Мне просто хотелось бы увидеть его. Я представляю себе, как сестра умывает его, а я раскладываю то, что принесла: возможно, это эссе, мой экземпляр журнала «Сайнс» с его статьей, где я подчеркнула многие фразы — чтобы показать ему, как наши труды сохраняются в мире, устремленном в будущее. Я не знакома с Розенханом, но почему-то испытываю к нему теплое чувство. Я всегда была равнодушна к шутникам, авантюристам, к тем, кто страдает от боли. Побывав пациенткой психиатрической лечебницы, я ценю всех, кто пытается разобраться в сложностях того странного мира. Поэтому я принесла бы Розенхану подарки: это эссе, яблоко, часы с таким большим циферблатом, что на нем видно, как бежит время, а еще, от моей дочери, коробку с полосками лейкопластыря.

4

Что делать в маловероятном случае посадки на воду

Руководство Дарли и Латана — пятиступенчатый подход

В 1964 году в Нью-Йорке случилось странное преступление, побудившее двух молодых психологов заняться изучением поведения свидетелей. Хотя Джон Дарли и Бибб Латан не были евреями и никогда прямо или косвенно не связывали свою работу с нацистской Германией, результаты их исследования поведения людей, которые могли бы прийти на помощь, оказались тесно связаны с главной проблемой западного общества в XX веке: пониманием Холокоста. Дарли и Латан провели серию экспериментов для изучения условий, при которых люди игнорируют крики других людей о помощи или, наоборот, проявляют сочувствие. Внешне эти эксперименты имели сходство с экспериментом Милграма, но обладали глубокими и значимыми отличиями. Милграм изучал повиновение представителю власти; Дарли и Латан исследовали противоположность: что случится, если в группе людей, попавших в чрезвычайную ситуацию,

не окажется авторитетного лица, способного взять на себя руководство.

1. Вы, человек, потенциально способный оказать помощь, должны заметить происходящее событие

Вчера я заказала противогазы — один для себя, другой для дочки. Мой муж думает, что это глупость, и отказывается участвовать в моей затее. Стоит ранняя осень — 26 сентября 2001 года, башни-близнецы уже разрушены, но все еще тлеют. Недавно я получила по электронной почте такое сообщение:

Внимание! Бактериологическая война! Не вскрывайте голубой конверт, адресованный вам фондом Клингермана, если получите его по почте. Эти «подарочки» несут в себе споры вируса Клингермана, которые уже убили двадцать американцев...

Может быть, это и розыгрыш, но все же... В гораздо более серьезном сообщении конгресса я недавно прочла о том, как легко было бы распространить сибирскую язву: поместить споры в аэрозольный контейнер, нажать пластиковую кнопку и смотреть, как в воздухе тает белый туман...

Мой муж говорит:

— Нужно сосредоточиться на действительно важных вещах: наступлении на гражданские свободы и сосредоточении войск в Персидском заливе.

Но что такое действительно важные вещи? Ситуация в стране неожиданно стала такой двусмысленной, в ней трудно разобраться. Вот я и заказала противогазы в магазине, торгующем военным оборудованием, в Вирджинии. Их доставили быстро — за сутки, — и теперь я распаковываю коробку. Меня

удивляет, что под грубым картоном противогазы оказываются любовно обернуты, как это делают с некоторыми сортами мыла, в бледно-зеленую папиросную бумагу, от которой слабо пахнет лавандой. Я снимаю ее, один мягкий слой за другим, пока не добираюсь до содержимого — черной резиновой маски, канистр с трубками, ремней с черными пряжками, щитка, защищающего глаза. Вот они... Может быть, я проявила чрезмерную реакцию. Джон Дарли и Бибб Латан, психологи, изучавшие человеческую склонность игнорировать чрезвычайные происшествия, наверное, с этим не согласились бы.

— На основании работ Дарли и Латана, — говорит психиатр Сьюзен Малер, — мы теперь должны знать, что лучший способ реагировать на возможный кризис — это проявить излишнюю осторожность.

Я беру маску и примеряю ее. Она охватывает мое лицо с громким сосущим звуком. На противогаз для моей дочки невозможно смотреть: это такое маленькое сконцентрированное олицетворение ужаса... Я беру его в руки, подзываю дочку и пытаюсь его на нее надеть, но она пьтится и плачет, конечно. Помощь так трудно оказать!

2. Вы должны интерпретировать ситуацию как требующую от вас помощи

В 1964 год Джон Дарли и Бибб Латан не особенно интересовались изучением стилей кризисного управления. Они были молодыми психологами, преподавателями, стремящимися к успешной академической карьере. Потом кое-что случилось. Я привожу подробности не из-за их сенсационности, а потому, что они ярко показывают, насколько странными были реакции тридцати восьми свидетелей, которые все видели, но не оказали помощи.

Это случилось тринадцатого марта 1964 года, в пятницу тринадцатого. В Квинсе, Нью-Йорк, в предзакатные часы было

холодно и сыро, ветер нес запах снегопада. Кэтрин Дженовезе, которую все обычно называли Китти, возвращалась домой после ночной работы в баре, где она была управляющей. Это была хрупкая двадцативосьмилетняя женщина с пышными черными волосами и тонким лицом эльфа. Она поставила свою машину на стоянке рядом с домом. Жила в своей квартире она одна.

Когда Кэтрин вышла из машины, было три часа утра. Сделав всего несколько шагов в сторону своего дома, она заметила пригнувшегося подозрительного человека, поэтому быстро развернулась и двинулась в сторону будки, откуда можно было вызвать полицию, на углу.

Кэтрин Дженовезе до будки так и не дошла. Человек, впоследствии идентифицированный как Уинстон Мосли, вонзил нож ей в спину, а потом, когда она обернулась к нему, еще и в живот. Хлынула кровь. Кэтрин вскрикнула. Она кричала: «О Боже! Меня ударили ножом! Помогите мне! Пожалуйста, помогите!»

В квартирах тесно стоящих окрестных домов зажегся свет. Мосли заметил это, но, как он признал впоследствии, «подумал, что никто не станет спускаться». Вместо того чтобы спуститься, кто-то крикнул из окна: «Оставь девчонку в покое!» Мосли отбежал, а Кэтрин, которой было нанесено несколько ран, отползла к двери книжной лавки и упала там.

Огни в квартирах погасли. На улицу опустилась тишина. Мосли, двинувшийся было к своей машине, оценил тишину и темноту и решил вернуться и закончить начатое. Сначала, впрочем, он открыл дверцу своей машины и сменил вязаную шапочку на шляпу с жесткими полями. Потом он медленно прошел по улице, нашел свернувшуюся в комочек окровавленную женщину и снова начал наносить удары ножом, целясь в шею и в гениталии. Кэтрин снова закричала. Она кричала и кричала. Прошло несколько минут, и в окнах опять зажглись огни — только представьте себе эти желтые огни, которые видели и

Кэтрин, и Мосли, — такие близкие и такие далекие. Мосли снова отбежал, а Кэтрин каким-то чудом удалось добраться до подъезда своего дома, где через несколько минут и нашел ее Мосли, явившийся, чтобы закончить дело. Кэтрин звала на помощь, а потом кричать перестала и только стонала. Мосли задрал ее юбку и разрезал белье, обнаружив при этом, как он сказал на суде, что «женщина менструировала». Потом, не интересуясь, жива она или умерла, вытащил пенис, но эрекции не было; тогда он просто улегся на тело своей жертвы, и тут у него произошел оргазм.

Преступление заняло тридцать пять минут, с 3.15 до 3.50. Мосли напал на Кэтрин трижды, и все это время она звала на помощь. Жители окружающих домов, те, что включали свет, могли и слышать, и видеть происходящее. Они не предприняли ничего. Тридцать восемь свидетелей следили из своих окон, как женщине наносились удары ножом. Только когда все было кончено, один из них позвонил в полицию, но к этому времени Кэтрин была мертва, и карета «скорой помощи» увезла ее труп. Было четыре часа утра, и свидетели отправились спать.

Сначала об убийстве писали, как о любом другом убийстве работающей женщины в Квинсе. Сообщение заняло четыре строчки в криминальном разделе «Нью-Йорк тайме». Вскоре, однако, редактор этого раздела А. М. Розенталь, который впоследствии написал книгу «Тридцать восемь свидетелей: дело Китти Дженовезе», узнал, что существовала большая группа людей, наблюдавших за убийством и абсолютно ничего не предпринявших, чтобы помочь жертве. Тридцать восемь человек, тридцать восемь нормальных мужчин и женщин, писал Розенталь, стояли у окон; они «слышали, как она в последние полчаса своей жизни звала на помощь, и не сделали ничего, абсолютно ничего, чтобы оказать ей помощь или хотя бы поднять тревогу».

Когда «Тайме» начала писать не об убийстве, а напечатала серию статей о странном поведении видевших все людей, на-

ция пришла в состояние морального кипения. В редакцию хлынули письма читателей. «Мне кажется, что долг газеты — узнать имена этих тридцати восьми и опубликовать список, — писал один из читателей. — Эти люди должны подвергнуться общественному осуждению, раз уж нет возможности привлечь их к ответственности за бездействие». Другая женщина, профессорская жена, писала: «Значение их молчания — и скрывающихся за ним трусости и безразличия — чрезвычайно. Если законы штата Нью-Йорк не предусматривают наказания за такое поведение, то, на наш взгляд, газета должна оказать давление на законодателей, чтобы законы были усовершенствованы. И поскольку эти люди не считают нужным признавать, что несут моральную ответственность, мы считали бы уместным, в качестве выражения порицания, опубликовать, желательно на первой странице, имена и адреса этих тридцати восьми свидетелей».

Джон Дарли из Нью-Йоркского университета и Бибб Латан из Колумбийского университета, как и многие другие жители Нью-Йорка, читали эти письма. Они, как и все, гадали, почему никто не пришел Кэтрин на помощь. Была ли это апатия или какие-то другие психологические механизмы? Дарли вспоминает общую озабоченность этой, казалось бы, преходящей новостью. Со всех сторон раздавались высказывания экспертов, выдвигавших различные гипотезы для объяснения того, почему свидетели вели себя так, как вели. Рене Клер Фокс из социологического отдела колледжа Барнарда утверждала, что поведение этих людей является следствием «аффекта отрицания»: другими словами, они были настолько потрясены, что это вызвало неспособность действовать и оцепенение. Ральф С. Бэнэй предположил, что винить следует телевидение: американцы, по его мнению, настолько привыкли к бесконечному потоку насилия на экране, что больше не могут отличить реальную жизнь от вымышленной. Тот же доктор Бэнэй предложил и пресловутое психоаналитическое объяснение того типа,

который десятилетием позже развенчал своим экспериментом Розенхан. По словам Бэнэя, «они [свидетели] оглохли, были парализованы и загипнотизированы возбуждением. Зрелые люди, с хорошо сбалансированными личностями вели бы себя иначе». Карл Меннингер писал: «Общественная апатия сама по себе — проявление агрессивности».

Дарли и Латан не удовлетворились этими объяснениями, отчасти потому, что, как и Милграм, были экспериментаторами и социальными психологами, которые меньше верили во влияние личности, чем во влияние ситуации, отчасти потому, что объяснения противоречили интуитивному здравому смыслу. Как может обычный человек стоять и смотреть, когда молодую женщину насилуют и убивают, да еще если преступление тянется на протяжении получаса? Было бы так просто обратиться за помощью — просто поднять трубку и позвонить в полицию. Угрозы жизни или здоровью свидетелей не существовало. Никому не грозили неприятные юридические последствия: свидетели не оказались бы ни во что вовлечены. Некоторые из свидетелей наверняка имели детей, некоторые оказывали помощь другим в силу служебных обязанностей, так что этим людям сочувствие не могло быть совсем чуждо. Той ночью, когда была убита Китти Дженовезе, когда весна была готова потеснить мягкую зиму и почки уже набухли, действовал какой-то таинственный фактор.

3. Вы должны принять на себя личную ответственность

Одни эксперименты начинаются с гипотезы, другие — всего лишь с вопроса. У Милграма, например, не было гипотезы о том, как будут реагировать его испытуемые: он просто хотел посмотреть, что получится. То же самое можно сказать о Розенхане, который знал, что какое-то событие произойдет, но не знал

какое. Дарли и Латан в отличие от них исходили из обстоятельств преступления, откликов общественности и чувства, что что-то тут не сходится. Они могли думать о других подобных происшествиях: например, если в здании, где вы находитесь, звучит пожарная сирена, но на нее никто не обращает внимания, вы тоже можете решить, будто все в порядке; или если на улице падает человек, но никто не пытается ему помочь, вы тоже можете пройти мимо. Для двух психологов эти бытовые случайности могли содержать ключ к объяснению того, что на самом деле той весенней ночью происходило за окнами домов.

Поэтому Дарли и Латан стали планировать эксперимент. По очевидным причинам воспроизвести убийство они не могли, так что вместо него они инсценировали припадок. Они привлекли наивных студентов Нью-Йоркского университета к участию в исследовании, которое испытуемые считали изучением их адаптации к студенческой жизни в большом городе. Каждый студент сидел в отдельной комнате и в течение двух минут описывал в микрофон свои трудности. В других отдельных, но имевших звукозаписывающую аппаратуру комнатах будто бы находились другие студенты, а на самом деле через наушники передавались заранее записанные на пленку сообщения. Наивный испытуемый об этом не знал и верил, что там находятся реальные люди. Инструкция носила весьма специфический характер. Испытуемый должен был дожидаться очереди перечислить свои студенческие трудности, пока заранее записанные голоса описывали свои, и когда его очередь подходила, говорить в течение двух минут. Когда испытуемый не говорил, микрофон выключался, и он или она должны были слушать других, как при групповой психотерапии. Всего в изначальном эксперименте участвовали пятьдесят девять девушек и тринадцать юношей.

Первой пускалась запись заранее записанного голоса студента, предположительно больного эпилепсией. Он признавался «группе», что страдает припадками. Говорил он взволнован-

но и запинаясь и отмечал, что особенно тяжелые припадки случаются, когда он готовится к экзаменам. Голос «эпилептика» сообщал о том, что жить в Нью-Йорке трудно и трудно учиться в Нью-Йоркском университете. Затем этот голос стихал и раздавался другой. Наивный испытуемый, понятно, не знал, что это звучит магнитофонная запись, и думал, будто слышит живого участника исследования. Новый голос был энергичным и веселым. Потом подходила очередь самого испытуемого, потом раздавались другие бесплотные голоса и, наконец, случалось следующее: у «студента-эпилептика» начинался припадок. Наивный испытуемый, конечно, не мог этого видеть, поскольку находился в отдельной комнате; не мог он видеть и реакции своих предполагаемых соседей, хотя на самом деле единственным другим участником был магнитофон в смежной комнате. Наступала очередь «эпилептика» участвовать в «дискуссии». Актер, изображавший его, начинал говорить нормальным голосом, который постепенно становился все более неразборчивым, громким, настойчивым, пока, наконец, не достигал крещендо. «Я... э... а... мне кажется... я... я... мне нужна... а... а... не мог бы кто-нибудь... э... э... э... оказать мне... оказать мне помощь... э... э... мне действительно плохо... э... э... сейчас и я... э... э... если кто-нибудь поможет... это было бы здорово... потому что у меня... э... э... при... припадок... э... э... м-мне нужна... по-по-помощь... кто-нибудь... [слышно, как «эпилептик» давится и задыхается] я-я-я умру... помогите... припадок...» Раздавался хрип, и наступала тишина.

Теперь единственный живой участник, который, конечно, думал, что он один из нескольких других живых испытуемых, мог бы в любой момент выйти из своей комнаты и обратиться к сидящему в холле экспериментатору за помощью. Перед тем как предоставить «группе» возможность обсуждения трудностей студенческой жизни, экспериментатор ради соблюдения секретности сообщал испытуемому, что ознакомится с высказы-

ваниями участников позднее, по магнитофонным записям. Впрочем, при этом он просил испытуемого следовать протоколу и говорить в свою очередь.

Дарли и Латан постарались создать экспериментальные условия, как можно точнее соответствующие обстоятельствам убийства Кэтрин Дженовезе. Тогда свидетели видели других свидетелей, но не могли общаться с ними, разделенные оконными стеклами. Во время эксперимента испытуемый мог слышать других «участников», но не мог увидеть их или связаться с ними, потому что находился в отдельной комнате и мог пользоваться только микрофоном, который включался лишь в тот момент, когда подходила очередь испытуемого говорить. Таким образом, когда случался «припадок», испытуемый знал, что другие могут это слышать, но также знал, что сам не может с ними ничего обсудить, потому что его микрофон выключен.

Поддельный припадок в эксперименте Дарли и Латана длился полных шесть минут, также по аналогии с убийством Дженовезе, которое представляло собой не единственный удар, а несколько. Студенты имели возможность подумать, а потом действовать. Результаты показали, что очень немногие (если быть точными, 31%) начинали действовать: это очень сходно с 32—35% испытуемых Милграма, проявившими неповиновение.

Однако потом ситуация усложнялась.

Дарли и Латан меняли численность «групп». Если испытуемый думал, что, кроме него, имеются еще трое или больше участников, он обычно не искал помощи жертве припадка. С другой стороны, 85% испытуемых, которые считали, что участвуют в дискуссии только со студентом-эпилептиком и других свидетелей нет, обращались за помощью и делали это в первые три минуты припадка. Дарли и Латан также обнаружили, что — при любом размере группы — если испытуемые не сообщали о чрезвычайной ситуации в первые три минуты, они скорее всего не

стали бы сообщать о ней вообще. Таким образом, если вы оказались в самолете, захваченном террористами, и ничего не предприняли в течение 180 секунд, вы скорее всего и не станете ничего делать. В чрезвычайных обстоятельствах время никогда не оказывается на вашей стороне. Чем дольше вы ждете, тем более парализованным оказываетесь. Помните об этом и будьте готовы действовать.

Более интересной, однако, чем связь между временем и поведением, направленным на оказание помощи, оказалась связь между размером группы и таким поведением. Можно было бы ожидать, что чем больше группа, тем решительнее и смелее вы будете действовать и тем выше вероятность того, что вы постараетесь предотвратить опасность. В конце концов, разве не чувствуем мы себя наиболее робкими и уязвимыми в одиночестве, в темноте, в безлюдном переулке, где даже нет фонарей? Разве мы, подобно животным, не становимся боязливыми и неуверенными в себе, в одиночку скитаясь по равнинам плейстоцена и ожидая отовсюду нападения хищников, когда защищающая нас стая распалась? Полученные Дарли и Латаном данные подвергают сомнению эволюционную ценность привычки искать безопасность в многолюдий. В толпе есть что-то, что тормозит поведение, направленное на оказание помощи. Если, например, вам не повезет и вы упадете с колеса обозрения на ярмарке, на вас могут просто не обратить внимания, как не обратили внимания на Икара, упавшего с неба на глазах жителей целого города. С другой стороны, если вы окажетесь в пустыне с единственным спутником и будет начинаться песчаная буря, вы сможете рассчитывать на его помощь в восьмидесяти пяти процентах случаев — по крайней мере в соответствии с данными Дарли и Латана.

Когда испытуемые впервые узнавали о поддельном припадке, они пугались. Ни один из студентов не обнаружил той апатии, о которой так много говорили применительно к свидетелям убийства Дженовезе. Экспериментатор благодаря микрофону слышал.

как испытуемые восклицали: «Боже мой, у него припадок!», «О Боже, что мне делать?» или просто охали. Когда наконец экспериментатор входил в комнату, находившийся в ней студент дрожал и был покрыт потом, хотя после шести минут припадка так ничего и не предпринял. «С ним все в порядке, ему оказали помощь?» — спрашивали явно взволнованные испытуемые. Мы не знаем, что было на самом деле, но свидетели убийства Дженовезе тоже, должно быть, волновались и скорее мучились страхом и нерешительностью, чем вязкой городской ленью, в которой их подозревали.

Когда полиция спрашивала свидетелей убийства Дженовезе, почему они не пришли на помощь жертве, те не могли найти слов. «Я не хотел оказаться замешанным», — отвечали некоторые, но никто не смог связно рассказать о своем внутреннем монологе в те тридцать пять минут кошмара. Испытуемые Дарли и Латана тоже не имели представления о том, почему ничего не предприняли, — а ведь это были студенты университета с развитыми вербальными навыками.

Дарли и Латан предположили, что испытуемые вовсе не испытывали апатии; они «не решили, как следует реагировать. Скорее они находились в состоянии нерешительности и внутреннего конфликта: вмешаться или нет. Эмоциональное поведение ничего не предпринявших испытуемых было свидетельством продолжающегося конфликта, который другие испытуемые разрешили, начав действовать».

Поскольку выраженность отклика с таким постоянством оказывалась связана с размером группы, Дарли и Латан выявили то, чего до них никто не обнаруживал: феномен, который они назвали диффузией ответственности. Чем больше оказывается свидетелей события, тем меньшую ответственность чувствует каждый отдельный человек; так оно и есть, поскольку ответственность поровну распределяется в толпе. Диффузия ответственности еще усугубляется социальным этикетом, кото-

рый настолько силен, что даже определяет поведение в ситуациях жизни или смерти: было бы ужасно, в конце концов, оказаться единственным, кто поднимет шум, да еще, может быть, из-за ерунды. Кто может сказать, действительно ли имеет место чрезвычайная ситуация или тревога ложная? «Мы думали, что это ссорятся любовники», — сказал один из свидетелей убийства Дженовезе. «Мне не было точно известно, что происходит», — говорили некоторые испытуемые Дарли и Латана. Я могу их понять, да и вы, наверное, тоже. На улице упал оборванец. Что с ним: сердечный приступ или он просто споткнулся? Может быть, это пьяный бомж, который еще и залезет к вам в карман, если вы к нему наклонитесь. А если он не хочет вашей помощи, вашей искренней и сердечной помощи, и вас же еще и обругает? Вы будете опозорены на полной народа улице, на городской площади: ваши истинные мотивы, самодовольство и высокомерие, станут всем ясны. Мы сомневаемся в себе. Ох, как же мы сомневаемся в себе! Психологи-феминисты вроде Кэрл Гиллиган много писали о том, что в нашей культуре девочки лишаются «голоса», собственного мнения, как только поворачивают за предательский угол подросткового возраста, но эксперименты вроде проведенного Дарли и Латаном показывают, что эта потеря уверенности в себе — фальшивка. Мы ее никогда и не имели. Мы — животные, несущие на себе проклятие коры головного мозга, так сильно выросшей над нашим змеиным мозгом, что инстинкт и его следствие — здравый смысл — приходят в замешательство.

4. Вы должны решить, как действовать

Этим история не заканчивается; дальше все становится еще более странным. Мы вряд ли станем помогать другим, как обнаружили Дарли и Латан, скорее из-за присутствия других свидетелей, чем из-за врожденной апатии. Что случится, одна-

ко, если этим «другим», нуждающимся в помощи, окажемся мы сами? Что произойдет, если, будучи окружены людьми, мы почувствуем, что, возможно, находимся в опасности? Станем ли мы действовать хотя бы ради собственной безопасности?

Главное слово тут «возможно». При явной опасности, например при пожаре, змеинный мозг распрямляет свои кольца и, шипя, отдает распоряжения. Но обстоятельства жизни и большая часть чрезвычайных ситуаций имеют место в сумеречной зоне, где интерпретация затруднена. Вы чувствуете тяжесть в груди: что это? В доме пахнет газом или это просто запах свежесваренного чая? Работа Дарли и Латана показывает, что даже нечто столь предположительно явное, как кризис, на самом деле всего лишь малопонятное сообщение: чрезвычайная ситуация — это не факт, а конструкция, возникающая в нашем сознании, а поэтому мы можем ошибаться. Наши истории, пишет психиатр Роберт Коулс в своей книге «Зов историй: обучение и моральное воображение», придают значение нашим жизням. Печальная история об историях заключается в том, что они указывают нам совершенно неправильное направление.

Второй эксперимент, проведенный Дарли и Латаном, происходил в комнате, имеющей вентиляционное отверстие. Психологи привлекли двоих студентов в качестве актеров. Третьим участником был ни о чем не подозревающий испытуемый. Все трое должны были сидеть в комнате и заполнять опросники, касающиеся студенческой жизни. Через несколько минут после начала эксперимента исследователи, скорчившиеся в вентиляционной трубе, начинали подавать в комнату безвредный, но вполне убедительный дым. Представьте это себе. Сначала дым вползает медленно, но не настолько медленно, чтобы его немедленно не заметил наивный испытуемый. Двое остальных участников получили инструкцию продолжать заполнять опросники, не проявляя ни малейшего страха. Так они и делали.

Дым шел все гуще, фигуры и лица уже трудно было разглядеть. Он раздражал легкие, и один из участников начинал кашлять. Каждый раз испытуемый проявлял тревогу, видя, как дым заполняет помещение, потом оглядывался на своих спокойных соседей и в растерянности снова принимался заполнять опросник. Некоторые подходили к вентиляционному отверстию и осматривали его, потом смотрели на других, которые не проявляли никакого беспокойства, и опять принимались за опросник. Как странно! Некоторые спрашивали, нет ли в появлении дыма чего-то необычного, но в ответ получали только пожатие плечами. На протяжении всего эксперимента только один испытуемый сообщил о появлении дыма экспериментатору, сидевшему в холле, в первые четыре минуты, трое — за все время, пока длился эксперимент, а остальные не сообщили вообще. Они решали, основываясь на социальных ориентирах, полученных от соседей, и игнорируя фактические обстоятельства, что чрезвычайная ситуация — безвредная поломка системы кондиционирования; под влиянием этой истории они продолжали работать, пока у них на волосах и лице не образовался белый налет и экспериментатор не являлся, чтобы положить всему этому конец.

Ну не забавно ли это! Эксперименты Дарли и Латана, пожалуй, больше, чем что-нибудь другое, показывают, какая чистая глупость обитает в глубине человеческого сердца: она так противоположна здравому смыслу, что мы скорее рискнем жизнью, чем позволим себе выступить из общего ряда; социальный этикет мы ценим выше выживания. Это показывает Эмили Пост* в совершенно новом свете. Манеры не легкомысленны: они сильнее вожеления и страха, эта чистка перышек — первична. Когда Дарли и Латан изменили условия эксперимен-

* Пост Эмили (1873—1960) — писательница, автор популярной, неоднократно переиздававшейся книги «Этикет — Голубая книга хорошего тона»; стала своего рода законодательницей мод в области этикета.

та так, что в комнате оказывался один только наивный испытуемый, она или он почти всегда воспринимали появление дыма как чрезвычайную ситуацию и немедленно принимали меры.

Социальный ориентир. Эффект зрителя. Невежество толпы. Эти по-научному звучащие термины дают неверное представление о нелепостях, которые описывают. Через улицу от моего дома находится красивая церковь, между камнями которой растет изумрудный мох. Иногда я захожу туда, чтобы послушать пение. После воскресной проповеди по рядам передают коробку для пожертвований. Однажды, погруженная в мысли о дыме и убийствах, я заметила, что в коробке еще прежде, чем она достигла первого ряда, таинственным образом появились сложенные долларовые бумажки. Через несколько недель моя сестра, работающая в баре, призналась мне, что в начале каждого вечера «подсаливает» свою миску для чаевых пятерками и десятками. «Так я получаю больше чаевых, — сказала она мне. — Люди думают, что кто-то уже раскошелился, и делают то же самое». Нами движет подражание.

Эксперименты Дарли и Латана побудили этологов поискать аналогичные тенденции «в дикой природе». Жирафы, например, не кидают ли взгляды по сторонам, прежде чем объесть верхушку дерева? Зависят ли действия приматов от реакции стаи? Вот что стало известно про индюшек. Индюшки-мамы начинают заботиться о птенцах только после того, как услышат весьма специфический писк. Если индюшата соответствующего звука не издают, мать не получает необходимого стимула, и птенцы погибают. Влияние этого социального ориентира так велико, что ученым удалось прикрепить миниатюрные плееры, воспроизводящие запись писка птенцов, на шею рыси, опасного для индюшек хищника, и индюшка-мать проявляла самые теплые материнские чувства, пока ее ели. Этологи утверждают, что социальные ориентиры, или фиксирован-

ные паттерны поведения, у некоторых животных и птиц инстинктивны, заключены в мозговом веществе и нервных цепях, в то время как у людей соответствующее поведение является продуктом научения. Ученые сомневаются в существовании специального гена «социального ориентирования», а вот я думаю, что мы, возможно, его имеем. Я помню, что когда была беременна, я поражалась тому, что мое тело способно создать ребенка, целое отдельное существо, без сознательного руководства с моей стороны. Как мое тело знало, что нужно делать? Клетки, как оказалось, заняты постоянными разговорами друг с другом, посылая одна другой химические сигналы, вызывающие целый поток следствий, которые со временем приводят к формированию отдельных органов, а потом и сложного организма в целом. Человеческое сердце возникает, когда одна клетка посылает сигнал другой, а та подталкивает третью... так формируется и рука, язык, кости, похожие на тонкие белые провода, со временем одевающиеся в шелковую изоляцию плоти. В моем случае все сигналы были правильными, и я получила дочку — такую славную.

В том мире, где мы живем, сложные сигналы — клеточные, химические, культурные — обрушиваются на нас с такой поразительной интенсивностью, что у нас просто нет времени просеивать всю информацию и действовать обдуманно. Если бы мы попытались это делать, мы оказались бы парализованы. Благодаря социальным ориентирам и их химическим компонентам мы способны создавать детей и сидеть молча, когда эхо от нас требуется, мы знаем, когда следует вальсировать, когда — преломлять хлеб, когда — заниматься любовью. С другой стороны, как показали Дарли и Латан, мы приспособлены для интерпретации, как и мама-индюшка, далеко не безупречно. Исходя из данных эксперимента с задымленной комнатой Дэвид Филлипс, социолог из Калифорнийского университета, обнаружил весьма загадочную вещь. По свидетельствам ФБР и пра-

воохранительных органов, после каждого широко освещаемого в прессе случая самоубийства число жертв авиа- и автокатастроф растет. Филлипс исследовал этот феномен и дал ему название «эффекта Вертера», поскольку после того, как Гёте опубликовал «Страдания молодого Вертера» о самоубийстве от безответной любви романтического героя, на Германию XVIII века обрушилась волна самоубийств. Филлипс изучил статистику за 1947—1968 годы и обнаружил, что в течение двух месяцев после каждого попавшего на первые страницы газет сообщения о самоубийстве в США в среднем случается на 58 больше случаев суицида, чем обычно. Эти данные вызывают глубокую тревогу. Роберт Кьяндини, известный специалист в области социальных наук из Аризонского университета, пишет: «Мне это открытие представляется блестящим. Эффект Вертера прекрасно объясняет имеющиеся данные. Если эти катастрофы и в самом деле примеры подражательных самоубийств, то мы должны ожидать увеличения частоты аварий после публикации сенсационных сообщений о суициде. По многим причинам — чтобы сохранить репутацию, избавить семью от горя и позора, дать возможность близким получить страховку — люди не хотят, чтобы стало известно о том, что они убили себя. Поэтому они целенаправленно и тайно организуют крушение самолета или автомобиля, которыми управляют. Пилот рейсового самолета может направить его к земле, а водитель автомобиля — неожиданно врезаться в дерево».

Мне трудно в такое поверить. Подражательные самоубийства я еще могу понять, если при этом гибнет только сам самоубийца, но неужели эффект Вертера, социальный сигнал так силен, что действительно приведет к росту катастроф на коммерческих рейсах после, скажем, смерти Курта Кобайна? Неужели пилоты самолетов или машинисты поездов, имеющие суицидальные наклонности, но никогда не получавшие возможности их осуществить, окажутся так увлечены подражанием

сенсационной трагедии, что заодно жертвуют и другими жизнями? Дарли в телефонном разговоре говорит:

— Ну, действительно есть множество примеров, когда социальные ориентиры приводили к самоубийствам, но, пожалуй, говорить о катастрофах с самолетами — преувеличение.

С другой стороны, Кьяндини, один из наиболее авторитетных социальных психологов, клянется в точности приводимых данных. «Поистине пугает, — пишет он в своей книге о социальных влияниях, — число невинных, гибнущих заодно. Эта статистика произвела на меня такое впечатление, что я начал обращать внимание на сенсационные сообщения о самоубийствах и менять свои планы на период сразу после их появления. Я делаюсь особенно осторожным за рулем. Я стараюсь избегать длительных путешествий, требующих многочисленных перелетов. Если уж мне в это время приходится летать, я покупаю значительно более дорогой страховой полис, чем обычно. Доктор Филлипс оказал нам всем услугу, показав, что наш шанс на выживание во время путешествия существенно меняется после публикации некоторых историй, выносимых газетами на первые полосы. Представляется только разумным принимать в расчет эти обстоятельства».

Как, интересно, собирается Кьяндини принимать в расчет обстоятельства, когда сообщения о самоубийствах не сходят со страниц газет уже много больше месяца и не обнаруживают тенденции прекращаться? Он, должно быть, прячется где-нибудь в самодельном бункере. Я набираю его номер. Женщина, назвавшаяся Бабеттой, говорит мне, что он в Германии и вернется еще не скоро.

— Он, наверное, боится лететь обратно? — спрашиваю я.

— Ох, — отвечает мне она, — времена сейчас страшные, очень страшные. Конечно, доктор Кьяндини знает, что будут еще катастрофы, принцип социального ориентира делает это неизбежным.

— Счел бы он странным, что я приобрела противогаз?

— Конечно, нет. Однако он сказал бы вам, что в свете происходящего вы должны жить своей жизнью и делать ее лучше.

— А у него есть противогаз? — спрашиваю я.

Она не отвечает.

Все это выглядит довольно мрачно. А за окном — великолепные осенние дни, неожиданное бабье лето, воздух пахнет теплым фруктовым соком, на яблонях каждый плод — румяное совершенство. Я собираю яблоки вместе с дочкой — высоко поднимаю ее, чтобы она могла сорвать яблоко с его тонкой веточки, подержать в руках, надкусить — ее зубки оставляют четкие отпечатки на шкурке. Сладкий сок и пчелы... Пчелы загоняют нас в дом. У москитов тоже эпоха Возрождения, их острые носы вонзаются в нашу кожу, вспухают пузыри. Я разбрызгиваю средство от насекомых, но эти москиты явно принадлежат к какому-то странному, неподдающемуся виду, они продолжают жужжать — все выше и выше. Какие бы это были чудесные дни, если бы не москиты, не средство от насекомых и не дохлая мышь, которую я нахожу под плитой — комочек меха и разложение; скончалась мышка уже довольно давно.

Кто может чувствовать себя счастливым в такие времена? Индекс Доу-Джонса скользит вниз, собаки лают, Кьяндини, Дарли и Вертеры говорят о том, что зло порождает зло, глупость порождает глупость, балом правит массмедиа, так что все мы опутаны пленкой, а ролик все не кончается. Есть ли для нас еще надежда? Читаешь про Милграма, и настроение ухудшается. Читаешь про Скиннера, и чувствуешь себя растерянной. Читаешь о том, что обнаружил Розенхан, и понимаешь, какое странное существо — человек. Но хуже всего, что, читая обо всех этих экспериментах, обнаруживаешь нечто более летальное, чем даже смертельный электрический разряд: чувствуешь.

заражение*. Чувствуешь, как мы влияем друг на друга своей неподвижностью, своей диффузией, своей растерянностью. Разве от этого поможет противогаз?

5. После этого вы должны начать действовать

Его зовут Артур Биман, и он не знаменит, хотя, возможно, и должен бы быть. Биман, социальный психолог из университета Монтаны, сделал интересное открытие, о котором он и его коллеги сообщили в 1979 году в «Бюллетене личностной и социальной психологии». Я отправилась на поиски данных их исследования и обнаружила их, как и следовало ожидать, на пыльной библиотечной полке. Статья оказалась совсем короткой и густо насыщенной коэффициентами корреляции и символами вроде [^], #, + и =; может быть, именно поэтому никто и не знает о сделанном учеными открытии. Эксперимент, чтобы выбрать из научной колбы, должен быть представлен с некоторой долей поэзии — клубами дыма, электрическим разрядом, парочкой вербальных завитушек.

Однако давайте попробуем преодолеть тяжеловесный стиль статьи Бимана и понять суть работы, которая заключается в следующем: если вы познакомите группу людей с концепциями социальных ориентиров, невежества толпы, эффекта зрителя, то вы в определенном смысле сделаете им прививку против этих видов поведения в будущем. Таким образом, те несколько страниц, которые вы только что прочли, эти несколько тысяч слов представляют собой не только описание событий, но и педагогическое достижение. Согласно данным Бимана, теперь, когда вы знаете, насколько легко упустить главное, вы с меньшей ве-

* Заражение — в социальной психологии под заражением понимается распространение на других людей эмоциональных состояний и форм поведения в результате подражания или внушения.

роятностью окажетесь жертвой интерпретационной путаницы. Может быть, даже справедливо будет сказать, что я купила про- тивогаз одной разновидности, а сама из слов создала другой, который защитит от опасностей иного рода.

Биман работал с группой студентов колледжа. Он показы- вал им видеозаписи экспериментов Дарли и Латана, касавшихся припадка и задымления, записи, ясно показывавшие зрителю то, что Дарли и Латан назвали пятью ступенями поведения, на- правленного на оказание помощи:

1. Вы, человек, потенциально способный оказать по- мощь, должны заметить происходящее событие.
2. Вы должны интерпретировать ситуацию как требую- щую от вас помощи.
3. Вы должны принять на себя личную ответственность.
4. Вы должны решить, как действовать.
5. После этого вы должны начать действовать.

Студенты, которые видели видеозаписи и усвоили необхо- димые шаги, ведущие к пониманию гражданского долга, вдвое чаще предлагали свою помощь, чем те, кто не получил соответ- ствующей подготовки. «Привитые» студенты протягивали руки поскользнувшимся на льду женщинам, старикам в инвалидных колясках, эпилептикам, у которых внезапно случился припа- док, — несчастные случаи вроде посадки на воду происходят ведь постоянно. Остается только удивляться, почему, раз обу- чение столь эффективно в отношении кризисного менеджмен- та, оно еще не стало постоянной составной частью националь- ной образовательной системы. Было бы так легко включить его в обязательный курс первой помощи и даже помещать инфор- мацию на досках объявлений. Вам нужно сделать пять совсем простых вещей. Это особенно важно сейчас, когда наша страна огибает особенно опасный угол. Нам нужно знать, что делать, если взорвался автобус.

Теперь, узнав о пяти шагах, я чувствую себя лучше подготовленной. Политики советуют нам заниматься собственными делами, но проявлять бдительность. Я решаю, что как раз время этим заняться, и отправляюсь в центр города. Прошла неделя со времени самого страшного террористического акта в нашей стране, и ходят слухи, что приближается еще один. «Нужно заниматься своими обычными делами», — говорят все вокруг, да и что еще действительно можно делать? Так что я отправляюсь в центр города, хотя толпы теперь заставляют меня чувствовать себя не в своей тарелке. Бостон осенью прекрасен, его золотят теплые солнечные лучи, а трава на городском кладбище остается ярко-зеленой. Город, впрочем, кажется странно притихшим, а те звуки, которые все-таки раздаются, приобретают особое значение и кажутся полными глубокого смысла. Ребенок на качелях, взлетая высоко в воздух, испуганно вскрикивает. Оставленная на скамейке газета многозначительно шуршит на ветру. Бикон-хилл — мое любимое место, я обожала его еще в детстве. Я воображала, что под золотым куполом здания конгресса штата живут фантастические крылатые существа. Сейчас вокруг не видно политических деятелей, но у железной калитки я обнаруживаю неприятного парня лет восемнадцати, с агрессивно бритой головой, на которой виден татуированный синий крест. Он одет едва ли не в униформу и обут в высокие шнурованные черные ботинки; арийский пушок у него на руках блестит. Выглядит он чрезвычайно подозрительно. Рукоять ножа (по крайней мере нечто очень на нее похожее) торчит у него из кармана. Парень скорчился в углу, явно стараясь остаться незамеченным, и быстро что-то чертит — наверняка зарисовывает подходы к зданию конгресса и возможные пути отхода. Мы только вчера слышали, что планы окрестностей посольств и аэропортов, вместе с руководствами по отравлению продуктов питания, были обнаружены в трущобах Детройта. Парень что-то бормочет себе под нос. «Воздух, — говорит он. — Ласточка». Несмотря на то что я прочла так много статей

о свидетелях и зрителях, я не очень хорошо представляю себе, что делать. Самое безопасное было бы сообщить о нем полицейскому, но ведь не хочется попасть в смешное положение... Вот вам и информированность! Первый шаг: вы должны осознать, что кому-то требуется помощь. В мире больше теней, чем солнечного света, и не так уж легко сориентироваться. Вместо того чтобы обратиться к полицейскому, я подхожу поближе к подозрительному парню, этому неонацисту... или просто чьему-то непослушному сыну... и тут вдруг, почувствовав мое любознательное присутствие, он поворачивается ко мне, и я вижу его блестящие, как хрусталь, зеленые глаза.

Я дрожащими губами улыбаюсь ему.

Он оглядывает меня с ног до головы и улыбается в ответ.

Мы не обмениваемся ни словом, но он знает, о чем я думаю: быстрые наброски, солдатские замашки, бритая голова...

Карандаш, которым он пользуется, короткий, с толстым угольным грифелем; он оставляет на бумаге широкие жирные линии.

Это становится мне известно, потому что парень, прочтя мои мысли (как странно: иногда мы понимаем друг друга без слов, а бывает, что даже крик не помогает нам привлечь внимание другого человека), показывает мне свой альбом, чтобы я увидела, чем он занимается: никаких подозрительных маршрутов подхода и отступления. На листе нарисовано всего лишь одинокое дерево на лужайке перед зданием конгресса с тщательно прорисованными морщинистыми листьями. И тут я вижу, что каждый лист — набросок человеческого лица на пороге или в конце жизни. Рисунок превосходен. Парень вырывает лист из альбома и протягивает его мне. Я уношу его домой и вешаю над своим столом, и теперь, когда я печатаю эти слова, поглядываю на эти едва намеченные человеческие лица. Путаница линий полна значения, тайны и многих смыслов. Я запомнила пять шагов, но все равно дорога оказывается извилистой.

5

Успокоение ума

Эксперименты Леона Фестингера

Леон Фестингер родился 8 мая 1919 года в семье русских эмигрантов. Он изучал психологию в Сити-колледже в Нью-Йорке, а затем стал студентом университета Айовы, где его учителем был известный немецкий психолог Курт Левин. Впоследствии Левин и Фестингер перешли в Массачусетский технологический институт, а в 1957 году Фестингер опубликовал свою самую известную работу — «Теория когнитивного диссонанса», в которой писал: «Психологическая оппозиция несовместимых идей (познания), одновременно принадлежащих индивиду, создает мотивационную силу, которая, при соответствующих обстоятельствах, ведет к приспособлению представлений человека к его поведению — вместо того чтобы изменять поведение так, чтобы оно соответствовало представлениям (обычно подразумевается именно эта последовательность)».

Фестингер был неутомимым исследователем и экспериментатором. Ради проверки своей гипотезы «несовместимых идей», более известной теперь как «когнитивный диссонанс».

он провел серию небольших, стратегически сложных и удивительных экспериментов, которые оказались первыми, осветившими механизмы, с помощью которых человеческий ум осуществляет рационализацию.*

Ее звали Марион Кич. Его звали доктор Армстронг. Они жили в Лейк-Сити, в Миннесоте, холодном ветреном месте, где зимы долгие, где из низких туч падает снег, и каждая снежинка — как маленькое послание, нуждающееся в том, чтобы его расшифровали.

И вот однажды Марион Кич, обычная домохозяйка, получила письмо от создания по имени Сананда. Оно пришло не в конверте, а в виде вибрации, которая заставила руку Марион Кич нацарапать на странице записной книжки следующие слова: «Поднятие дна Атлантического океана приведет к затоплению прибрежных стран. Франция утонет... Россия превратится в дно огромного моря... Гигантская волна обрушится на Скалистые горы... Земля будет очищена от людей, и возникнет новый порядок». После этого послания стали приходиться часто. Они предупреждали о грядущем потопе, который случится в полночь 21 декабря 1954 года. Однако все, кто уверует в божество по имени Сананда, будут спасены.

Марион Кич уверовала. Доктор Армстронг, врач, занимавший престижный пост в расположенном рядом колледже и встречавшийся с миссис Кич в клубе интересующихся «летающими тарелками», также уверовал. Уверовали и Берта, Дон и еще несколько человек. Они образовали секту и занялись приготовлениями. Стоял ноябрь, и ночи наступали рано, темнота окутывала окрестности, как пленка дегтя. Группа уверовавших

* Рационализация — самый распространенный механизм психологической защиты, оправдывающий мысли, чувства, поведение, которые на самом деле неправильны, и объясняющий их наиболее приемлемыми для человека мотивами. Рационализация помогает сохранять самоуважение, избежать ответственности и чувства вины.

опубликовала единственное предостережение, но после этого стала избегать публичности, потому что избранных Санандой было немного, а сеять панику было бы жестоко. Тем не менее новость распространилась, и жители Среднего Запада — от Айдахо до Айовы — были заинтересованы и растеряны. Леон Фестингер, тридцатидвухлетний психолог из Миннесотского университета, узнал о секте и решил в нее внедриться. Его интересовало, что произойдет, когда наступит полночь 21 декабря, а никакой космический корабль не приземлится и никакой потоп не начнется. Утратят ли члены секты веру? Фестингер хотел узнать, как люди реагируют на несбывшееся пророчество.

Фестингер привлек несколько участников, которые, притворившись обращенными в веру в Сананду, должны были проникнуть в секту. Они следили, как другие активно готовятся к событиям, назначенным на день зимнего солнцестояния. Китти, одна из уверовавших, уволилась с работы, продала дом и с маленькой дочерью переселилась к Марион Кич. Доктор Армстронг тоже был так убежден в неотвратимом потопе, что поставил под угрозу свою работу: он начал проповедовать в своей приемной, в результате был уволен и остался на мели всего лишь со стетоскопом и молоточком для проверки рефлексов; впрочем, это никакого значения не имело. Земные блага, престижные звания ничего не значили для спасительницы-Сананды и той новой планеты, куда должны были попасть уверовавшие, — далекой, далекой планеты, невидимой с Земли; она лишь изредка вспыхивала на небе, как красная дырочка во мраке космоса, тут же снова затягивавшаяся.

Накануне дня потопы члены секты и пробравшиеся в их число исследователи собрались в гостиной Марион Кич, чтобы получить последние инструкции, которые поступали в виде слов, автоматически записывавшихся рукой Марион Кич, а также телефонных звонков от космонавтов, притворявшихся любителями розыгрышей, но на самом деле передававших закодиро-

ванные сообщения. Например, один из звонивших сообщил: «Эй, тут у меня в ванной потоп, давайте приезжайте, и мы это отпразднуем!» — таков, ясное дело, был сигнал от тайного помощника Саыанды, и собравшиеся выразили восторг. Другое послание прибыло в виде загадочной жестянки, обнаруженной на ковре в гостиной. Жестянка было предостережением: перед тем как войти в космический корабль, который должен был приземлиться на тротуаре перед домом всего через десять минут, всем членам секты следовало избавиться отлюбых металлических предметов. Женщины лихорадочно принялись избавляться от кнопок на одежде и застежек лифчиков, а мужчины начали отпарывать пуговицы. Одного из исследователей, у которого оказалась металлическая молния на брюках, доктор Армстронг, тяжело дыша и поминутно поглядывая на часы, отвел в уборную и там отхватил ножницами от брюк такой кусок, что в него ворвался холодный западный ветер.

Было уже 11.50, до посадки оставалось всего десять минут. Люди бросили работу, продали дома, поссорились с членами своих семей — их взнос был велик. Двое часов в доме миссис Кич громко тикали, сначала ровно, как бьющиеся сердца, потом все более зловеще: полночь наступила и миновала. «Тик-так», — говорили часы, как укоризненно цокающие языки, — а с холодных небес так и не упало ни капли, земля снаружи была суха, как пустыня Ханаанская, и погружена во тьму. Некоторые члены секты, потрясенные до глубины души, рыдали. Другие просто лежали на диванах, бессмысленно глядя в пустоту. Некоторые выглядели в окна: улицу заливал яркий свет, только это были не огни космического корабля, как они надеялись, а фары автомобилей телерепортеров, собравшихся поразвлечь зрителей.

До наступления Великого Моментa члены секты воздерживались почти от всякой публичности, за исключением единственного пресс-релиза предостережением, несмотря на то что

новость о приближающейся катастрофе распространилась по Среднему Западу и члены группы получали множество приглашений выступить по телевидению. Теперь, однако, время шло, с неба не падало ни капли, и Фестингер заметил, что начали происходить странные вещи. Члены секты раздвинули занавески, чтобы камеры могли снимать; они любезно и настойчиво приглашали членов съемочной группы вдом, предлагали им чай и печенье. Марион Кич, сидя в кресле в своей гостиной, получила очередное послание от таинственного существа, предпосылавшее связаться с как можно большим числом средств массовой информации и сообщить, что потоп не произошел потому, что «маленькая группа, бдевшая всю ночь, испустила так много света, что Бог решил спасти мир от уничтожения». Миссис Кич совершила поворот на сто восемьдесят градусов и стала связываться со всеми телепрограммами и газетами: теперь она хотела говорить. Около четырех часов утра ей позвонил репортер, звонивший за несколько дней до того и с сарказмом приглашавший миссис Кич в свою программу, чтобы отпраздновать конец света; тогда она просто в ярости швырнула трубку. Теперь же, несмотря на насмешку по поводу несбывшегося пророчества, она заявила репортеру: «Приезжайте! Немедленно!» Члены секты звонили в «Лайф», «Тайм», «Ньюсуик» и дали десятки интервью, стараясь убедить общество, что их вера и их действия были не напрасны. Узнав о том, что 21 декабря в Италии произошло землетрясение, члены группы ликовали: «С Земли слезает кожа».

Диссонанс. Миллион рационализации — обманчивые складки земли, обманчивые извилины мозга и всевозможные попытки их сгладить... Мы можем только попробовать представить себе насмешливое веселье и печаль Фестингера, когда он наблюдал, как люди прибегают к лжи, не обращают внимание на очевидное, отсеивают, сортируют информацию, заполняют пустоты. Для Фестингера удивительный рост числа последователей культа сразу вслед за столь очевидным провалом

оказался основанием для построения теории когнитивного диссонанса и проведения экспериментов, эту теорию проверяющих. Благодаря своему внедрению в секту и знакомству со многими свидетельствами историков Фестингер обнаружил, что именно когда верования опровергаются, секта начинает активно вербовать сторонников: срабатывает своего рода защитный механизм. Противоречие между тем, во что человек верит, и фактами — чрезвычайно неприятная вещь, вроде царапанья по стеклу. Утешение может быть достигнуто, только если все больше и больше людей, так сказать, запишутся на полет в космическом корабле, потому что если мы все собрались лететь, значит, мы наверняка правы.

Кажется вполне уместным, что когнитивный диссонанс обнаружил именно такой человек, как Фестингер. Он отличался сварливостью и всех постоянно раздражал.

Эллиот Аронсон был в 1950-е годы, когда бал правил бихевиоризм, студентом Фестингера.

— Фестингер был уродливым человечком, — говорит Аронсон, — и большинство студентов так его боялись, что предпочитали не ходить на его семинары. Однако он в определенной мере излучал тепло. И он был единственным гением, которого я встретил в жизни.

После изучения секты Фестингер и его коллеги приступили к исследованиям когнитивного диссонанса во всех его проявлениях. Во время одного из экспериментов они платили одним своим испытуемым по двадцать долларов за то, что те солгут, а другим — всего один доллар. Обнаружилось, что получавшие один доллар впоследствии с большей вероятностью утверждали, что они в самом деле верят в произнесенную ложь, чем те, кто заработал двадцать долларов. Почему это было так? Фестингер выдвинул гипотезу, согласно которой оправдать свою ложь всего за один доллар трудно: вы ведь в конце концов умный и практичный человек, а умные и практичные люди не

совершают нехороших поступков без веской причины. В результате, поскольку вы не можете взять обратно свои слова, а деньги — гроши — уже получили, вы и приводите свои представления в соответствие с поступком, чтобы уменьшить диссонанс между собственным представлением о себе и своим сомнительным поведением. Те же испытуемые, кто получил двадцать долларов, не меняли своих воззрений; они как бы говорили: «Ну да, я солгал, я не верил ни слову из того, что сказал, но мне за это хорошо заплатили». Двадцатидолларовые испытуемые испытывали меньший диссонанс: они могли найти привлекательное оправдание своей выдумке, оправдание в виде двузначной цифры на хрустящей бумажке.

Теория диссонанса взяла американскую психологию штурмом.

— Именно штурмом, — говорит Аронсон. — Это была потрясающая идея — такая элегантная и предлагавшая изящное объяснение непонятному поведению людей.

Теория диссонанса, например, объясняла тот долгое время остававшийся загадочным факт, что во время корейской войны китайцы с успехом обращали американских пленных в сторонников коммунизма. Для этого китайцам не нужно было прибегать к пыткам или платить крупные суммы: достаточно было пообещать пленным горсточку риса или шоколадку за то, что те напишут антиамериканское эссе. После того как американцы писали соответствующий текст и получали за это награду, многие приобретали коммунистические убеждения. Это кажется странным, особенно потому, что мы привыкли думать, будто промывание мозгов осуществляется с помощью яростного отскребания с применением каустической соды или благодаря щедрой взятке. Однако теория диссонанса предсказывает, что чем более жалкое вознаграждение человек получает за поведение, несовместимое с его взглядами, тем больше вероятность, что он свои взгляды переменит. В этом есть какой-то извращенный здравый смысл. Если вы продаетесь за шоколадку, или

сигарету, или горсть риса, вам лучше придумать убедительную причину такого поступка, чтобы не почувствовать себя просто-напросто тупицей. Если вы не можете забрать обратно написанное эссе или произнесенную ложь, то вы меняете свои представления, чтобы они больше не скреблись и не скрипели, а вы были избавлены от представления о себе как о тупице. Китайцам здорово удалось интуитивно понять когнитивный диссонанс: они держали перед носом у взрослых людей пустяковые подачки, и те изменяли свои оказавшиеся гибкими убеждения.

Фестингер и его студенты выявили несколько различных форм диссонанса. То, что исследователи обнаружили при изучении секты, было названо парадигмой веры/неподкрепления. Данные, полученные при различной оплате произносимой лжи, легли в основу парадигмы недостаточного вознаграждения. Еще одна парадигма, получившая название навязанного соответствия, лучше всего иллюстрируется таким экспериментом: первокурсники, стремившиеся вступить в студенческое братство, должны были пройти через тяжелые или умеренные вступительные обряды. Те, кто прошел через тяжелые обряды, проявляли большую преданность группе, чем те, для кого обряды оказались умеренными.

Этими своими простыми экспериментами Фестингер поставил психологию, особенно Скиннера, с ног на голову. В конце концов, Скиннер ведь утверждал, что поощрение укрепляет, а наказание гасит условный рефлекс, но коротышка Леон несколькими быстрыми действиями показал, что бихевиоризм был неправ. Неправ! Нами движут наказания и ничтожные награды; в центре человеческой вселенной оказался не большой кусок сыра, а какой-то крохотный ломтик, и никаких вам голубей, крыс или ящиков. Существуют только человеческие существа, которыми движут рассудки, стремящиеся к комфорту. Скиннер выкинул на свалку ментализм, оставив нам всего лишь механистические условно-рефлекторные отклики, но тут пришел Леон, чудаковатый и язвительный Леон, вернул нам наш

сложный мозг и фактически заявил: «Человеческое повеление не может быть объяснено только теорией поощрений. Люди мыслят. Они занимаются поразительной мысленной гимнастикой — ради того, чтобы оправдать собственное лицемерие».

Фестингер придерживался не слишком оптимистичных взглядов на человеческую природу. Он выкуривал по две пачки «Кэмел» без фильтра в день и умер от рака печени в возрасте шестидесяти девяти лет. Не приходится удивляться, что Фестингера привлекали взгляды экзистенциалистов: Сартра с его полой вселенной, Камю, который полагал, что человек проводит всю жизнь, пытаясь уверить себя, будто она не абсурдна. Человек, считал Фестингер, не рациональное существо, а рационализирующее. Он жил со своей второй женой Труди в сельском коттедже, где, как я себе представляю, в сумерки ярко тлел кончик его сигареты, где вдоль стен кабинета тянулись книжные полки, где к притолоке был прикреплен маленький серебряный свиток с какой-то историей внутри.

Одну историю я знаю. Наверное, она понравилась бы Фестингеру. Недалеко от того места, где я живу, в маленьком городке Ворчестер в Массачусетсе живет настоящее олицетворение рационализации. Ее зовут Линда Санто. Пятнадцать лет назад ее трехлетняя дочь Одри упала в плавательный бассейн, и ее нашли плавающей там лицом вниз. Девочку спасли и откачали, но кора ее головного мозга перестала функционировать, энцефалограмма показывала лишь отдельные электрические импульсы; мозг управлял только сердцебиением и деятельностью потовых желез...

Пятнадцать лет назад Линда Санто, о ком я часто читала и которую много раз показывали по местному телевидению — то ли как героиню, то ли как странный феномен, — пятнадцать лет назад она привезла свою дочку, подключенную к аппаратуре жизнеобеспечения и с трубкой, вставленной в трахею, домой; она купала свое дитя и десять раз надень переворачивала.

так что кожа девочки оставалась розовой и не возникло ни единого пролежня; она подкладывала под голову Одри белые шелковые подушки в форме сердца и устала всю комнату фигурками католических святых, потому что была очень религиозна. Одри лежала в постели, а на полке рядом Иисус протягивал человечеству свое сердце, а Дева Мария смотрела на это в экстазе... Маленькие статуэтки, большие статуэтки, стигматы на фарфоровых ладонях, свекольно-красная кровь.

Через несколько месяцев после несчастного случая, как писали газеты, муж оставил Линду. Теперь у нее не было денег, но было трое детей помимо Одри. И фигурки святых вокруг постели девочки начали двигаться. Они по собственной воле поворачивались лицом к больной. Красная кровь стала течь из потрескавшихся ран Христа. По лицам святых потекло какое-то странное масло. А глаза Одри открылись и начала двигаться из стороны в сторону, туда-сюда, туда-сюда, и каждую Пасху она стояла от боли, а на Рождество впадала в глубокий, глубокий сон.

К Одри начали стекаться больные, страдающие рассеянным склерозом, опухолями мозга, сердечными заболеваниями, депрессией. Они приезжали и увозили с собой чудотворное масло, сочащееся из святынь. В доме Санто чудеса следовали одно за другим; пилигримы преклоняли колени у постели девочки и исцелялись, слепые прозревали, а у самой Одри из всех отверстий на теле стала сочиться кровь, словно она страдала за грехи всего мира. Линда утверждала, что для нее ничего загадочного в этом нет; она знала, что ее дочь — святая, что Бог избрал Одри в качестве жертвы: она должна брать на себя боль других людей, чтобы они могли исцелиться. Линда видела это собственными глазами. Более того: Одри утонула в 11.02 9 августа, а за сороклетдотогов 11.02 9 августа США сбросили атомную бомбу на Нагасаки. Это, по словам Линды, покрыло позором человечество, а теперь несчастье Одри должно было очистить его.

История Санто — классический пример фестингеровского когнитивного диссонанса: разум матери превратил ужасную трагедию в инструмент спасения, консонанс был достигнут бла-

годаря серии быстрых рационализации. Как, интересно, думая, будет человек, так точно воплощающий открытие Фестингера, реагировать на его объяснение?

По телефону Линда говорит медленно и хрипло. Что-то в ее голосе удивляет меня. Я писательница, говорю я ей, я видела ее по телевизору; я изучаю убеждения и верования, и ученый по имени Фестингер...

— Что вы хотите узнать? — перебивает меня Линда. Может быть, то, что я слышу в ее голосе, — просто усталость знаменитости. Еще одно интервью из тысяч, которые она дала, но она сделает это снова, раз уж должна — ради Одри, чтобы слава ее росла. — Раз вы журналистка, вы, наверное, хотите приехать и сфотографировать мою девочку, но я сразу вас предупреждаю, что вы должны получить разрешение церкви.

— Нет, — говорю я, — я хочу узнать, знаете ли вы о человеке по имени Фестингер и его экспериментах...

— Фестингер, — хмыкает она и больше ничего не говорит.

— Однажды существовала группа людей, — говорю я, — которые верили, что спаситель явится за ними 21 декабря, а психолог Фестингер изучал то, что случилось 21 декабря, когда их никто не спас.

Следует долгая пауза. То, что я делаю, неожиданно начинает казаться мне жестоким. «Когда их никто не спас...» В трубке слышатся непонятные звуки, стук молотка, крик вороны.

— Фестингер, — наконец говорит Линда. — Это еврейское имя?

— Безусловно, — отвечаю я.

— Евреи задают хорошие вопросы, — говорит Линда.

— А католики?

— Мы можем задавать вопросы. Наша вера в Бога, — продолжает Линда, — не всегда абсолютна. Даже если у вас прямая связь по электронной почте с Иисусом, линия иногда отключается. — Линда умолкает; я слышу, как у нее перехватило горло.

— У вас? — спрашиваю я. — Это у вас линия отключилась?

— У меня рак груди, — отвечает Линда. — Он у меня уже лет семь. Я только что узнала, что у меня пятое ухудшение, и должна вам сказать: я устала.

Я касаюсь собственной груди, которая несет следы многочисленных биопсий, и клетки под кожей начинают отчаянно дрожать.

— А не могла бы Одри... Если бы вы попросили ее исцелить...

— Хотите знать правду? — резко перебивает меня Линда. — Хотите вы с Фестингером знать, что к чему? В плохие дни — вот такие, как сегодня — я сомневаюсь, что страдание имеет смысл. Запишите это, — говорит она.

Фестингер писал: поиск консонанса — побудительный стимул. Мы живем, обращая внимание только на ту информацию, которая соответствует нашим собственным убеждениям, мы окружаем себя людьми, которые эти убеждения поддерживают, и игнорируем противоречивую информацию, которая может поставить под вопрос то, что мы построили.

Однако Линда Санто указывает на недостатки этой теории и экспериментов, которые должны были ее подтвердить. Где-то совсем недалеко от меня в эту самую минуту в полутьме сидит женщина, которой не за что ухватиться. Ее рак и неспособность ее дочери его исцелить находятся в диссонансе с ее основополагающей парадигмой, но вместо того чтобы искать консонанс с помощью рационализации, как Фестингер и я вместе с ним предсказывали, Линда, похоже, оказалась в подвешенном состоянии, когда верования ломаются и образуют новые паттерны, разглядеть которые мы не можем. Кто знает, какие новые формы веры возникнут из готовности Линды отказать от рационализации ради пересмотра взглядов? Фестингер никогда не исследовал этот феномен — как диссонанс ведет к сомнениям, а сомнения — к ясному видению. Не изу-

чал он и то, почему некоторые люди избирают в качестве стратегии рационализацию, а другие — пересмотр взглядов. Я думаю о Линде. Я думаю о других людях. Что позволило Исааку Ньютону заменить руку Бога законом тяготения или Колумбу отправиться в путешествие по миру, который оказался шарообразным и не имеющим границ? На протяжении всей истории встречаются примеры людей, которые, вместо того чтобы зажать уши руками, соглашались терпеть диссонанс и готовы были услышать, что из этого получится. Фестингер на самом деле — один из таких людей. Его идеи и эксперименты находились в явном диссонансе с преобладавшей в те дни мудростью Скиннера. Но он шел дальше. Почему?

— Диссонанс, — говорит Эллиот Аронсон, почетный профессор Калифорнийского университета, ведущий специалист в области диссонанса, — изучать диссонанс на самом деле не значит наблюдать, как люди меняются. Теория просто этим не занимается.

— Вам не кажется, что это — недостаток теории? — спрашиваю я. — Понимание того, почему одни люди творчески разрешают диссонанс, а другие прячут голову в песок, могло бы многое прояснить.

Аронсон отвечает не сразу.

— В Джонстауне*, — говорит он, — девятьсот человек убило себя ради разрешения диссонанса. Несколько человек не совершили самоубийства, это верно, но девятьсот-то совершили, и обратить внимание следует именно на такой факт. На этом-то теория и сосредоточивает внимание — на огромном большинстве, которое держится за свои верования даже ценой жизни.

* Джонстаун — идеальный город, который начали строить в джунглях Гайаны члены секты «Народный храм», последователи проповедника Джима Джонса. После того как по приказанию Джонса были убиты члены комиссии конгресса США, приехавшие расследовать злоупотребления Джонса, он организовал массовое самоубийство (лишь отчасти добровольное) членов секты.

Я не великий психолог в отличие от Фестингера, но после разговора с Линдой у меня сложилось собственное мнение, и сводится оно вот к чему: теория диссонанса немного не попадает в цель, потому что она объясняет только, как мы приспосабливаемся к обстоятельствам, а не как мы пересматриваем свои взгляды. При этом диссонанс представляется как одномерное состояние, что-то вроде бессмысленного звона, хотя на самом деле фальшивый звук может также обострять наш слух и приводить к возникновению новых мелодий.

— Не думаете ли вы, — говорю я Аронсону, — что, не исследовав людей, отвечающих на диссонанс созданием новых парадигм, в которые вписывается новая информация, теория упускает важный аспект человеческого опыта? Почему, по вашему мнению, — спрашиваю я Аронсона, — одни люди прибегают к рационализации, а другие глубоко пересматривают свои взгляды? И еще более важно: как эти люди при столь радикальной смене парадигмы терпят долгие дни, недели, месяцы умственного скрежета, и чему может научить нас эта их способность мириться со столь мучительным состоянием? Может быть, и мы могли бы поступить так же и построить для себя более осмысленную жизнь? Кто-нибудь изучал таких людей второго типа?

— Это касается человеческого развития, — отвечает Аронсон. — Я был бы склонен предположить, что те, кто отвечает на диссонанс честной интроспекцией, обладают обоснованно высокой самооценкой; с другой стороны, самооценка у них может быть низкой, так что им нечего терять, если они скажут: «Боже мой, похоже, что я вложил денежки не в те акции. Я просто недотепа».

— Но проводили ли вы эксперименты, чтобы выявить таких людей? Как они переживают диссонанс? Есть у вас какие-либо данные?

— Данных мы не имеем, — отвечает Аронсон, — потому что не имеем испытуемых. Люди, о которых вы говорите, встречаются очень редко.

* * *

Я отправляюсь с визитом к Линде. Ворчестер, штат Массачусетс, находится примерно в часе езды от моего дома. Это старый фабричный городок, дома в нем — бывшие заводские и складские помещения. Если Линда пересмотрит свою историю о дочери-святой, о высшем смысле страданий, с чем она останется? Какая новая выдумка смогла бы принести ей утешение в той ситуации, в которой она оказалась? Я задаюсь вопросом о том, как диссонанс может сделать восприятие человека глубже; однако глубины опасны, там живут осьминоги и щелкают острые зубы акул.

Дом Санто расположен на тихой боковой улочке. Это скромное строение, типичное для ранчо, выкрашенное в цвет парного мяса и с пластиковыми ставнями на окнах. Звонок весело звенит, и изнутри доносится голос:

— Войдите в дверь рядом, в часовню.

Наверное, это голос Линды. Я на секунду прижимаюсь ухом к двери и слышу хриплое дыхание, звяканье горшка. Там Одри. Ей сейчас восемнадцать, и у нее каждый месяц появляется кровь. А мать ее умирает.

Я обнаруживаю часовню — она находится в гараже. Здесь очень сыро и всюду, куда ни глянь, видны статуэтки святых с привязанными под подбородками маленькими чашечками для сбора драгоценного масла. В гараж входит женщина со странно нефокусированными глазами и коробкой ватных шариков в руках.

— Меня зовут Руби, — говорит она. — Я здесь оказываю добровольную помощь. Она прикладывает ватные шарики к влажным щекам святых и каждый шарик убирает в отдельный пластиковый пакетик. — Люди заказывают святое масло. Оно исцеляет почти что угодно.

Мне хочется спросить Руби, как она объясняет тот удивительный факт, что святое масло не может исцелить Линду, мать святой, но я молчу. Я слежу за тем, как Руби обходит помеще-

нис, вытирая масло комочками ваты, и все-таки спрашиваю — удержаться выше моих сил:

— Как вы можете быть уверены, что кто-нибудь не приходит сюда ночью и не мажет маслом статуэтки, пока вас тут нет?

Руби резко поворачивается ко мне.

— Кто мог бы это делать?

Я пожимаю плечами.

— Я сама все видела, — говорит Руби. — Я вчера стояла рядом с Одри, и один из святых просто начал источать масло... началось что-то вроде масляного кровотечения. Так что я уверена.

Дверь часовни открывается, в полутемное сырое помещение врывается яркий луч послеполуденного солнца, и входит Линда. У нее жесткие, мелко завитые волосы, а большие кольца-серьги странно выглядят рядом с бледным морщинистым лицом.

— Спасибо, что согласились встретиться со мной, — говорю я. — Я очень благодарна вам за вашу готовность обсудить со мной вашу веру в такой трудной ситуации.

Линда пожимает плечами, садится и начинает болтать ногой, как ребенок.

— Моя вера... — говорит она. — Моя вера началась, когда я еще была в утробе матери. Не имей я веры, я бы сейчас была просто овощем в палате с обитыми войлоком стенами.

— Что означает ваша вера? — спрашиваю я.

— Она означает, — говорит Линда, — она означает, что я должна обращать к Богу все, что вижу, а это трудно: я ведь, как и вы, маленького роста — мы с вами обе наполеоновского типа, — так что трудно... — Линда вдруг хихикает.

Я всматриваюсь в ее лицо. Глаза ее блестят, но за этим блеском скрывается огромное озеро страха.

— Ну, — говорю я, — при телефонном разговоре вы сказали, что, возможно, начинаете сомневаться в своей вере, сомневаться в своем убеждении, что ваша дочь — святая... — Я смущенно умолкаю.

Линда поднимает брови; каждая из них образует совершенную дугу.

— Я не совсем так говорила.

— Вы сказали мне, что испытываете некоторые сомнения, и я хотела поговорить с вами о том, как вы...

— Это не имеет значения, — сердито перебивает меня Линда. — На самом деле никаких сомнений у меня нет.

— Ох... — только и могу я сказать.

— Послушайте, — говорит Линда, — Я знаю, кто я такая, и я знаю, кто такая моя дочь. У Одри прямая линия связи с Богом. Одри обращается к Богу с просьбами больных людей, и Бог избавляет их от болезней. Это не Одри делает их здоровыми, это Бог, но у Одри есть номер его факса, если вы понимаете, о чем я говорю.

Я киваю.

— Позвольте вам сказать, — продолжает Линда, — однажды к Одри приехала женщина после химиотерапии. Через несколько дней Одри вся покрылась красной сыпью и горела как в огне. Откуда могла взяться эта сыпь? Мы вызвали дерматолога. Он еврей, но человек замечательный; вот он и говорит: «Это такая сыпь, как бывает после химиотерапии». Когда мы позвонили той женщине, оказалось, что сыпь у нее прошла. Так что видите, Одри забрала себе мучительную сыпь — вот что делает моя дочь.

Линда рассказывает мне еще одну историю — про женщину с раком яичника, у которой после визита к Одри на снимке стала видна тень ангела на месте опухоли, а рак прошел. Я в эти рассказы не верю. Линда подходит к полке, берет чашку, снимает с нее крышку и показывает мне содержимое. Там в масле плавает капля крови.

— Мы отправляли это масло на анализ тридцати разным химикам, — говорит Линда. — И все сказали одно: такая разновидность человечеству неизвестна.

— Но почему, — мягко говорю я, — почему, Линда, не может святое масло или заступничество Одри перед Богом исцелить вас?

Линда молчит. Она молчит очень долго. Я вижу, как ее взгляд уходит куда-то вглубь, в какое-то потаенное место, куда я не могу за ней последовать. Я не знаю, где сейчас Линда, куда унесла ее эта маленькая смерть, не впала ли она в полубессознательное состояние; а может быть, она создает какой-то новый смысл — веретено все крутится и крутится. Линда смотрит в потолок. Руби, которая все еще находится в часовне, тоже смотрит в потолок. Наконец после долгой паузы Линда говорит:

— Рак уже дошел до кости.

— А вот и Иисус начал источать масло, — говорит Руби и показывает на статуэтку, и я действительно вижу две крошечные капли, скатившиеся по гипсовым щекам в складки на шее.

Я смотрю на этот феномен и испытываю собственный маленький когнитивный диссонанс: с одной стороны, я не разделяю католических догматов и не верю в сомнительные чудеса, но, с другой, статуэтка в самом деле плачет, хотя, конечно, возможно, кто-то спрятал в полую голову кусочек сливочного масла, а оно теперь растаяло и потекло, но могли я точно это знать? Я заглядываю в свой разум, чтобы проверить: достигли он когнитивного равновесия. Масло. Масло. Масло. Согласно теории Фестингера, я уменьшу диссонанс, если найду объяснение. Но на самом деле объяснение мне не нужно. Скорее всего это сливочное масло... но может быть, и нет. Кто может сказать, в чем проявляется воля Бога, какими знаменами, какими символами? Кто может сказать точно? Мы втроем стоим в часовне и смотрим, как Иисус плачет. Из дома доносятся стоны девушки, мозг которой мертв, голос сиделки, и я воображаю себе ужас Линды тогда, пятнадцать лет назад, когда она увидела свою трехлетнюю дочку в бассейне. Не знаю, существует ли причина тому, чтобы подобные вещи случались, и существуют ли святые, для

которых небеса — открытая книга, и служит ли боль божественным целям. Я не знаю, почему статуэтка плачет, почему сохраняется капля крови в масле. Я приехала сюда, чтобы узнать, как Линда разрешает диссонанс, но нашла, хоть и очень маленький, собственный диссонанс, и мой ум широко раскрыт, и все, что я могу сделать, это спросить...

— Он уже дошел до кости, — повторяет Линда, — и я не знаю, сколько мне еще осталось.

— Вы же ее мать, — говорю я. — Вы восемнадцать лет заботитесь о ней. Она исцелила тысячи и тысячи страдальцев. Она должна исцелить и вас.

Линда печально улыбается.

— Лорин, — говорит она, — Одри не исцелила меня потому, что я ее об этом никогда не просила. И никогда не попрошу. Может быть, она и святая, но она же моя маленькая девочка, моя крошка. Я никогда не попрошу ее и никогда не позволю ей взять мою боль. Мать не может попросить о таком свое дитя. Мать не дарит страдание, она его утишает.

Женщины уходят. Линда сообщает мне, что скоро отправляется в Слоан-Кеттеринговский онкологический центр. Я еще некоторое время сижу в часовне в одиночестве. Ясно: те сомнения, что Линда выражала по телефону, были такими мимолетными, что она едва в них признается. А мне теперь хочется молиться, но молитвы на ум не приходят. «Мать не может попросить о таком свое дитя, — сказала Линда. — Мать не дарит страдание, она его утишает». Может быть, это и рационализация, способ, которым Линда избегает признания в неспособности дочери ее исцелить; раз она не просит Одри о помощи, придуманная ею история остается непоколебленной. Но тут есть и что-то большее. Это — акт глубокой любви. Из дома теперь до меня доносится ласковый голос Линды и ответные звуки, какое-то бульканье... уже почти два десятилетия, день за днем проявляется эта любовь и забота. Не задумывался ли Фе-

стингер о том, что наши рационализации спасают не только нас самих, ко и других тоже? Задумывался ли он о том, как тесно переплетены ложь и любовь?

Я уезжаю от Линды. День сегодня необычный, как будто среди зимы вернулось лето, и зарытые в землю луковицы высовывают ростки, как свернутые зеленые флаги.

Когда я изучала психологию в университете, я некоторое время работала в неврологическом отделении большого госпиталя. Там было несколько пациентоз, таких же как Одри, погруженных в глубокую кому, с неподвижными холодными конечностями. Иногда я останавливалась около них — особенно мне запомнился один мальчик — и начинала произносить вслух алфавит, гадая, не найдут ли буквы дороги к их разуму, нет ли в самых глубинах какой-то части, которая бодрствует и из своей темницы следит за происходящим в мире.

Еще студенткой я узнала, что некоторые ученые исследуют нейронный базис теории диссонанса. В.С. Рамачандран, один из самых известных современных неврологов, изучает нервные субстраты, ответственные за отрицание и пересмотр взглядов. Он утверждает, что где-то в левом полушарии скрыта структура, играющая роль адвоката дьявола. Адвокат дьявола поднимает среди нейронов тревогу, как только обнаруживает, что по нашей системе убеждений наносится удар, и именно это позволяет нам испытывать когнитивный диссонанс. В правом же полушарии обитает состоящая из синапсов и клеток Шехерезада, добрая рассказчица, которая часто побеждает своего богатого оппонента.

— Но не всякий мозг, — говорит Мэтью Либерман, старший преподаватель психологии Калифорнийского университета из Лос-Анджелеса, — не всякий мозг склонен к рационализациям, к интенсивному однонаправленному восприятию. — Либерман повторил эксперимент Фестингера с однодолларовыми и двадцатидолларовыми поощрениями, используя в ка-

честве испытуемых жителей Восточной Азии. — Азиаты реже прибегают к рационализациям, чем американцы. — Либерман практически уверен, что мозг представителей азиатских народностей, воспитанных на столетних традициях дзен-буддизма или просто выросших в культуре, более толерантной к парадоксам (как звучит хлопок одной рукой?), обладает иной «нервной подписью», чем мозг американцев. — Дело не в том, что азиаты не испытывают когнитивного диссонанса, — говорит Либерман, — они просто испытывают меньшую потребность разрешить его, может быть, потому, что структуры, стремящиеся клинейным мысленным паттернам, у них изменены благодаря опыту медитаций. — Либерман предполагает, что передняя поясная извилина служит «детектором аномалий» или «адвокатом дьявола» и что у азиатов эта мозговая структура обладает меньшим числом связей с префронтальной корой, где происходит планирование. — Если это так, — говорит Либерман, — то азиаты испытывают не меньше когнитивных диссонансов, чем мы, но чувствуют меньше потребности разрешать их. — Другими словами, жители Восточной Азии, возможно, чаще сидят, держа в сложенных ладонях бессмысленные предметы — рыбу без воды, дерево без корней, красивую девушку с мертвым мозгом.

Меня тревожит погода. Сегодня 3 декабря, а температура воздуха — шестьдесят два градуса*. Облака на небе выглядят подтаявшими, а в нашем саду наблюдается апокалиптическое явление — цветет роза. Мой муж выносит дочку в сад, увязая в мокрой земле, и они срывают розу и приносят мне. Фестингер с иронией отмечал, что тревога может оказаться способом уменьшения когнитивного диссонанса. Вы чувствуете беспричинный страх — и придумываете причину, которая сделает ваш страх оправданным. Как отличить правду от оправдания? Может быть, если бы я родилась в Восточной Азии, я даже и не

* По Фаренгейту. Приблизительно 17°C.

пыталась бы. Но факт остается фактом: климат на нашей планете теплеет. Вот сейчас начало декабря, а тепло, и ветер пахнет гнилью; я нахожу на земле жука, он машет в теплом воздухе мохнатыми лапками.

Линда побывала в онкологическом центре и теперь уже должна была вернуться домой. С тех пор как я неделю назад съездила к ней, я много о ней думаю — или, возможно, следует сказать, что о ней много думает моя передняя поясная извилина. Я провела небольшое расследование, и выяснилось, что некоторые серьезные медицинские эксперты считают случай Одри удивительным. Еврей-дерматолог сказал:

— Я не могу объяснить состояние ее кожи иначе, как следствием химиотерапии, а ее мать говорит, что химиотерапии она никогда не подвергалась.

Наблюдающий за Одри педиатр говорит:

— Не могу понять. Я видел кресты у нее на ладонях, кровавые кресты, то, что называют стигматами, но они — под кожей, так что это не порезы. Не знаю... Медицина стремится вставлять круглые предметы в круглые отверстия, а случай Одри — квадратный, он не соответствует...

Недавно, по словам Линды, католическая церковь начала официальное рассмотрение возможности причисления Одри к лику святых.

— Ох, я так надеюсь, что ее признают святой, — говорит мне Руби, как руководительница группы поддержки.

Я звоню Линде Санто. Она перенесла операцию и должна теперь поправляться. Голос ее звучит слабо и дрожит.

— Четвертая стадия, — говорит она мне. — Мне отняли грудь и повсюду, повсюду нашли метастазы.

Я представляю себе рака — черного, как угорь, как тот жук на земле. Его вырезали. Теперь Линда дома, она еле ковыляет; у нее на руках двое нуждающихся в уходе — она сама и ее маленькая святая.

Я снова еду повидаться с Линдой. Скоро наступит зимнее солнцестояние; солнце уже садится рано, и моя черная тень далеко тянется по золотистой земле. Пятьдесят лет назад Марион Кич, доктор Армстронг, Берта, Дон и все остальные ждали явления Сананды и серебряных дождей, а когда ничего этого не случилось, нашли способ объяснить несбывшееся пророчество. Пятнадцать лет назад Одри упала в бассейн, и когда сознание не вернулось к ней, этому тоже нашли объяснение. Подъехав к дому Санто, я не иду ни к двери в дом, ни в часовню; я обхожу дом сбоку и заглядываю в одно из окон. Тогда я и вижу ее, саму Одри, лежащую в светлой розовой спальне. Ее волосы, длинные и блестящие, струятся по шелковым подушкам и сплошной черной волной падают на пол. Ее глаза открыты и неподвижны. Девушка выглядит прекрасно, если не считать тонкой струйки слюны, текущей из уголка рта.

Сказать по правде, я не знаю, зачем я сюда приехала. Я хотела увидеть, как Линда, столкнувшись с диссонансом, создает новую парадигму, но этого не произошло. Вместо этого она цепляется за свои оправдания, свои рационализации, но она полна такой любви! Может быть, именно любовь и привлекает меня, любовь матери и дочери, связанных годами теплого дыхания и нежных прикосновений? А может быть, меня сюда привел мой собственный диссонанс, тот факт, что странные вещи, происходящие здесь, противоречат моим представлениям о том, как работает мир, и я хочу разобраться? Я замечаю слева какую-то тень и оборачиваюсь. Могу поклясться: в сумерках этого зимнего дня со мной рядом стоит сам Фестингер, недовольный и одновременно похожий на лукавого эльфа. Что *он* сказал бы по поводу чудес в доме Санто? Он, наверное, напомнил бы мне, что все христианство — результат когнитивного диссонанса и последующих рационализации. Как он писал в своей книге «Когда пророчество не сбывается», считалось, что мессия не может «страдать от боли», так что последователи испытали сильную растерянность, когда увидели страдания Иисуса на крес-

те. Именно в этот момент, полагает Фестингер, последователи начали разрешать свои сомнения, проповедуя новую религию.

Мне представление о христианстве как о когнитивном диссонансе кажется забавным и довольно печальным. Оно говорит только об ограниченности, об ищущих защиты людях с шорами на глазах. Но, с другой стороны, христианство было открытием, дверью, сквозь которую хлынули миллионы и миллионы...

Я звоню в дверь, а потом жду Линду в часовне. Там темно и пахнет маслом, старой одеждой и ладаном. Я подхожу к полке и заглядываю под крышку чашки; в ней оказывается масло с каплей крови в середине — в точности как и раньше. Кто будет заботиться об Одри, если Линда умрет? Когда Линда умрет? Я касаюсь крошечного худого лица Иисуса, и мои пальцы становятся блестящими и влажными. Уже совсем стемнело, дни теперь такие короткие, но моя рука блестит от масла. Я задираю штанину и втираю масло в царапину, которую получила накануне. Моя кожа впитывает масло, и царапина закрывается... или сейчас просто темно и ничего не видно? Может быть, мне просто мерещится, но что именно мерещится, я определить не могу. Кто знает, возможно, Бог являет себя через дешевую пластиковую статуэтку в доме на окраине. Я в самом деле ничего не могу сказать наверняка. Я оказалась между двумя историями, между парадигмами, не имея ни оправдания, ни рационализации, в каком-то просторном, предлагающем богатые возможности месте. Здесь и сейчас я вижу между диссонансом и консонансом. Мне спокойно. Вот этого-то и не открыли эксперименты Фестингера — какво попасть в дыру между диссонансом и консонансом, где формируются новые теории, рождаются новые верования; здесь оказывается нечто гораздо меньшее, всего лишь человек, всего лишь я, с моими протянутыми руками и широко раскрытыми глазами, которые не видят конца дороги.

6

Обезьянья любовь

Приматы Гарри Харлоу

Эксперименты Гарри Харлоу с проволочными обезьянами лежат в основе психологии привязанности. Харлоу сумел показать, что детеныши обезьян более привязаны к мягкой суррогатной матери, чем к металлической, пусть и кормящей их молоком; из этого открытия родилась вся наука о прикосновениях. Эти эксперименты, многие из которых были засняты на пленку, оставляют ощущение озноба и подчеркивают то значение, которое имеет в нашей жизни близость.

I | **I** послушание». «Конформизм». «Рассудок». «Ориентиры».

" | **8** Эти слова постоянно произносились, но Гарри Харлоу они не нравились. Он хотел говорить о любви. Однажды он выступал на конференции, говорил о любви, и каждый раз, как он употреблял это слово, один из ученых перебивал его и спрашивал: «Вы, должно быть, имеете в виду близость, верно?» В конце концов Харлоу, человек резкий, хоть и склонный иногда проявлять странную стеснительность, ответил: «Может быть, близость — это все, что вы знаете о любви; я благодарю Бога за то, что он не подверг меня таким лишениям».

Это было очень для него характерно: сказать такую вещь публично. Он был обидчивым и невежливым; некоторые вспоминают его с искренним отвращением, другие — с симпатией.

— Мой отец... — говорит его сын Джеймс Харлоу, — я помню, как он брал меня во все свои поездки. Он взял меня на Гавайи, где мы обедали с Грегори Бейтсоном и его гиббоном. Отец покупал мне мороженое, и мы летали на бипланах.

Однако не так уж трудно обнаружить и другую сторону медали.

— Харлоу был настоящим негодяем, он пытался поломать мне карьеру, — говорит его бывший ученик.

— Он ненавидел женщин. Он был просто свиньей, — говорит другой бывший студент; оба они попросили не называть их имен.

Но все же эта свинья в 1959 году выступила с трибуны и говорила о явлениях в науке, которые никто раньше не осмеливался упоминать. Харлоу, Набоков психологии, дал сухой статистике гемоглобин и сердце. Его эксперименты были долгими размышлениями о любви и о тех многочисленных способах, которыми мы ее разрушаем.

О детстве Харлоу известно мало. Он родился в 1905 году в графстве Фэйрфилд, Айова; тогда его звали Гарри Израэль. Его отец, Лон Израэль, был разорившимся изобретателем, а мать Мейбл, весьма целеустремленная женщина, находила городок на Среднем Западе слишком тесным. Она, как вспоминает Харлоу в своей незаконченной автобиографии, не проявляла тепла. Сын запомнил ее стоящей у панорамного окна гостиной и глядящей на улицу, где всегда была зима, небо казалось засаленным, а земля плоской; с черных ветвей деревьев падали комья мокрого снега.

Харлоу всю жизнь испытывал приступы депрессии; может быть, они начались именно там, на плоской земле, уходящей в безмерную даль, в эти долгие зимы с пасмурными днями и из-

редка пробивающимся солнцем, которое садилось уже в четыре часа. А может быть, дело было в расстоянии, которое разделяло мать и сына; должно быть, Харлоу тосковал по чему-то утешительному. В школе он не прижился.

— Он был странным маленьким отщепенцем, — говорит его биограф Дебора Блум.

Единственным, чем интересовался Харлоу, были поэзия и рисование. В айовской школе изучали такие предметы, как «Управление фермой и севооборот» и «Что приготовить, чтобы мужчина был доволен». Однажды, когда Харлоу учился в четвертом классе, учитель дал классу поэтическое задание, и Харлоу очень радовался, что наконец-то окажется частью общей жизни, — пока не узнал тему сочинения: «Красота чистки зубов». Чистки зубов! В возрасте десяти лет Харлоу начал каждую свободную минуту посвящать рисованию. Склонившись над большим альбомом, высунув язык в яростном напряжении, он изображал странную и прекрасную страну под названием Язу; эта страна была населена крылатыми и рогатыми существами, и все было текучим и летучим. Когда он заканчивал картинку, он рассекал животных резкими черными линиями, делил их пополам и на четвертинки, так что животные лежали на странице окровавленными, но все же прекрасными, несмотря на вивисекцию.

Харлоу окончил школу в графстве Фэйрфилд, проучился год в колледже Рид, а закончил образование в Стэнфордском университете, где все были очень красноречивы; Харлоу, страдавший дефектом речи, стеснялся выступать публично. Никакое другое место, повторял он впоследствии, не делало его таким неуверенным в себе, как Стэнфорд. Компенсировал он это тем, что работал как лошадь. Его учителем был Льюис Термен*, знаменитый своими исследованиями IQ, коэффициента интеллекта, который как раз тогда изучал одаренных детей. Вот и оказа-

* Термен Льюис (1877—1956) — известный американский психолог, специалист по проблемам измерения интеллекта и его развития, а также творческих способностей.

лись в одной лаборатории Харлоу с его шепелявостью и блистательные дети, складывавшие яркие кубики и мозаики. Термен сообщил Харлоу, что из того ничего не получится, что самое большее, на что тот может рассчитывать, — это работа в каком-нибудь захолустном колледже. Однако Харлоу его уговаривал, и в конце концов Термен сказал что-то вроде следующего: «Перемените имя с Израэль на какое-нибудь другое... и тогда посмотрим, что можно сделать». Так Харлоу сделался Харлоу, и Термен в 1930 году устроил его в университет Висконсина, где посреди суши в небо, как большие голубые глаза, смотрят озера, а зимний ветер больно кусается.

Харлоу был готов отправиться, куда бы его ни послали. Шепелявя и хромая, он перешел из солнечного Пало Альто в Мэдисон, штат Висконсин. Он женился на одной из одаренных испытуемых Термена, которая теперь была уже не ребенком, — Кларе Мейерс с IQ 155, и Термен прислал им поздравление: «Я рад узнать, что великолепная наследственность Клары соединится с работоспособностью Гарри как психолога». Милое письмо, хотя, на мой взгляд, более подходит к спариванию животных, чем к союзу двух людей... Клара обладает потрясающим генетическим потенциалом, а Харлоу... что есть у него? Что есть у него? Этот вопрос преследовал Гарри Харлоу всю жизнь, он задавал себе снова и снова — и в самые темные дни, и в моменты, когда он был счастлив, — всегда подозревая, что его дарования мимолетны, что он обрел их только благодаря крепкой, упорной, удушающей хватке.

Перебравшись в Мэдисон, Харлоу собирался изучать крыс, но стал работать с обезьянами — макаками резус, мелкими подвижными животными. Будучи учеником Термена, он начал с разработки теста интеллекта для обезьян, своего рода IQ для приматов; он добился большого успеха, доказав, что эти маленькие зверьки могут решать задачи гораздо более сложные, чем считали авторы более ранних исследований. Репутация Харлоу укреплялась. Мэдисонский университет отвел под лабораторию

для работы с приматами здание старой фабрики, и студенты рвались в ученики Харлоу. Изучая обезьян, Харлоу изолировал детенышей от их матерей и сверстников, и именно при этом наткнулся на то, что принесло ему славу. Он исследовал головы обезьян, но оказалось, что он наблюдает их сердца, и это вызвало большой интерес. Детеныши, когда их отрывали от матерей, делались чрезвычайно привязаны к махровым полотенцам, которые устилали пол клетки. Они ложились на них, стискивали в своих крошечных кулачках, впадали в истерику, если полотенце отнимали, — в точности как человеческие младенцы, привязанные к своим любимым одеяльцам и игрушечным мишкам. Маленькие обезьянки любили свои полотенца. Почему? Это огромный вопрос. Привязанность раньше понималась исключительно в терминах пищевого поощрения. Мы любим своих матерей, потому что любим материнское молоко. Младенец тянется к матери, потому что видит ее набухшие груди и темный сосок и тут же начинает испытывать голод и жажду. Кларк Халл и Кеннет Спенс утверждали, что вся человеческая привязанность зиждется на удовлетворении потребности; голод — основная потребность, и мы стремимся ее удовлетворить; то же самое касается жажды и секса. В 1930—1950 годах теория удовлетворения потребностей и его связи с любовью сомнению не подвергалась.

Харлоу, впрочем, начал задаваться вопросами. Он кормил детенышей из рук, из маленьких пластиковых бутылочек, и когда он убирал бутылочку, детеныши просто причмокивали и, может быть, вытирали белые капли со своих маленьких подбородков; но вот когда он пытался отобрать махровое полотенце, ну, тут обезьянки начинали кричать, словно их режут, кидались па пол и вцеплялись в полотенца мертвой хваткой. Это зрелище завораживало Харлоу. Обезьянки визжали. (А где-то в другом времени Мейбл стояла у окна, а ее сын — в двух футах от ее плюшевого, но холодного бока. Животные летали в своем особом лесу, рассеченные черными линиями, изливая синюю и

красную кровь.) Харлоу смотрел на вопящих обезьянок и думал о любви. Что такое любовь? И наконец Харлоу увидел. Как пишет его биограф Блюм, лучший способ понять сердце — разбить его. Так и началась жестокая и прекрасная карьера Харлоу.

Генетическое наследие макак резус примерно на девяносто четыре процента совпадает с человеческим. Другими словами, люди на девяносто четыре процента — макаки резус и только на шесть процентов — люди. Если двинуться вверх по филогенетической шкале, то окажется, что мы примерно на девяносто восемь процентов орангутаны или на девяносто девять процентов шимпанзе, и только совсем крошечный кусочек плоти принадлежит исключительно человеку. Именно по этой причине исследователи-психологи давно используют приматов в своих экспериментах.

— Обезьяны обладают обширным языковым репертуаром и сложным интеллектом, который мы недооцениваем только вследствие своего картезианского взгляда на мир, — говорит изучавший приматов Роджер Фуотс.

Может быть, Фуотсу это и было очевидно, но Харлоу думал иначе.

— Единственная вещь, которую я ценю в обезьянах, — говорил он, — это получаемые от них данные, которые я могу опубликовать. Я несколько их не люблю. Я никогда их не любил. Животные вообще мне не нравятся. Я испытываю отвращение к кошкам. Я ненавижу собак. Как можно любить обезьян?

Для его эксперимента понадобились проволочная сетка, ножницы по металлу, паяльник, картонные конусы, гвозди и мягкая ткань. С помощью ножниц по металлу и паяльника Харлоу соорудил проволочную мать; ее поверхность состояла из маленьких квадратиков, а спереди имелась единственная грудь. К ней крепился стальной сосок с маленькой дырочкой, сквозь которую вытекало обезьянье молоко.

Харлоу сделал и мягкую суррогатную мать, обернув махровой тканью картонный конус.

Мы изготовили суррогатную мать по инженерным принципам человеческого организма. Мы создали вполне пропорциональное обтекаемое тело, лишённое ненужных выпуклостей и конечностей. Излишеств в телосложении суррогатной матери мы избежали благодаря сокращению числа грудей с двух до одной и помещению этой единственной груди в верхней части торса, тем самым максимизировав естественные и изученные перцептивные и моторные возможности детеныша... В результате получилась мать — мягкая, теплая и ласковая, обладающая бесконечным терпением, доступная 24 часа в сутки... Кроме того, мы изготовили мать-машину с максимальным удобством обслуживания, поскольку любая неисправность могла быть устранена простой заменой черных коробочек и составных частей. Мы полагаем, что изготовили очень совершенную мать-обезьяну, хотя это мнение не разделяется обезьянами-отцами,

писал Харлоу в статье «Природа любви», опубликованной в журнале «Американ Сайкологист» в 1958 году.

Итак, они начали. Они взяли группу новорожденных детенышей макаки резус и поместили их в клетку с двумя суррогатными матерями: проволочной, полной молока, и мило улыбающейся матерчатой, грудь которой была пуста. Лаборанты вели записи, в которых отразились все травмирующие особенности эксперимента: обезьянки-матери, поняв, что детенышей у них отняли, визжали и бились головами о стенки клеток; малыши стонали, когда попадали в отдельное помещение. Час за часом длился этот звериный кошмар, и вся лаборатория наполнялась вонью: жидкий стул, как писал Харлоу, указывает на высокую степень эмоционального напряжения. Клетки были перемазаны этим золотистым свидетельством горя, а маленькие макаки сворачивались клуб-

ком, высоко задрав хвостики и показывая свои крохотные извергающие жидкость задки.

Однако тут, как заметил Харлоу, начинали происходить удивительные вещи. Через несколько дней детеныши переносили свою привязанность с настоящих матерей, которые теперь были недоступны, на матерчатых суррогатных; за них они цеплялись, по ним ползали, их лица ласкали своими маленькими лапками, их ласково покусывали и проводили многие часы, сидя у них на спинах или животах. Впрочем, матерчатая мать не могла накормить их молоком, так что когда малыши испытывали голод, они кидались к стальной кормящей машине — проволочной матери, а потом, наполнив животики, бежали обратно в безопасность, которую им давала мягкая ткань. Харлоу отмечал количество времени, которое маленькие макаки проводили, питаясь, и которое уходило у них на общение с мягкой матерью, и сердце у него, должно быть, колотилось быстрее, потому что он был на пороге открытия, а потом и перешагнул этот порог.

— Мы не удивились, когда обнаружили, что комфорт, который приносит контакт, является базисом таких переменных, как привязанность и любовь, но мы не ожидали, что он полностью заслонит такой фактор, как питание; действительно, различие оказалось настолько большим, что заставило предположить: главная функция кормления — обеспечение частого и тесного телесного контакта детеныша с матерью.

Тем самым Харлоу установил, что любовь произрастает из прикосновения, а не из вкуса; именно поэтому, когда молоко у матери пропадает, как это неизбежно случается, ребенок продолжает ее любить, распространяя эту любовь, воспоминание о ней вширь, так что любые взаимоотношения в дальнейшем оказываются воспроизведением, вариантом этих ранних тактильных впечатлений.

— Безусловно, — пишет Харлоу, — не молоком единым жив человек.

1930—1950-е годы были ледниковым периодом в воспитании. Знаменитый педиатр Бенджамин Спок рекомендовал кормить детей по расписанию; Скиннер рассматривал ребенка в терминах паттернов подкрепления и наказания, так что если вы хотели, чтобы малыш перестал плакать, вам следовало прекратить поощрять его, беря на руки. В знаменитых книгах Джона Уотсона о воспитании детей было написано: «Не балуйте их. Не целуйте их, укладывая спать. Лучше кивните и пожмите ребенку руку, прежде чем выключить свет».

Что ж, Харлоу собрался отправить всю эту чушь в мусорную корзину и заменить ее истиной, которая состояла в том, что вам никогда не следует пожимать ребенку руку, а вот обнимать его нужно почаще. Прикосновение жизненно важно, оно не балует, а спасает, и тут годится любое прикосновение. «Любовь к настоящей и к суррогатной матери выглядят очень сходно, — писал Харлоу. — Как показывают наши наблюдения, привязанность детеныша обезьяны к настоящей матери очень сильна, но ей ничем не уступает любовь, которую в условиях эксперимента детеныш проявляет к суррогатной матери из ткани».

В то время лабораторию Харлоу охватило великое возбуждение. Исследователи обнаружили главную переменную в возникновении любви и отвели второстепенное место другой переменной — кормлению — как имеющей минимальное значение; все это они могли показать наглядно, с помощью графиков. В Мэдисоне стояла зима, очень холодная зима, и деревья, покрытые наледью, напоминали хрустальные люстры. Студенты смотрели, как падает снег, как на подоконниках окон в лаборатории образуются сугробы, и чувствовали, что пришло время открытий.

Харлоу и компания усматривали в «комфорте, который даст контакт», главный компонент любви. Несомненно, существовали и другие компоненты, например, движения или черты лица. Когда мы рождаемся, мы видим лицо матери как серию

двигающихся теней, треугольников, накладывающихся друг на друга; мы видим завиток, который, возможно, является волосами, пуговку, которая, возможно, является носом или соском — разобраться трудно. Мы открываем глаза и смотрим вверх, и перед нами женское лицо на Луне, улыбающаяся нам планета с прекрасными голубыми пятнами на ней.

Наверняка, предположил Харлоу, лицо — это еще одна переменная, определяющая любовь. Первые суррогатные матери имели примитивные лица с черными велосипедными отражателями в качестве глаз. Теперь Харлоу поручил своему лаборанту, Уильяму Мейсону, сделать действительно хорошую маску обезьяны. Планировалось взять еще одного детеныша макаки, дать ему красивую суррогатную мать и посмотреть, какую привязанность малыш будет к ней испытывать. Однако предназначенный для эксперимента детеныш родился раньше, чем была готова маска, поэтому в спешке обезьяненок был помещен в клетку с мягкой суррогатной мамашей, которая в качестве лица имела просто гладкую поверхность, лишенную каких-либо черт. Ни глаз, ни носа — ничего; только это, похоже, значения не имело. Маленькая обезьянка обожала безликую мать, целовала ее и покусывала. Когда совершенная обезьянья маска — такая красивая, такая интересная — была закончена, малышка не пожелала иметь с ней дела. Исследователи попытались приделать к суррогатной матери голову с маской, но детеныш в ужасе завизжал, забился в угол клетки и стал там раскачиваться, вцепившись в собственные гениталии. Исследователи придвигали фигуру матери в маске ближе и ближе, и в конце концов детеныш протянул руку и повернул «голову» к себе той стороной, на которой не было маски. Только тогда он осмелел и проявил готовность играть. Сколько бы раз ни поворачивали суррогатную мать «лицом» к детенышу, он всякий раз поворачивал материнскую голову пустой стороной к себе, предпочитая лицо, лишенное черт, в отношении которого произошел импринтинг. Многие называли эксперимен-

ты Харлоу жестокими — он отнимал детенышей у матерей, он заменял их проволочными конструкциями с острыми сосками, выслушивал безутешные крики приматов и наблюдал, как детеныши льнут к манекенам, потому что это все, что у них есть; да, может быть, это было жестоко. Однако есть нечто мощное и положительное в том, что Харлоу дал нам: точное знание того, что наши потребности сложнее, чем просто голод, что мы любой ценой добиваемся близости, что мы ни капли не ценим общепризнанную красоту и всегда будем считать первое лицо, которое увидели, самым милым — как бы далеко по ступеням эволюции мы ни спустились.

Все это происходило в конце 1950—1960-х годов. Харлоу изучал любовь, хоть сам и разлюбил. Он вечно был в своей лаборатории. Клара с ее высоким IQ сидела дома с двумя малышами, пока ее супруг ночь за ночью проводил на старой фабрике, придумывая тест за тестом для обезьян. В Мэдисоне стояла холодная, холодная зима, а у Харлоу начался роман.

— Поэтому-то мои родители и разошлись, — говорит старший сын Харлоу, Роберт Израэль. — Все было очень просто: у отца начался роман.

Клара осталась с двумя детьми и впоследствии вышла замуж за строителя, с которым и жила в трейлере на юге страны. Харлоу едва ли это заметил. Да, у него была женщина — мы не знаем, кто она такая, возможно, студентка, — но главное, у него была та, кого он называл Железная Дева. Железная Дева представляла собой особую суррогатную мать, придуманную Харлоу: она выставляла шипы и обдавала детенышей струями холодного воздуха, такими сильными, что малыши с визгом отлетали к стенкам клетки. Это, утверждал Харлоу, была злая мать, и ему было интересно узнать, что же теперь произойдет

С этого момента Харлоу начал приобретать зловещую репутацию. Теперь он из ученого сделался сказочным персонажем — вроде жестокой мачехи из сказок братьев Гримм или Же-

лезной Девы из волшебного леса, от которой разбегались деревья. Почему Харлоу хотелось увидеть подобные вещи? Защитники животных называют его просто-напросто садистом. Я этого не думаю, хотя и не знаю, что двигало Харлоу, какие переменные. Может быть, у Мейбл были острые шипы? Это слишком просто. Была ли природа Харлоу изначально, физиологически ориентирована на трудности? Возможно, но тоже, пожалуй, слишком просто. Повлияло ли на него то, что ему пришлось увидеть? Харлоу служил в армии и в Нью-Мексико был свидетелем того, как производились атомные взрывы. Он видел зловещие грибообразные облака, черные осадки, ужасающе яркий свет. Обо всем этом он никогда не писал.

Но вот о Железной Деве Харлоу писал почти со злорадством. Он сделал несколько разновидностей: одни злые матери обрушивали на детенышей потоки холодной воды, другие кололи их. Но каковы бы ни были мучения, Харлоу видел, что малыши не утрачивали привязанности к суррогатным матерям; их ничем нельзя было отвратить от них. Боже мой, до чего же сильна любовь! Над вами издеваются, но вы ползете обратно. Вас обдают холодом, но вы все ждете тепла от того же негодного источника. Такое поведение нельзя объяснить частичным подкреплением; есть только темная сторона прикосновения, реальность отношений между приматами, которая заключается в том, что объятие может оказаться смертельным, — и это печально. Однако все же я нахожу в этом и красоту: мы — создания, которые не теряют веры. Мы будем строить мосты, против всякой вероятности успеха мы будем строить мосты: отсюда — туда, от меня — к тебе. Подойди поближе!

Как и Милграм, Харлоу имел вкус к драматическим, лирически извращенным поворотам, так что он снимал на пленку обезьянок, обнимающих своих матерей, холодных и злых железных дев. Эти фильмы — впечатляющие демонстрации отчаяния, и Харлоу не боялся показывать их. Он знал, что популя-

ризация науки содержит в себе элемент искусства, элемент увлечения.

В 1958 году Гарри Харлоу был избран президентом Американской психологической ассоциации, удостоен большой чести. Он отправился в Вашингтон, готовый выйти на трибуну и показать свои фильмы об обезьянах. Харлоу ликовал. К тому времени он женился вторично, на коллеге по имени Маргарет Куэни, которую он называл Пегги. Он стоял на кафедре в покоем на пещеру конференц-зале, оглядывая толпу серьезных ученых, и говорил:

— Любовь — великолепное чувство, глубокое, нежное, приносящее радость. Из-за его интимной и глубоко личной природы некоторые считают ее неподходящим для экспериментального исследования предметом. Однако каковы бы ни были наши чувства, принятая нами как психологами на себя миссия — проанализировать все аспекты поведения человека и животных и изучить входящие в них переменные... Психологи, по крайней мере те из них, кто пишет учебники, не только не обнаруживают интереса к возникновению и развитию любви или привязанности, но словно и не знают о ее существовании.

Это было замечательное выступление, приуроченное к значительному событию: Харлоу знал, как преподнести себя. В свой доклад он вставлял отрывки из черно-белого фильма; на экране появлялись словно рожденные научной фантастикой суррогатные матери и льнущие к ним детеныши-макаки. Свою речь, которую он назвал «Природа любви» и впоследствии опубликовал в журнале «Американ Сайкологист», Харлоу умело завершил крещендо:

Я буду благодарен, если завершённые и планируемые исследования окажутся сочтены вкладом в науку, но я также много думал о возможных их практических приложениях. Социальноэкономические потребности настоящего, грозящие усугубиться в будущем, привели к тому, что американские жен-

щины все больше заменяют мужчин в науке и производстве. Если эта тенденция сохранится, перед нами со всей серьезностью встанет проблема должного воспитания детей. В предвидении этого следует порадоваться тому, что американские мужчины обладают всеми поистине важными качествами, позволяющими им на равных конкурировать с женщинами в этой важнейшей области. Мы теперь знаем, что работающие женщины не нужны у себя дома в качестве кормящих матерей; вполне возможно, что в будущем уход за новорожденным будет рассматриваться не как необходимость, а как роскошь, форма привилегий, доступная, возможно, только представительницам высших классов. Однако какой бы путь ни выбрала история, приятно знать, что мы теперь соприкоснулись с природой любви.

Я представляю себе момент пораженного молчания, сменяющегося бурными аплодисментами. Харлоу поднимает руки: достаточно! *(Пожалуйста, продолжайте!)* Продолжение последовало. Харлоу представил данные, которые ясно показывали: матерчатая суррогатная мать важнее для малышей, чем кормящая, и вполне может заменить настоящую; детеныши «любят» ее, хорошо развивались в ее присутствии, играя и исследуя окружающую среду. Вскоре после того как Харлоу произнес свою речь, Висконсинский университет в Мэдисоне выпустил пресс-релиз, озаглавленный «Презируемое материнство». Тему подхватила пресса. А Харлоу? Что ж, его карьера шла в гору, охватывая теперь уже не только чисто профессиональные сферы, но и культуру в целом. Он появился на телевидении в программе «Сказать правду», компания CBS сняла о нем документальный фильм, комментировавшийся Чарльзом Коллингвудом. Его главное содержание, адресованное женщинам, и огорчало, и радовало: с одной стороны, ваши дети в вас не нуждаются; с другой — выходите из дома и будьте свободны. Это был выстрел, нацеленный в феминисток, но выстрел шумный, путаный, многослойный, распространявший одновременно любовь и сожаления — мощную комбинацию.

У Харлоу было еще двое детей от его второй жены. Хотя Пегги занимала достойное место в психологии, она, как и Клара, отказалась от работы ради того, чтобы растить детей. Впоследствии Харлоу говорил:

— Обоим моим женам хватило здравого смысла не бороться за свободу женщин; они понимали, что мужчина важнее всего.

Сначала родилась Памела Харлоу, потом ее младший брат Джонатан. Теперь эти дети — люди среднего возраста. Памела живет в Орегоне и изготавливает металлические скульптуры, суровые и впечатляющие. Джонатан работает с деревом: среди прочего делает маленькие сосновые ящички, которые продает в лавки, торгующие изделиями ремесленников.

— Ящички... — говорит он.

Ящички...

Что-то пошло не так. Происходило что-то нехорошее. Суррогатная мать из ткани была не хуже настоящей, прикосновение было главным для обезьяньего сердца, и все же... В течение следующего года Харлоу заметил, что детеныши матерчатой матери не процветают — и это после того, как он сделал такое заявление перед научной общественностью! Когда Харлоу открывал клетки, чтобы макаки могли поиграть и образовать пары, они проявляли яростную необщительность. Самки нападали на самцов; они явно не имели никакого представления о правильных позах для спаривания. Некоторые из детенышей, «воспитанных» матерями из ткани, начали проявлять что-то похожее на аутизм: они раскачивались и кусали себя, так что на их черных руках расцветали раны и кровь сочилась сквозь шерсть, как яркий сок. Одна из таких обезьянок сжевала свою руку целиком... Что-то — теперь Харлоу это видел, — что-то было ужасно, ужасно неправильно.

— Конечно, он был разочарован, — говорит биограф Харлоу Дебора Блюм. — Он думал, что выделил единственную переменную, определяющую материнское воспитание, — иррико-

новение, и что эта переменная, так сказать, перемешающаяся: ее может обеспечить любой. Он сделал об этом публичное заявление, а тут, через год, увидел, что его обезьянки совсем свихнулись.

Репортер из «Нью-Йорк тайме» явился в Мэдисон, чтобы написать о судьбе детенышей, выросших «под присмотром» мягкой суррогатной матери, и Харлоу отвел его в лабораторию, где он увидел раскачивающихся, бьющихся головой о стенки клеток, отгрызающих собственные пальцы макак.

— Признаюсь, — сказал Харлоу, — я сделал ошибку.

Лен Розенблум, один из студентов Харлоу, а теперь признанный исследователь приматов, говорит:

— Так мы и поняли, что существуют и другие переменные; дело было не только в прикосновении и не только в лице. Мы предположили, что какую-то роль играет и движение. Мы изготовили суррогатную мать, которая могла раскачиваться, и выросшие рядом с ней малыши оказались почти нормальными — не совсем, но почти. Мы тогда объединили качающуюся мягкую суррогатную мать с получасом в день игры детеныша с живым сверстником, и это сделало детеныша совершенно нормальным. Это означает, что для любви важны три переменные: прикосновение, движение, игра, — и если вы это обеспечиваете, то приматы получают все, что им нужно. — Розенблум еще раз повторяет, что детенышу нужно было всего полчаса в день игры с живой обезьяной. — Это поразительно, — продолжает Розенблум, — как немного нужно нашей нервной системе для нормального развития.

В некотором смысле я рада это услышать. Я делаю вывод: очень трудно испортить жизнь собственному ребенку. Немножко попрыгать, надеть мягкий свитер и всего тридцать минут в день посвятить настоящим обезьяньим развлечениям. Такое доступно любой матери: ленивой, работающей, проволочной, железной, — все мы можем это! Харлоу сказал, что можем...

Но почему, если открытия Харлоу — такие обнадеживающие, такие говорящие только о любви, они вонзаются в наши внутренности, как один из шипов его экспериментальной Железной Девы? Почему результаты исследований привязанности заставляют нас ежиться?

И это происходит не только с вами или со мной. Ежился сам Харлоу. У него снова начались романы — быть верным одной женщине он был не в состоянии; к тому же, обнаружив, что «воспитанные» суррогатными матерями макаки проявляют признаки аутизма, он начал сильнее пить. Зимой в Висконсине дни такие короткие, и вечер быстро прогоняет тусклый свет — остается только желтое сияние в стакане. Харлоу испытывал ужасное, ужасное давление. Он помнил аплодисменты на своем публичном выступлении и должен был поддерживать марку. Он боролся и между 1958 и 1962 годами опубликовал много статей. Он мужественно признался в том, что «выращенные» суррогатными матерями детеныши страдают эмоциональными нарушениями, и указал, какие переменные важны, чтобы избежать такого исхода, — кроме прикосновений, движение и толика живой игры. Для доказательства этих положений ему потребовались наблюдения за десятками детенышей.

— Гарри всегда должен был превзойти себя, — говорит Хелен Лерой, его ассистентка. — Он всегда высматривал следующий пик, который нужно покорить. — Как и другие люди со сходным характером, он покорял свои пики с бурдюком вина, ручкой на изготовку и в обществе демона, постоянно его подхлестывавшего. Шепелявить он так никогда и не перестал. Энн Лендерс начала писать о нем в своей колонке советов матерям. Каким будет его следующий эксперимент? Его жена слегла с раком груди — карциномой — и из сосков у нее начала сочиться зловещая жидкость. Ей оставалось жить всего несколько лет. Харлоу только еще больше погружался в работу. Где смог бы он преклонить голову? Выросшие при суррогатных матерях макаки сходили с ума и бессмысленно что-то бормотали. Опубли-

кованные результаты работ Харлоу начали влиять на промышленность, производящую детские товары: особенное распространение получили «кенгуру» и рюкзаки, в которых родители могли носить детей, и это добавило тепла в то, как мы воспитываем малышей. Уильяма Сирса, знаменитого проповедника проявления привязанности к детям, педиатра, советующего родителям спать вместе с детьми, всегда будучи с ними рядом, создал Харлоу, знает тот об этом или нет. Приюты, социальные службы, родильные дома — все они радикально изменили свою политику, отчасти под влиянием данных, полученных Харлоу. Его заслуга есть и в том, что теперь мать и дитя не разлучаются сразу после рождения ребенка. Повлияли работы Харлоу и на отношение сотрудников приютов к детям: подкидышу мало бутылочки с молоком, его нужно брать на руки, качать, смотреть на него, улыбаться. То, что сделали Харлоу и его коллеги, изучая привязанность, помогло нам стать более человечными: у нас теперь есть целая наука о прикосновениях. Некоторыми достижениями Харлоу обязан жестокости, и в этом заключается парадокс.

Болезнь раком всегда тяжело, но в 1960-е годы это было еще тяжелее, чем теперь. На теле больного черными чернилами рисовали мишень для радиоактивного облучения. Химиотерапия была примитивна; от капельниц, огромных зеленых бутылок с трубками, тянущимися к игле в вене, пациент мучился жаром и тошнотой. Харлоу и его жена ездили в клинику несколько раз в неделю. Надеюсь, он держал ее за руку. Должно быть, он видел, как врач готовит шприц к инъекции, выгоняет из него воздух, и капля лекарства, описав изящную дугу, разбрызгивается по плиткам пола. Пегги наклонялась над тазиком, который держал Харлоу, и в тазик в мучительных спазмах извергалось содержимое ее желудка.

— То были темные, темные годы, — говорит сын Харлоу Джонатан, которому было одиннадцать, когда его мать заболела

ла, и семнадцать, когда она умерла. Пегги на глазах становилась все хуже, рак делал свое чудовищное дело, распространяясь с груди на легкие и печень; женщина стала желтой, как шафран, ее улыбка превратилась в оскал, и зубы выглядели странно острыми, как у обезьяны, сумасшедшей обезьяны. Так я себе это представляю. Все должно было быть ужасно, потому что и без того опасное пьянство Харлоу делалось все более тяжелым. Студенты вспоминают, что им часто приходилось уводить его из местного бара и доставлять домой. Коллеги рассказывают, что не раз на конференциях, проходивших в отелях, им приходилось укладывать его в постель; Харлоу не мог оторвать тяжелой головы от подушки.

Шли годы, и первые макаки, «выращенные» суррогатными матерями, выросли. Они так и не научились ни играть, ни спариваться. Однако самки достигли зрелости, у них стали созревать яйцеклетки. Харлоу хотел получить от них потомство, потому что у него родилась новая идея, возник новый вопрос. Какими матерями окажутся эти выросшие без матери обезьянки? Единственный способ узнать это заключался в том, чтобы добиться оплодотворения. Но проклятые упрямыцы не желали задира хвосты и подставлять свои мохнатые зады. Харлоу попытался сажать к ним в клетки старших и многоопытных самцов, но обезьянки вцеплялись им в морды. Наконец Харлоу придумал приспособление, названное им «рамой для изнасилования»: привязанная к нему самка не могла воспротивиться тому, чтобы на нее залез самец. Эта уловка принесла успех; двадцать самок забеременели и произвели на свет потомство. В статье, опубликованной в 1966-м году и озаглавленной «Материнское поведение макак резус, лишенных в детстве материнского ухода и общения со сверстниками», Харлоу сообщил о полученных результатах. Часть таким образом осемененных самок убили своих детенышей, другие были к ним индифферентны, только немногие вели себя «адекватно». Это также очень важное открытие, но я по крайней мере не уверена, дает ли оно

нам новое знание или просто подтверждает, ценой жизни многих обезьянок, то, что мы и так знаем интуитивно.

Роджер Фуотс убежден, что полученная Харлоу при экспериментах по депривации информация не только очевидна, но и нежелательна.

— Харлоу никогда не ссылался на Давенпорта и Роджерса, — говорит Фуотс. — Еще до Харлоу Давенпорт и Роджерс сажали шимпанзе в ящики, и когда они увидели, к чему это приводит, больше так никогда не делали.

— Проблема с Харлоу заключается в том, — говорит исследователь приматов Лен Розенблюм, — как он описывает свои находки. Он делает все, чтобы заинтриговать публику. — В связи с этим Розенблюм рассказывает о наполовину печальном, наполовину юмористическом эпизоде. Харлоу получал очередную награду перед большой аудиторией психологов. Среди присутствующих были три монахини — в белых одеяниях, белых чепцах, с тяжелыми распятиями на груди. Поднявшись на кафедру, Харлоу увидел монахинь, но это не помешало ему в своем докладе использовать снимки двух совокупляющихся обезьян. — Он посмотрел в упор на монахинь, — рассказывает, усмехаясь, Розенблюм, — и объявил: «Вот самец залез на самку и читает ей проповедь». Бедные монахини только ежились. Казалось, они совсем исчезли под своими белыми покрывалами.

— Это был Харлоу во всей красе, — продолжает Розенблюм. — Он всегда хотел задеть аудиторию. Он никогда не говорил «животные были усыплены» — всегда «убиты». Почему он не мог назвать «раму для изнасилований» приспособлением, ограничивающим подвижность животного? Если бы не такие выходы, он не имел бы сегодня такой неоднозначной репутации.

Несомненно, Харлоу тяготел к драматическим эффектам, но я все же думаю, что Розенблюм ошибается. Дело, в конце концов, не в том, как мы называем приспособления, а в том, что мы с их помощью делаем с животными. Движение за права животных возникло отчасти из-за экспериментов Харлоу. Каж-

дый год Фронт освобождения животных проводит демонстрацию перед Центром изучения приматов Мэдисонского университета. Участники демонстрации сидят, выражая «шива», в окружении тысяч игрушечных медведей. Мне это кажется абсурдным — и еврейское слово «шива», означающее «горе», и игрушечные медведи. Это придает смешной вид чему-то вовсе не смешному, а именно вопросу: имеют ли психологи право использовать животных для исследований? Следует признать заслугу Харлоу в том, что благодаря ему этот вопрос всплыл на кипящую поверхность экспериментальной науки.

Роджер Фоутс — психолог-исследователь и одновременно защитник прав животных, что представляет собой редкое сочетание. Он живет в Вашингтоне, маленьком горном городке, где деревья всегда зелены и влажны от капель дождя, а земля, пахнущая листьями, плодородна. Фоутс проводит большую часть времени со своим другом шимпанзе Уошо, которая пьет по утрам кофе и любит играть в перетягивание каната. За те годы, что Фоутс изучает животных, он привязался к ним и никогда не смог бы причинить им вред в интересах науки. Фоутс исследует, как шимпанзе овладевает языком, — эта область науки не требует ножей и крови.

— Любой исследователь, который готов принести своих животных в жертву науке, обладает сомнительной моралью, — говорит Фоутс.

Уильям Мейсон, в 1960-х годах учившийся у Харлоу, а теперь занимающийся изучением приматов в Калифорнийском университете в Дэвисе, говорит, что совсем не уверен, будто цель оправдывает средства. Мейсон утверждает, что никогда не мог вполне совместить свои желания ученого-экспериментатора, работающего с животными, с собственными этическими принципами. Другими словами, Мейсон считает, что неправильно причинять животным страдания, но все же видит резоны для этого.

Защитники прав животных не испытывают двойственных чувств. Они представляют собой яростную и целеустремленную группу, постоянно называющую Харлоу в своих публикациях фашистским палачом. Если отвлечься от возбужденных воплей и попытаться понять суть дела, выясняется, что защитники прав животных утверждают: использование животных при исследованиях дает очень мало надежной информации. Особенно часто упоминается фиаско с талидомидом. В 1950-е годы талидомид испытывался на животных и не обнаружил тератогенных эффектов, но когда препарат стали принимать люди, дети рождались с серьезными уродствами. Человеческий вирус иммунодефицита, введенный шимпанзе ради изучения течения болезни, не вызвал у обезьян никаких симптомов заболевания; пенициллин ядовит для морских свинок; аспирин вызывает врожденные уродства у мышей и крыс, а для кошек он — смертельный яд. Что касается обезьян, что ж, может быть, они и очень похожи на людей, но нашими копиями вовсе не являются: мозг макаки резус в десять раз меньше человеческого и развивается гораздо быстрее. Детеныш макаки резус рождается с мозгом, размер которого составляет две трети взрослого, а человеческий ребенок — с мозгом, который вчетверо меньше взрослого мозга. Так насколько можно и можно ли вообще распространять данные, полученные на представителях одного вида, на другие? Ответ, конечно, будет зависеть от того, кого вы спросите. Никто не станет отрицать, что обезьяна — модель человека, а модель представляет собой аппроксимацию в изучаемой области. Однако аппроксимация — хитрое словечко, которое раздувается и съезживается в зависимости от того, кто его интерпретирует.

Защитники животных вроде Роджера Фуотса и Алекса Пачеко могли бы сказать, что мозг обезьян — негодная аппроксимация человеческого мозга и получаемые данные не оправдывают всех мучений и боли, грязи и гноя, которые мы взваливаем на лабораторных животных. Однако, например, Стюарт Зола-

Морган, известный исследователь памяти из Калифорнии, полагает, что мозг обезьяны — ларец с сокровищами, и благодаря его изучению можно понять, как работает человеческий разум. Зола-Морган исследует ум приматов с помощью скальпеля и пинцета, чтобы обнаружить области, ответственные за запоминание, простое запоминание телефонных номеров, и за лирические воспоминания, формирующие саму нашу жизнь: пикник в лесу, вкус сливочного сыра, запах норкового манто вашей матери.

Хирургические исследования Зола-Моргана углубили наше понимание памяти. Это не вызывает сомнений. Память — главное в нас, она делает нас теми, кто мы есть, одушевленными мыслящими существами. И все же, чтобы получить эти знания, Зола-Моргану приходится давать наркоз своему пациенту-обезьяне, потом перетягивать ей шею шнуром, чтобы лишить мозг поступления крови, дожидаться, пока клетки мозга не начнут испытывать кислородное голодание, а потом приводить обезьяну в чувство, чтобы теперь исследовать ее способность вспоминать. Через некоторое время обезьяна «приносится в жертву», и ее мозг исследуется: нужно найти пострадавшие области, поврежденные, мертвые зоны, побелевшие, отмершие участки.

— Я думаю, что жизнь человека более ценна, чем жизнь животного, — говорит Зола-Морган. В интервью, данном Деборе Блум, он продолжает свою мысль: — Мы действительно обязаны хорошо ухаживать за лабораторными животными, но разве жизнь моего сына не дороже жизни обезьяны? Мне даже не нужно задумываться над ответом на этот вопрос.

Ну а мне нужно. Я посвящаю этому вопросу много размышлений. Для меня совершенно не очевидно, что человеческая жизнь по определению ценнее жизни животного, — нет, совершенно не очевидно, когда я вижу дельфина, выскакивающего из воды и пускающего фонтан из дыхала. Ведь исчезновение какого-то вида вследствие изменений окружающей среды не-

дет к исчезновению следующего, поэтому даже к одноклеточным водорослям в океане мы должны относиться с уважением: они в буквальном смысле слова удерживают нас на плаву. Вот об этом я и думаю сейчас, в этот самый момент. Птицы на карнизе моего дома свили гнездо и вывели птенцов, и теперь те широко раскрывают клювики, требуя пищи. Мне не нравится вспоминать о шнуре, который перетягивает шею обезьяны. Меня смущают Железная Дева и «рама для изнасилования», несмотря на все знания, которые с их помощью были получены. Что ж, возможно, Харлоу они тоже смущали. Несмотря на все его высказывания о том, что он не любит обезьян и вообще животных, некоторые из его студентов думают, что характер его работы начал действительно его беспокоить. Годы шли, пил он все больше; должно быть, что-то — многие вещи — беспокоило его.

В 1971 году жена Харлоу Пегги умерла. Примерно в это же время он был награжден Национальной медалью за заслуги в науке. Его глаза казались потухшими, над ними тяжело нависли веки; на бледных анемичных губах была еле заметная улыбка. Накануне награждения он сказал Хелен Лерой:

— Теперь не осталось ничего, к чему я мог бы стремиться.

Дела у него шли все хуже и хуже. Без жены Харлоу не мог приготовить себе еду, вымыться, постелить постель... Он понимал, что достиг вершины своей карьеры, что стоит на самом высоком и трудно постижимом пике, откуда единственная дорога оттуда ведет только вниз.

— Мне приходилось готовить отцу, — говорит Джонатан. — Без мамы он был совершенно беспомощен.

Харлоу заставлял себя приходиться в лабораторию, где все эти клетки громоздились одна на другую, где сквозь решетки было видно пасмурное небо и где пахло пометом. Пометом... Он так устал. «Рама для изнасилования». Помет. Крики боли и суррогатные матери из проволоки и из махровой ткани... они должны были тогда казаться ему особенно ужасными. Ткань, кото-

рую покусывали обезьянки, наверное, походила на наждак, раздражала кожу.

Да, Харлоу так устал... На занятиях со студентами невероятная, непреодолимая усталость наваливалась на него, и он не мог противиться сну. Посередине беседы со студентами Харлоу опускал голову на стол и засыпал. Было так легко уснуть на столе... просто закрыть глаза и позволить голосам убаюкать себя.

Он плохо себя чувствовал. Для всех окружающих было очевидно, что он разваливается на части и нуждается в восстановлении. Вскоре после болезни и смерти жены Харлоу отправился в клинику Майо в Миннесоте, где получал электрошоковую терапию. Теперь он сам был лабораторным животным, привязанным к столу, с обритой головой, с гелем, нанесенным на виски и веки; тело его ему больше не принадлежало. Теперь электрошоковая терапия хорошо разработана; в те годы это были просто бегущие по проводам разряды, воспламеняющие вялые нейроны. И Харлоу, получивший анестезию и вымытый до стерильности, получал процедуры, которые можно было бы назвать экспериментальными, потому что никто не знал, какое действие они производят, почему и как и производят ли вообще. Его тело дергалось. Он приходил в себя с ватой во рту и без всяких воспоминаний, а где-то его жена и мать прогуливались по городку на Среднем Западе, в небе которого летали крылатые существа.

Потом Харлоу покинул клинику. Лечение было закончено. Он вернулся в Мэдисон, и его сотрудники говорили, что он уже никогда не был прежним. Врачи объявили, что он выздоровел, но говорил он медленнее, перестал шутить и вроде бы стал мягче. Без жены он чувствовал себя потерянным. Он позвонил Кларе Мейерс в ее трейлере в Аризоне.

— Вернись, — сказал он ей.

Прошедшие годы были нелегкими и для Клары. Ее сын утонул в реке рядом с трейлером. Ее второй муж умер. Вдовец и

вдова соединились и еще раз обвенчались. А Термен? Что он думал на этот раз? Его одаренные дети, все как один с таким высоким IQ, так много обещавшие, мало чего достигли в жизни. Ну да это другая история.

Мы почти закончили. Харлоу и Клара, рука об руку. Они вернулись к началу, только за это время интересы Харлоу несколько изменились. Он больше не хотел изучать депривацию материнского воспитания. В 1960-х годах произошел подъем биологической психиатрии и появилась надежда на то, что лекарства смогут помочь при психических заболеваниях. Это заинтересовало Харлоу. Может быть, он надеялся, что в случае нового приступа депрессии ему поможет таблетка, а не электрошок. Может быть, он уже принимал какие-то таблетки, и они не очень-то помогали. В любом случае он хотел выяснить, что вызывает депрессию и что ее излечивает; поэтому он снова обратился к своим макакам резус.

Он разработал изолированную камеру, в которой обезьянка сидела скрючившись, пригнув голову, неспособная пошевелиться и ничего не видя. Эксперимент продолжался до шести недель; животное кормили через отверстие внизу камеры, закрытое специальным экраном. Это приспособление Харлоу назвал «колодцем отчаяния». Что ж, ему вполне удалось создать модель психического заболевания. Животные, выпущенные из «колодца отчаяния», обладали разрушенной психикой, страдали тяжелыми психозами. Что бы Харлоу ни делал, вернуть их в прежнее состояние не удавалось. Лекарства не нашлось, не было ни близости, ни утешения.

Харлоу умер от болезни Паркинсона. Он не мог остановить дрожь во всем теле.

Куда бы я ни пошла, всюду есть животные. По забору прыгает белка. Слизень, огромный и непристойный, выполз из сада и нежится на бетонной ступеньке. Тронь его, и пальцы станут липкими от слизи. Коты орут под окном. Белая собачка про-

бралась к нам во двор и лежит, вылизывая розовую лапку. Мне хотелось бы завести обезьяну, но мой муж говорит, что это неудачная идея. Он работает в лаборатории и говорит, что от обезьян воняет. Я отвечаю ему, опустив книгу, которую читаю, — «От научения к любви» Харлоу:

— Ты и представления не имеешь, как я люблю обезьян. — К моему собственному удивлению, в моем голосе звучит глубокое чувство, если не страсть.

— Уж не превращаешься ли ты в защитницу животных? — спрашивает муж.

— Вот что я тебе скажу, — говорю я. — После того как я прочла, что этот человек делал с обезьянами и что делают с ними теперь: заражают их иммунодефицитом, вызывают у них опухоль мозга, — а ведь это наши кузены! — я могу сказать: я против экспериментов на животных. Это неправильно. Харлоу был неправ. Все исследования на обезьянах, начатые с его подачи, неправильны.

— Значит, ты хочешь сказать, — говорит мой муж, — что если тебе придется выбирать между лекарством для нашей Клары и жизнью обезьяны, ты предпочтешь обезьяну нашей малышке?

Я знала, что этим кончится. Именно против таких доводов возражал Харлоу и возражает Зола-Морган: наши человеческие жизни несоизмеримо ценнее, а эксперименты на обезьянах дают информацию, которая помогает лечить людей.

— Конечно, я выбрала бы Клару, — медленно говорю я, — но это потому, что девяносто девять процентов меня — обезьяна, а любая обезьяна выберет своего детеныша. — Только одного я не могу объяснить мужу: может быть, девяносто девять процентов моих поступков определяются инстинктом, животными импульсами или любовью млекопитающего, но все-таки один процент меня родился не в джунглях и этот единственный процент осознает, что причинять боль одному живому существу каким-то образом означает причинять боль всем. Этот

один процент, возможно, то самое место, где обитает мой разум, и разум говорит мне, что ничем не оправдано причинение страданий разумному существу, особенно если нужные сведения могут быть получены и другими способами.

Что представляет собой, гадаю я, тот один процент в нас, который не шимпанзе, те четыре процента, которые не орангутан, те шесть, которые не макака резус? Хотелось бы мне это знать. Может быть, именно там живет наша душа? Не кусочек ли ангела, не частица ли Бога позволяет нам видеть лес за деревьями, весь огромный сложный гобелен жизни? Это такой маленький процент, так трудно уместиться там, где мы — люди и тем самым несем ответственность.

Сегодня я отправляюсь в лабораторию, где изучают приматов. Основанный Харлоу в Висконсине центр все еще работает, в нем порядка двух сотен обезьян; я еду в другой, расположенный в Массачусетсе. Описывать его я не буду: об этом говорилось достаточно. Здесь лекарство, смерть и открытия соседствуют бок о бок. Клетки стоят одна на другой, в каждой сидит пара обезьян. В помещении пахнет чистящим средством и собачьим кормом. Я встаю на колени перед одной из клеток и просовываю руки между прутьями решетки. Обезьянка подходит и касается, как лошадь, губами, сухими и бархатными, моей ладони. Я вспоминаю, что однажды, когда Харлоу ночью работал с обезьянами, он случайно запер себя в клетке. Он сидел там несколько часов и не мог выйти. Висконсинское небо было беспросветным; где-то вдалеке веселилась компания молодежи.

— Помогите! — кричал Харлоу между прутьями. — Помогите! Помогите! — Наконец кто-то услышал; Харлоу к этому моменту замерз и был испуган.

— Можно мне подержать обезьянку? — спрашиваю я своего сопровождающего. Он разрешает, и я не могу поверить своему счастью — мне позволено взять в руки саму человеческую историю, плейстоцен, неолит, пусть динозавры и вымерли за-

долго до того. Я прижимаю к себе маленький рыжий комок меха. Это молодое животное. Оно обвивает своими невероятно мягкими руками мою шею. Сердце обезьянки колотится быстро: она боится. Боится меня?

— Ш-ш, — говорю я обезьянке, моей обезьянке, я смотрю в морщинистое личико, личико младенца и старика одновременно, в печальные влажные глаза, и неожиданно я ощущаю, что это самого Харлоу я держу в руках. Забавно — реинкарнация Харлоу в виде обезьяны... Это смешно и не смешно. Я глажу жесткую головку и смотрю на линии жизни на розовой ладони. Они, извиваясь, ведут в Висконсин, в маленький домик в Айове, ко многих амбициям и желаниям. Зверек ежится в моих руках.

— Успокойся, — шепчу я ему и пытаюсь прижать его к себе теснее, так тесно, как только могу.

7

Крысиный парк

Радикальное изучение аддикции

В 1960—1970-х годах внимание ученых привлекла природа аддикции. На моделях-животных исследователи пытались вызвать и количественно оценить тягу, толерантность, ломку. Самые экстравагантные эксперименты заключались в введении слону ЛСД при помощи пневматического ружья, стреляющего шприцами, и введении в желудок кошки через катетер барбитуратов. Применительно к кокаину каждый год до сих пор осуществляется около пяти сотен экспериментов; некоторые из них проводятся на привязанных к стулу обезьянах, некоторые на крысах, нервная система которых настолько похожа на нашу, что крысы оказываются очень подходящими животными для изучения аддикции. Почти все эксперименты основываются на представлении о том, что от некоторых веществ организм не в силах отказаться; доказательством этого служит стремление животных вводить себе нейротоксин вплоть до смерти. Однако Брюс Александер и его*

* Аддикция — болезненное влечение к табаку, алкоголю, нарко-

соавторы Роберт Коамбс и Патриция Хэддэуэй в 1981 году решили бросить вызов этому общепринятому мнению, основывающемуся на классических экспериментах на животных. Их гипотеза заключалась в том, что если держать обезьяну целыми днями привязанной к стулу и предоставить в ее распоряжение кнопку, нажав на которую она получала облегчение, то это ничего не говорит о влиянии лекарств, но демонстрирует воздействие ограничений — физических, социальных, психологических. Идея Александра и его коллег заключалась в том, чтобы поместить животное во вполне благоприятное окружение и уж тогда судить о том, окажется ли их тяга к лекарству непреодолимой. Если окажется — тогда действительно следует видеть в лекарствах злого демона. Если же нет, то, возможно, проблему следует рассматривать не столько как химическую, сколько как культурную.

Я знаю одну наркоманку. Ее зовут Эмма Лоури. Ей шестьдесят три года, она — декан небольшого колледжа в Новой Англии, и даже когда не находится в своем кабинете, всегда модно одета; сегодня, например, на ней полотняные брюки и шарф цвета молодого вина. Несколько месяцев назад что-то случилось с ее спиной. Позвонки, которые соединяются между собой, как детали «Лего», начали расходиться. Чтобы облегчить свое состояние, Эмма легла под нож, а когда пришла в себя после операции, ее единственным пропуском туда, где нет боли, оказалась коричневая бутылочка с таблетками оксиконтин.

Опиум, который в старые времена называли «Священным якорем жизни», «Растением радости», «Райским молоком», о котором врачи классической Греции писали, что он излечивает «хроническую головную боль, эпилепсию, апоплексию, одышку, колики, камни в печени, женские недомогания, меланхолию и любые отравления», опиум, странное вещество, получаемое из длинноногих маков с их коробочками, полными семян... В Англии XIX века мак заваривали и этот отвар пили кормили-

цы, чтобы их крикливые подопечные успокоились. Опиум, предшественник риталина, первый психотропный препарат, продавали на улицах туманного Лондона как «Спокойствие младенца» и «Успокоительный сироп миссис Уинслоу».

Эмма Лоури, впрочем, смотрит на это средство иначе. Хирургическое вмешательство помогло ее спине, но оставило ее с ужасной зависимостью.

— Я всегда была против наркотиков, — говорит Эмма. — Мне никогда не нравилось их применение с какой бы то ни было целью, а уж теперь, скажу я вам, я никогда не смогу взглянуть на мак без отвращения.

Я навестила Эмму в ее современном доме с солнечными батареями на крыше и белыми стенами. Сегодня Эмма читает книгу Джорджа Эллиота, обсуждает по телефону со своими подчиненными служебные дела, а попутно рассказывает мне свою историю. Впрочем, в рассказе и нет нужды. Я и сама вижу, как через два часа после приема очередной дозы ее тело начинает дрожать; Эмма вытряхивает из бутылочки две таблетки и кладет их на язык. Похоже, она так же не в состоянии отказаться от таблеток, как подсолнечник не может не поворачиваться вслед за солнцем.

История Эммы проста и неопровержима. Наши предки могли считать опиум эликсиром, но мы-то знаем... мы знаем, что означают иглы шприцев, затупившиеся от передачи из рук в руки, что означают сузившиеся полости носа. Мы знаем, что наркотики вызывают зависимость. Если вы достаточно долго будете принимать героин, вы привыкнете к нему. Если вы курите кокаин крэк, вы испытаете странные ощущения и вскоре почувствуете, что вам нужно все больше и больше. Мы думаем так, потому что средства массовой информации и врачи снова и снова говорят нам об этом, подтверждая свои слова данными ПЭТ — позитронно-эмиссионной томографии, — на которых видно, как от тяги мозг наливается кровью.

Однако в конце концов даже и доказательство — всего лишь продукт культуры. Брюс Александер, доктор философии, пси-

холог, живущий в Ванкувере в Британской Колумбии, не устает это повторять. Он всю свою жизнь изучает наркоманию и пришел к выводу, что аддикция зависит вовсе не от фармакологических свойств различных веществ, а от сложного переплетения социальных факторов, порожденных равнодушным обществом. По мнению Александра, химический агент не вызывает наркомании, как, скажем, споры сибирской язвы вызывают поражение легких. Как считает Александр, аддикция — не факт, а история, и к тому же плохо придуманная. Поэтому он подвергает большому сомнению случаи Эмм Лоури, анонимных алкоголиков или мнение Э.М. Желлинека, который был первым врачом, который в 1960-х годах назвал алкоголизм болезнью, а также позднейшие данные Джеймса Олдса и Питера Милнера, которые обнаружили, что животные в клетках предпочитают кокаин пище, так что умирают от голода. Александр утверждает две вещи: во-первых, ни в каких наркотиках нет ничего «непременно ведущего к аддикции»; во-вторых, постоянный прием даже самых сильных наркотиков не обязательно приводит к возникновению проблем.

— Огромное большинство людей, — говорит Александр, — может принимать самые вызывающие зависимость вещества, и принимать их, возможно, не один раз, но не существует неизбежного схождения в ад.

Может быть, история докажет его правоту. До начала движения за запрет наркотиков, когда продажа опиума была вполне легальна, распространенность наркомании постоянно составляла один процент. Несмотря на всех Эмм Лоури в мире, Александр может перечислить некоторые исследования, которые подтверждают его точку зрения, с точностью виртуоза-музыканта, не промахивающегося мимо клавиш, — например, проведенное пятнадцать лет назад изучение госпитализированных и получавших большие дозы морфия пациентов; подавляющее большинство из них не испытывали никакой тяги к наркотикам, как только удавалось снять боль. Популяционная

программа в Онтарио показала, что девяносто пять процентов употребляющих кокаин делают это реже, чем один раз в месяц. С 1974 года в Сан-Франциско велось наблюдение за двадцатью семью испытуемыми, употреблявшими кокаин. Через одиннадцать лет никто из них, кроме одного, ставшего законченным наркоманом, не потерял работу. Одиннадцать респондентов сообщили о том, что в какой-то период принимали наркотик ежедневно, но потом отказались от этого; семеро из этих одиннадцати перешли от приема семи граммов наркотика к трем. Александер особенно подчеркивает наблюдения во время такого естественного эксперимента, как война во Вьетнаме: девяносто процентов солдат, пристрастившихся к героину на поле военных действий, перестали его употреблять, как только вернулись домой, перестали спокойно и естественно и вовсе не приобрели зависимости. Весьма убедительны результаты проведенного в 1990 году исследования употребления крэка: 5,1% молодых американцев пробовали крэк один раз в жизни, но только 0,4% из них принимали его в момент обследования и менее чем 0,05% принимали его более двадцати раз в месяц обследования.

— Таким образом, — хриплым голосом говорит мне Александер, — похоже, что вызывающий наибольшее привыкание наркотик делает законченным наркоманом одного человека из сотни.

Можно было бы продолжать. Существует много исследований, подтверждающих правоту Александера, и он любит их цитировать, да и вообще он обожает возмущаться и кричать. У него мягкий голос с английским акцентом, однако в его словах есть что-то завораживающее, широко открытые глаза за стеклами очков кажутся удивленными, а руки крепко сжимают одна другую, когда он отстаивает свою правоту.

— А сами вы не употребляете наркотиков? — спрашиваю я, потому что временами он выглядит немного странным.

— В компании доверенных друзей, — отвечает он, — я принимаю ЛСД. Я делаю это нерегулярно, но наркотик дал мне возможность глубоко понять себя. — Он делает паузу, а я жду продолжения. — Однажды я принял дозу ЛСД и почувствовал, что моя голова находится в пасти одного дракона, а тело — другого. Тогда я подумал: «Ну что ж, я просто лягу и умру». Так я и сделал. Мое сердце перестало биться. Я понимал, что не следует бороться с чудовищами. Как только я перестал сопротивляться, драконы превратились в клумбу желтых цветов, и я улетел прочь. С тех пор меня не пугает то, что я смертен.

— Давно ли это было? — спрашиваю я.

— Примерно двадцать пять лет назад, — отвечает Александер.

Что ж, думаю, это хорошая реклама ЛСД. Наркотик не только обращает вас в буддизм быстрее, чем вы могли бы разгадать простейший коан*, но, похоже, делает это без нежелательных последствий.

Я настороженно смотрю на Алксандера. Я работала в качестве психолога в наркологических лечебницах и собственными глазами видела могущество тяги к наркотику. Мне хотелось бы отмахнуться от Александера как от обычного пропагандиста, если бы не наличие двусмысленных и завораживающих фактов; Александер подтвердил свою точку зрения изящными экспериментами, да и нельзя отмахнуться от тех исследований, которые он так любит цитировать. С ним можно не соглашаться или отправиться в самые странные места, где ваши предубеждения умрут и на их месте возникнет открытое поле, покрытое странными цветами, каждый из которых окажется для вас неожиданностью.

Брюс Александер вырос в «красно-бсло-голубом» доме. Его отец был армейским офицером, впоследствии работавшим в

* Коан — распространенный в буддизме вид загадки-парадокса.

«Дженерал Электрик»; в последние годы жизни он настаивал на том, чтобы его называли «полковник Александер». На юношеских фотографиях Брюс Александер — поразительно красивый юноша. В девятнадцать лет он женился на поразительно красивой девушке, и молодая пара поселилась в маленьком городке Оксфорд в Огайо. Климат в Оксфорде оказался холодным, и река Огайо серой лентой тянулась сквозь квадраты полей. Супружеская жизнь тоже скоро оказалась пронизана холодом. Александер изучал психологию в университете Майами, когда ему случилось познакомиться с работами Харлоу.

— Я подумал: «Вот человек, который изучает проблему любви, а я в любви несчастлив; мне следует стать его учеником».

Так Александер и сделал. Он написал письмо Харлоу и был приглашен в Мэдисон, где и защитил магистерскую и докторскую диссертации. Александер всем сердцем рассчитывал узнать хоть что-то об узлах, которые связывают людей друг с другом.

Он пересек всю страну, поменяв холодный штат на еще более холодный, **Х01Я** в то время он этого не знал. По прибытии в лабораторию Харлоу он немедленно получил задание наблюдать за поведением выросших без матери обезьянок и фиксировать, сколько раз те кусали или еще как-то обижали своих детенышей. Александер наблюдал за обезьянами, но еще более внимательно он наблюдал за самим Харлоу.

— Он был ужасным пьяницей, — говорит Александер. — Он был всегда, всегда пьян. Я гадал: что может довести человека до такого желания отгородиться от мира? Я много думал об этом. Я пришел в лабораторию Харлоу, желая изучать любовь, но кончил тем, что занялся аддикцией.

Началась война во Вьетнаме. Александер, к этому времени разведшийся, оставил жену и двух маленьких детей и перебрался в Канаду, потому что, как говорит он сам, «я сделался радикалом. Я не мог больше жить в этой стране». На другой стороне границы он сделался старшим преподавателем университета Саймона Фрэзера, и случилось так, что ему поручили вести курс

по героиновой аддикции, о которой он мало что знал. Он стал интерном в наркологической клинике в Ванкувере, и именно тогда он начал рассматривать наркоманию как вовсе не фармакологическую проблему.

— Я особенно хорошо запомнил одного пациента, — говорит Александер. — На Рождество он работал Санта Клаусом в молле. Он не мог выполнять свою работу, не получив большой дозы героина. Он вкалывал себе наркотик, влезал в красно-белый костюм Санта Клауса, натягивал черные пластиковые сапоги и улыбался шесть часов без перерыва. Я тогда начал подозревать, что современные теории о злоупотреблении психоактивными веществами неверны; люди принимали наркотики не потому, что находились в фармакологической зависимости, а потому, что наркопк был единственным надежным способом приспособиться к трудным обстоятельствам.

Такой взгляд нарушал и существовавшие тогда, и имеющие хождение сейчас теории, хотя современные авторы неизменно совершают ритуальные поклоны в сторону «комплексных факторов». Достаточно почитать посвященную наркомании литературу, чтобы заметить: все труды начинаются с признания огромной роли, которую играет окружение, чтобы незаметно соскользнуть в неизбежное обсуждение электрических и химических каскадов в человеческом мозге — там, где, по Харлоу, находится сердце, ответственное за эмоции.

В 1950-е годы проводилось множество весьма убедительных исследований физиологических механизмов аддикции; это направление преобладало тогда, преобладает оно и теперь. В 1954 году в университете Макгилла двое молодых психологов, Джеймс Олдс и Питер Милнер, первыми обнаружили, что белые лабораторные крысы с маниакальным упорством нажимают на рычаг, чтобы получить электрическую стимуляцию «центра удовольствия» в мозгу. За этим открытием последовало несколько знаменитых вариаций эксперимента: такие ученые, как М.А. Бозарт и Р.А. Вайс, предоставляли животным с помо-

щью катетера самим вводить себе наркотик, и те постоянно пребывали в состоянии наркотического опьянения, при этом медленно умирая от голода. После таких демонстраций в буквальном смысле не оставалось ничего, кроме косточек и усов. Еще один эксперимент состоял в том, что белые лабораторные крысы получали опиум, если ради этого были готовы пересечь металлическую пластину, бьющую током. Небольшое пояснение насчет анатомии крыс: подушечки лап, хоть и кажутся кожистыми и огрубевшими, имеют примерно столько же нервных окончаний, как и головка пениса, поэтому очень чувствительны к боли. И все же грызуны преодолевали заряженную пластину, дергаясь и визжа, и падали на противоположной ее стороне, припав к трубочке, по которой поступал наркотик.

Что ж, это было убедительным свидетельством фармакологической действенности определенных веществ, не так ли? И убедительным свидетельством того, что аддикция — физиологическая неизбежность. В конце концов, те же эксперименты можно воспроизвести на обезьянах, да и что касается людей, аналогичные примеры имеются в изобилии: опустившиеся личности, встречающиеся на городских улицах и роющиеся в помойных баках. Александер, впрочем, читал о результатах исследований, и они его не убеждали. Он следил за работами Олдса и Милнера. Эти двое психологов стали знамениты; может быть, мне следовало бы сделать их главными героями этой главы, а не второстепенными персонажами. Александер же был практически никому не известен. Олдс и Милнер решили найти в мозгу «центры удовольствия»; они выдвинули гипотезу, что таковые расположены в субретиккулярной формации. Они стали распиливать черепа крыс и вводить в мозг размером не больше фасолины крохотные электроды, крепя их сначала хирургическим клеем, а затем, для большей точности, миниатюрными ювелирными винтиками. Их интересовало, что теперь случится, а случилось вот что: крысы обожали микро-

разряды в мозгу. Если электрод перемещался чуть-чуть вправо, животное делалось необыкновенно кротким; если электрод смещался чуть-чуть влево, крыса буквально пыхтела от удовольствия; при смещении вниз крыса начинала непрерывно лизать свои гениталии; при смещении вверх у нее резко возрастал аппетит. Олдс и Милнер предположили, что «центры удовольствия» расположены в разных точках мозга, и доказали это, продемонстрировав, что когда крысы получают возможность сами нажимать на рычаг, посылающий импульсы в их обнаженный мозг, они делают это до шести тысяч раз в час, если электрод введен в правильную точку,

«Правильной точкой», как оказалось, является срединный пучок переднего мозга. Это и есть, с гордостью заявил Олдс, «центр удовольствия». Я сама отправилась посмотреть на этот узел: удовольствию трудно противиться. Мой приятель, работающий в лаборатории, представил меня другому сотруднику той же лаборатории, и мне было разрешено наблюдать, как у подопытного животного была отогнута мозговая оболочка и стали видны извилины, в которых обитают познание и воля; вот они — серые ниточки, образующие сеть удовольствия — на удивление невзрачные.

Александр тем временем консультировал пациентов, злоупотребляющих героином, по большей части бедных и небогатых жизнью. Почему, размышлял Александр, если центр удовольствия так легко стимулировать фармакологически, если нас так легко завоевать, почему только часть людей, употребляющих наркотики, становится аддиктами? Ведь все мы обладаем этим восхитительным, хоть и невзрачным срединным пучком переднего мозга. Александр помнил о том, что забывали другие исследователи в 1960—1970-х годах, когда на обложках многих журналов появились изображения этой только что открытой страны удовольствия — мозга на голубом стебле. Александр знал, что физиологические «факты» существуют в комплексе с эмоциональными и социальными обстоятельствами;

фармакология связана с везением и погодой, совпадением и прибавкой в зарплате, белой бородой и пластиковыми игрушками в подарок. Он все это знал, но не имел доказательств. Ему требовались доказательства.

Многие психологи и фармакологи начали выдвигать гипотезы по поводу природы аддикции, основываясь на обнаружении центра удовольствия. Наркотики, возможно, являются химическим аналогом вживляемых в мозг электродов. Они возбуждают дремлющий срединный пучок переднего мозга, заставляя его жаждать все больше и больше наркотика, подобно тому как почесывание укуса комара заставляет его только сильнее чесаться.

Это простое объяснение, однако оно не особенно конкретно и научно. На фармакологическом уровне ученые обнаружили интересные вещи. В наших головах имеется небольшая фабрика, производящая эндорфины, очень похожие на опиоиды, — естественные обезболивающие; фабрика вырабатывает также допамин, серотонин, которые, как известно, ответственны за спокойствие и разумность поведения. Наш организм сам по себе вырабатывает в умеренных количествах эти полезные вещества — столько, сколько нужно для нормального функционирования. Однако когда мы начинаем пользоваться импортом — скажем, вводя в сбалансированный кровоток мексиканский героин или чилийский крэк, — наше тело думает: «Ну, теперь можно и отдохнуть». Организм перестает производить наши собственные естественные лекарства и полагается на внешний источник, точь-в-точь как при неразумной внешней экономической политике, которая в конце концов оставляет нас без внутренних ресурсов. Другими словами, наше тело привыкает к синтетическим веществам и перестает производить естественную продукцию. Это и есть так называемая нейроадаптивная модель; согласно ей наркотики неизбежно разрушают нашу гомеостатическую систему и заставляют нас полагаться исключительно на внешние источники.

— Однако, — говорит Александер, — давайте рассмотрим гипотезу допаминовой недостаточности. Вы принимаете кокаин, и ваш мозг перестает производить допамин, так что вам приходится принимать больше кокаина, который стимулирует производство допамина. Вот и давайте рассмотрим эту гипотезу. Нет надежных свидетельств того, что допаминовая недостаточность рождает у людей тягу к большим дозам кокаина.

Я решаю поговорить с консерватором, едва ли не главным специалистом по наркотикам, сотрудником Йельского университета Хербом Клебером.

— Конечно, такие свидетельства есть, — говорит он мне. — Вы же видели данные ПЭТ? Они ясно говорят о допаминовой недостаточности у кокаинистов, а такая недостаточность сильно коррелирует с ростом тяги.

Да? Нет? Может быть? Ни в одной другой области психологии, пожалуй, вы не получите таких противоречивых ответов; в наркологии наука и политика скорее пронизывают друг друга, чем обмениваются информацией.

— Послушайте, — говорит Джо Дьюмит, профессор психологии Массачусетского политехнического института, — данные ПЭТ ненадежны. Очень легко получить изображения, вроде бы говорящие о больших изменениях, но это может оказаться обманчиво. Кто знает? — вздыхает Дьюмит. — Нелегко по целым дням изучать мозг. Это бесконечное и безнадежное занятие — пытаться заглянуть в самого себя снаружи. Лучше просто налейте мне стакан вина...

Александер хотел получить доказательств. Он жил в Ванкувере, красивом городе на берегу моря. Он смотрел на крыс-наркоманок, которыми занимались другие ученые. У некоторых из них в выбритые спинки были вживлены катетеры, жили они в тесных и грязных клетках. Может быть, с этого и начнет-ся доказательство, думал Александер.

— Если бы я жил в подобной клетке, я бы тоже принимал как можно больше наркотиков, — говорит он.

Что произойдет, гадал он, если клетку убрать, другими словами, устранить культурные ограничения? Сохранится ли неоспоримый физиологический факт аддикции в других условиях? Александр обдумывал это и улыбался. У него необыкновенно милая улыбка — ямочки на щеках, ямочка на подбородке, словно ангел коснулся его еще в утробе матери. Он улыбался и думал: «Крысиный парк». А потом он начал его строить.

Вместо маленькой тесной клетки Александр и его коллеги Роберт Коамбс и Патриция Хэдзуэй построили для своей колонии белых лабораторных крыс загон в двести квадратных футов. В этом помещении, имевшем самую комфортную для крыс температуру, имелись восхитительные кедровые стружки и всевозможные цветные шарики и колесики. Ученые позаботились, поскольку колония предполагалась разнополая, чтобы места хватало для спаривания и для родов, для активности зубастых самцов и для теплых и уютных гнезд, где могли бы укрыться кормящие самки. Затем Александр, Коамбс и Хэдзуэй расписали стены этого роскошного крысиного отеля яркими красками. Они нарисовали раскидистые деревья, горы, по которым извиваются дороги, потоки, прыгающие по гладким камням. Они не особенно заботились о реалистичности изображения: джунгли мешались с хвойными лесами, снега переходили в пески пустынь.

Для крыс, обитающих в этом парке, Александр, Коамбс и Хэдзуэй предусмотрели разные режимы содержания. Один из сценариев назывался «Соблазн»; он основывался на известной любви крыс к сладкому. Шестнадцать крыс были помещены в «крысиный парк», а другие шестнадцать содержались поодиночке в обычных тесных клетках. Поскольку чистый морфий — горький, а крысы ненавидят все горькое, исследователи в его раствор добавляли сахарозу, с каждым днем все больше и боль-

ше, пока не получился настоящий крысиный дайкири, содержащий предположительно неотразимые опиоиды в неотразимо вкусном напитке. Обе группы крыс получали также обычную воду из-под крана, которая, должно быть, выглядела совсем непривлекательно по сравнению с блестящими бутылочками раствора наркотика.

И вот что было обнаружено. Содержащиеся в тесных клетках-одиночках крысы сразу же оценили сладкий напиток с морфием; мне ясно представляется, как они падали на спины, глядя вверх остекленевшими глазами и медленно помахивая в воздухе розовыми лапками. Обитатели же «крысиного парка», напротив, не стремились пить раствор наркотика, каким бы сладким он ни был. Хотя иногда животные и пробовали его (самки чаще, чем самцы), они обнаруживали стойкое предпочтение к обычной воде, и при сравнении двух групп оказалось, что обитатели клеток проглотили в шестнадцать раз больше наркотика, чем их привилегированные собратья, — результат, несомненно, статистически значимый. Очень любопытен и такой факт: когда исследователи добавили к раствору, содержащему морфий, налоксон (вещество, нивелирующее действие опиоидов, но не мешающее напитку оставаться сладким), крысы из «крысиного парка» пересмотрели свое отношение к содержащей наркотик воде и охотно ее пили. Результаты этого поразительного опыта показывают, что крысы, оказавшись в действительно благоприятной среде, стараются избегать всего, включая героин, что нарушает их обычное поведение. Крысам нравилась сладкая вода, но только если при этом они не впадали в наркотическое опьянение. По крайней мере для грызунов, находящихся в благоприятных условиях, опиоиды оказались нежелательны, что резко противоречит представлению о них как о непреодолимом соблазне.

Мы полагаем, что эти результаты значимы как в социальном смысле, так и статистически. Если крысы в относитель-

но нормальной для себя окружающей среде стойко отказываются от наркотиков, то идея о «естественной склонности» неверна и данные, полученные на изолированных животных, не следует обобщать на более широкие популяции.

Наши данные вписываются в гипотезу «утешительного поведения» для злоупотребляющих опиоидами людей, поскольку нужно учитывать, что крысы от природы чрезвычайно общительны, активны, любопытны. Одинокое заключение вызывает у людей чрезвычайный психический дистресс, и вполне можно предположить, что одинокое содержание столь же стрессогенно для других общественных животных и вызывает у них экстремальные формы «утешительного поведения», такие, как стремление к приему сильных анальгетиков и транквилизаторов, в данном случае морфия.

Можно также предположить, что групповое содержание крыс приводит к их воздержанию от морфия, потому что он обладает выраженным обезболивающим и успокаивающим действием, которое препятствует игре, питанию, спариванию и другим занятиям, которые украшают жизнь», — писали Александер и соавторы в своей главе «Хроника крысиного парка» в книге «Запрещенные законом наркотики в Канаде» под редакцией Блэкуэлла и Эриксона.

Эксперимент «Соблазн» показал, что ничего внутренне непреодолимого в опиоидах нет; этим он бросал вызов ментальности запрета на наркотики, которая постепенно стала преобладающей и которая так или иначе зависит от исследований аддикции. В 1873 году журналист, описывая демонстрацию в пользу запретов, писал: «Потом дамы, к которым присоединились зеваки, запели «Благословен господь, источник благодати», и тут па улицу вывезли тележки со спиртными напитками. Некоторые женщины плакали, некоторые пели невпопад, некоторые благодарили». Эту цитату можно рассматривать как еле заметный побудительный стимул для работ Олдса и Милнера, для современных войн с наркотиками и поддержки их учеными, но и для высказываний их оппонентов вроде Александра,

которые провели тонкие исследования, чтобы опровергнуть предубеждение, настолько укоренившееся, что мы его за собой уже не замечаем.

Проведенный Александром и его коллегами эксперимент был, однако, неполон. Ученые убедительно показали, что крысы отвергают даже весьма соблазнительно предлагаемые им наркотики, если те мешают доступным им удовольствиям. Однако перед исследовательской командой стоял и другой вопрос, и касался он уже существующей аддикции. Александр и его коллеги попытались вызвать наркоманию у обитателей крысиного парка, но безуспешно. Их оппоненты могли бы возразить: «Прекрасно. Создайте крысам безбедное существование и возможность секса двадцать четыре часа в сутки, и им не захочется кайфа. В реальном мире людям так не везет, и они начинают принимать наркотики в тяжелую минуту, а потом не могут остановиться. Ломка настолько болезненна, что сама по себе гарантирует продолжение приема наркотиков». Чтобы проверить это утверждение, исследователи снова воспользовались двумя группами крыс: живущих в «крысином парке» и живущих в клетках. В течение следующих пятидесяти семи дней—достаточно долгого времени для формирования аддикции — они превратили всех грызунов без исключения в наркоманов, потому что не давали им другого питья, кроме воды с добавлением морфия. «Это было достаточно долго, — пишет Александр, — чтобы вызвать толерантность и зависимость».

По истечении этого времени обе группы крыс снова стали получать как обычную воду, так и воду с морфием. Как и можно было предсказать, крысы, сидевшие в клетках, продолжали предпочитать напиток с морфием; те же животные, которые жили в «крысином парке», несмотря на то что уже превратились в наркоманов, нерегулярно выбирали раствор морфия и вообще снизили потребление наркотика, несмотря на ломку. Отсюда следует вывод: даже уже сложившаяся аддикция не не-

преодолима. Нарколог Стэнтон Пил указывает: все согласны с тем, что никотин вызывает еще большее привыкание, чем героин, и тем не менее девяносто процентов людей, начавших курить, отказываются от табака самостоятельно, без всяких «программ», «спонсоров» и «профессиональной помощи». Но как насчет ломки? Александр предполагает, что ломка не обладает той силой, какую мы ей приписываем. «Животные в «крысином парке» проявляли некоторые незначительные признаки ломки, — пишет Александр, — например, дрожь, но не было никаких мифических припадков, о которых так часто приходится слышать».

Что ж, может быть, у крыс и не было в отличие от людей, что мы видели своими собственными глазами. «Огромное большинство людей, испытывающих героиновую ломку, страдают не больше, чем при обыкновенной простуде, только и всего», — утверждает Александр. Его точка зрения, основанная на наблюдениях за обитателями «крысиного парка», такова: хотя ломка реальна, она не обязательно так страшна, как это описывается в средствах массовой информации, — жуткие страдания и глубокое повреждение тканей. Что гораздо важнее, ломка не обрекает употребляющего психоактивные вещества на вынужденный их прием, если судить по данным, полученным на крысах.

— Я думаю, — говорит Александр, — что ломка, как и сама наркомания, постоянно преувеличивается; это часть легенды, которую люди слышат и повторяют. Согласно такой парадигме, употребляющие наркотики считают невыносимым мучением то, что на самом деле является только дискомфортом. Уж крысы-то точно не выглядели испытывающими невыносимые мучения. То же самое можно сказать о тысячах солдат, вернувшихся из Вьетнама, и многих других, кто приобщается к наркотикам, испытывает ломку, но все-таки бросает их принимать.

Исследования Алксандера свидетельствуют о том, что аддикция на самом деле вполне поддается контролю воли. И кры-

сы, и люди, так сказать, курят опий, а потом без проблем отказываются от него. Если же не отказываются, то не потому, что в этом есть нечто непреодолимое, а потому, что их специфические обстоятельства не предлагают им лучшей альтернативы. Лидикция, с точки зрения Александра, — стратегия жизненного стиля и, как и все создаваемые человеком стратегии, подвержена влиянию образования, отвлечения, возможностей; тут дело в выборе.

Александр хорошо помнит «крысиный парк», хотя теперь ему за шестьдесят, а свой эксперимент он проводил двадцать пять лет назад. Он помнит, как превращал своих крыс в наркоманок, и потом ждал и наблюдал, что из этого получится.

— Мы все время об этом говорили — за обедом, в выходные дни, — рассказывает Александр. — Мои дети приходили в лабораторию и смотрели на крыс, помогали в сборе данных. Было так увлекательно видеть, как благодаря крысам все общепринятые взгляды на аддикцию подвергаются сомнению. У меня в жизни была всего одна хорошая идея, и все. Но одна-то была — так что не приходится жаловаться.

Я не слышу сожаления в голосе Александра, когда он говорит о своей единственной идее. Может быть, все-таки он немножко разочарован, хоть и отрицает это. Факт остается фактом: хотя данные, полученные благодаря «крысиному парку», чрезвычайно значимы и бросают вызов нашим коллективным и индивидуальным представлениям, ни тогда, ни теперь никто не обратил на них особого внимания.

— Мы написали о своих результатах, — говорит Александр, — мы хотели, чтобы наши данные опубликовали в «Сайнс» или «Нейчер». Им следовало появиться именно там. Но наши статьи отклонялись — снова и снова. Это очень разочаровывало.

В конце концов статья о «крысином парке» была напечатана в уважаемом, но имеющем меньший тираж журнале — «Фармакологджи, биохемистри энд бихейвер».

— Это хороший журнал, — говорит Александер, — у него безупречная репутация, но читают его меньше ученых. Ведь там речь идет о фармакологии.

Карьера Александера с ее психосоциальным уклоном оказалась скромной, в то время как биологические парадигмы пользовались все большим признанием и привлекали все больше исследователей. В 1970-х годах ученый из Стэнфорда, Аврам Гольдштейн, открыл естественные производимые человеческим организмом опиоиды — эндорфины — и предположил, что злоупотребляющие героином страдают недостаточностью этих эндогенных веществ. Он выдвинул гипотезу, согласно которой введение эндорфинов снимет влечение к наркотику; однако эта стратегия полностью провалилась. Только это не имело никакого значения: в прессе появились положительные отклики, потому что гипотеза Гольдштейна представляла собой биологически обоснованное объяснение, а наша культура предпочитает именно такие модели — модели, где речь идет о молекулах, модели, игнорирующие факторы, наиболее заинтересовавшие Александера: расовую и классовую принадлежность, нюансы образа жизни во всех их разнообразных проявлениях.

Иногда Александер сердится. Он обвиняет биомедицинские корпорации в сокрытии важной научной информации о сложности проблемы наркомании из политических соображений. В конце концов, если бы информации, полученной при эксперименте с «крысиным парком», было отдано должное, нам пришлось бы бороться с трусобами и вообще изменить политику, финансируя образование, а не производство лекарств. Критики Александера, впрочем, обвиняют его в искажении данных ради разжигания публичных дебатов, когда он оказался бы в центре внимания. Так, например, считает «царь аддикции» Клебер, который гордится своим йельским образованием и презирует любые исследования «к северу от

Коннектикут-ривер». Как показывает ориентированный па «Лигу плюща» компас Клебера, «крысиный парк» находится в научном эквиваленте тундры; поэтому-то, наверное, «царь аддикции» говорит:

— Когда я впервые услышал о ванкуверском эксперименте, я счел его остроумным. Теперь же я думаю, что в нем было множество методологических недочетов.

— Каких? — спрашиваю я.

— Не помню, — отвечает Клебер.

— Александр говорит, что вы считаете зависимость неизбежной, потому что возможность приобретения наркотиков ведет к аддикции.

— Это просто смешно! — восклицает Клебер. — Я такую никогда не говорил и я так не думаю.

— Если вы так не думаете, — говорю я, — тогда почему вы против легализации наркотиков?

— Кофеин, — говорит Клебер. — Сколько человек в этой стране испытывают зависимость от кофеина?

— Очень много, — отвечаю я.

— Примерно двадцать пять миллионов, — подтверждает он. — А сколько испытывают аддикцию по отношению к никотину? Около пятидесяти миллионов. А к героину? Два миллиона. Чем больше людей имеют доступ к определенному веществу, тем большее число становятся зависимыми. Никотин в сигаретах легкодоступен, поэтому так много курильщиков. Если бы героин стаи так же доступен, число наркоманов опасно выросло бы.

И все же Александр утверждает, что уровень аддикции до принятия законов против наркотиков был постоянным и составлял всего один процент. Он также говорит, что сказать, будто доступность ведет к аддикции, — все равно что сказать, будто наличие пищи ведет к ожирению, что в большинстве случаев не так.

— Вот скажите, — продолжает Клебер, — сколько времени вам потребуется, чтобы получить кружку пива?

— Минута, — отвечаю я, думая о запотевших зеленых бутылках в холодильнике.

— А сколько времени потребуется, чтобы приобрести сигареты?

— Двадцать минут, — говорю я, имея в виду ближайший магазинчик в нескольких кварталах от моего дома.

— Прекрасно, — продолжает Клебер, — а как быстро, — голос его понижается, — вы смогли бы раздобыть героин?

Благодарение Богу, что мы говорим по телефону: я краснею, а глаза начинают бегать. Дело в том, что я могла бы раздобыть кокаин или его химический эквивалент всего за три секунды, вместе с различными галлюциногенными травками, о которых мой любящий химию муж узнал из Интернета. Мы — семейство фармакофилов.

— Так как быстро? — переспрашивает Клебер... мне мерещится или я слышу в его голосе угрозу — уж не заподозрил ли он?..

— На это понадобится много времени, — слишком поспешно отвечаю я. — Несколько часов, а то и недель.

— Ну вот видите, — говорит он. — Доступность увеличивает возможность приобретения, приобретение ведет к аддикции.

И все же... Вот она я с полной возможностью приобретения — у нас имеется чай из мака и купленный по рецепту гидроморфон, маленькие белые диски, только они совершенно меня не интересуют. Я иногда гадаю, почему у меня не возникает желания попробовать имеющиеся в изобилии психоактивные вещества, хотя мой муж, страдающий от постоянных болей, от них не отказывается. Я часто о нем беспокоюсь: он сидит над чашкой чая, приняв две таблетки гидроморфона, и зрачки его делаются черными точками. Я говорю ему:

— Ты скоро станешь, если еще не стал, наркоманом, — и он отвечает, будучи, как и я, поклонником «красного парка»:

— Ты же знаешь результаты *настоящего* исследования, Лорин. Я ведь живу в загоне, а не в клетке.

Тем не менее существуют настоящие наркоманы, которые ничуть не интересуются теориями или политикой, а просто страдают и ищут облегчения. Существует, в конце концов, Эмма Лоури, тело которой предъявляет свидетельства, которые трудно игнорировать. Хотя она, как и мой муж, живет в человеческом эквиваленте «крысиного парка», ей никак не удастся выпутаться из сетей опиоидов.

— Творится что-то ужасное, — говорит она мне после каждой попытки уменьшить дозу. — Желудок скручивают спазмы... — В ее голосе звучит настоящее отчаяние. — Никто не предупредил меня, что эти таблетки так опасны. — В последнее время она пользуется скальпелем, чтобы соскабливать с таблетки тоненький слой и тем самым понемножку и медленно уменьшать дозу в надежде сорваться с крючка.

Тем временем нашу страну охватил ужас перед оксиконтином. Это название появилось на обложке «Нью-Йорк тайме мэгэзин», и повсюду испуганные аптекари вывешивают объявления: «Здесь не продается оксиконтин», надеясь предотвратить этим взломы.

Нетрудно найти свидетельства, опровергающие данные, полученные благодаря «крысиному парку». Богатые люди, любые потребности которых удовлетворяются, часто злоупотребляют наркотиками, и имеются убедительные доказательства изменений, происходящих в мозгу при постоянном приеме опиоидов или кокаина, изменений, которые запросто могут побороть свободную волю. У Александра, конечно, есть ответ на все это: богатые оказываются в клетке социальных условностей, а данные ПЭТ говорят лишь о корреляции изменений в мозгу с приемом наркотиков, а не о причинно-следственных связях. Вы можете долго выслушивать возражения Александра критикам его позиции, но эти возражения ничего не меняют в том неоспоримом факте, что, несмотря на чудеса в его сказочной крысиной стране, эксперимент мало что изменил в нашем воспри-

ятпи проблемы наркотиков. Так что же делает этот эксперимент великим?

Клебер утверждает:

— Эксперимент не был великим.

Сам Александер признает:

— «Крысиный парк» не стал знаменит. С какой стати вы включаете его в свою книгу? Он имеет лишь очень немного сторонников.

Верно: «крысиный парк» невелик, но невелики и «Вайнсбург, Огайо» Шервуда Андерсона и «Уроки ножа» Ричарда Зельцера; однако эти работы — маленькие драгоценности, и их ненавязчивый резонанс силен. Что еще более важно, они незаметно стали моделями, которым следуют более известные литературные произведения; то же самое происходит и с крысами Александера. Его эксперименты послужили толчком для знаменитых исследований, некоторые из которых упомянуты выше и которые показали, как маловероятна аддикция в человеческой популяции. Работы Александера и его коллег были среди тех, которые вызвали интенсивное изучение приема морфия раковыми больными, и обещающее интересные результаты изучение биопсихосоциальных различий между людьми, принимающими морфий, чтобы избавиться от боли, которые редко становятся наркоманами (Эмма, конечно, в эту группу не входит), и принимающими наркотики ради удовольствия, что обычно и ведет к беде. Самое главное — полученные Александером результаты побудили ученых к проведению интересных программ, посвященных изучению воздействия окружающей среды на человеческую психологию. Осуществленное в 1996 году в Иране исследование женщин, живущих в домах, предназначенных для одной семьи, и тех, кто обитает в многосемейном жилище, показало значимо более высокую плодовитость первых по сравнению со вторыми; другими словами, плодовитость падает в результате скученности. Изучение тюрем продемонстрировало рост таких явлений, как самоубийства,

убийства и болезни, при переполнении камер. При тестировании испытуемые, находившиеся в тесных помещениях, показывали худшие результаты, чем те, кто выполнял задания и просторных комнатах.

Весьма прохладный прием, оказанный «крысиному парку», должно быть, разочаровал Александра, но ненадолго. В отличие от своего учителя, Харлоу, Александр не кажется подверженным депрессии или злоупотреблению алкоголем, хотя в разговоре он несколько раз упоминает, что был несчастен в любви. Это невезение, похоже, не помешало ему увлеченно продолжать исследование в избранной области. «Крысиному парку» выпала судьба вышедшей, но не попавшей в список бестселлеров книги, и Александр продолжал думать, планировать, пробовать. Он вошел в правление отеля «Портленд» в Ванкувере, учреждения, предоставляющего страдающим СПИДом наркоманам возможность получить чистые шприцы, переночевать в теплой комнате, умереть, не теряя достоинства. Он изучал старинные опиумные притоны в Китае, комнатухи, где тонкая белая пыль липнет к потрескавшимся стенам. Он начал чипить труды Платона, «первого психолога», не огорчаясь, что университет Саймона Фрэзера из-за непопулярности «крысиного парка» и отказал ему в дальнейшем финансировании. Через некоторое время университет под давлением защитников животных, которые нашли вентиляционную систему в лаборатории устаревшей, закрыл лабораторию; в ее помещении — без ремонта вентиляционной системы — был открыт студенческий консультационный центр.

— Для крыс помещение не годилось, — говорит Александр, — но для людей оказалось в самый раз.

Впрочем, в его голосе нет горечи. Оказавшись без лаборатории и без крыс, Александр обратился к истории, зарылся в загадки прошлого, изучая давно исчезнувшие культуры в поисках разгадки того, как возникает или не возникает аддикция.

Он с интересом обнаружил, что бывали времена в человеческой истории, когда аддикция фактически оказывалась нулевой: так было у канадских индейцев до ассимиляции и среди собственных британских предков американцев до начала промышленной революции. Люди обрабатывали землю и жили ее плодами, смотрели на луну — эту таблетку в небесах. Александр обнаружил, что уровень аддикции растет не с увеличением доступности психоактивных веществ, а пропорционально человеческой неустроенности, неизбежного следствия возникновения рыночного общества. Его теория заключается в следующем: рыночное общество смотрит на человека как на продукт, который добывается, перемещается, переделывается в соответствии с экономическими потребностями.

— В конце XX века, — говорит Александр, — бедные и богатые одинаково могут без предупреждения лишиться работы, общины стали слабыми и неустойчивыми, люди на протяжении жизни постоянно меняют семьи, занятия, профессии, языки, национальность, программное обеспечение и идеологию. Цены и доходы столь же изменчивы, как и общественная жизнь. Даже продолжение существования привычных экономических систем под вопросом. Как среди бедных, так и среди богатых постоянные перемены разрушают тонкие межличностные и социальные связи, меняют материальный мир и духовные ценности — все то, что необходимо для психосоциальной интеграции.

Лишившись всего этого, объясняет Александр, люди, как и крысы в клетках, ищут замену — не потому, что замена привлекательна сама по себе, но из-за неблагоприятных обстоятельств, из-за того, что теперь у нас нет богов.

Окончательный анализ, таким образом, показывает, что ренегат Александр оказывается на самом деле традиционалистом. Годы радикальных исследований привели его к вполне консервативному заключению: значение имеют крепкие свя-

зи, любовь, привязанность, рождаемый ими ежедневный ритм — дружба, семья, собственный участок работы. Уик-эндсы Александер проводит на ферме на острове, посвящая их работе и простым занятиям. Может быть, тут он и его оппонент Клебер нашли бы общие интересы. Александер полагает, что трудные жизненные обстоятельства ведут к аддикции. Клебер считает, что к ней ведет возможность приобретения препаратов с определенными фармакологическими свойствами. Однако в конце концов эти такие разные ученые требуют одного и того же: чтобы социальная структура была красива и осмысленна, чтобы вместо банд возникали семьи, чтобы традиции определяли направление развития культуры.

«Наша политика должна видеть цель в том, чтобы употребление наркотиков и аддикция стали маргинальным явлением. Америке следует стремиться к тому, чтобы дать каждому гражданину шанс развивать свои таланты», — пишет Клебер.

— Когда мы передаем детям достойное наследие и прививаем взгляды, придающие нужную форму культуре, мы тем самым уменьшаем вероятность психопатологии, — говорит Александер.

Сутью того, к чему следует стремиться, является достоинство, и в этом согласны оба ученых.

Хотелось бы мне найти слова для однозначного финала этой главы, но там, где дело касается наркотиков, все оказывается зыбким, как дымок от трубки с опиумом. Согласно одним данным, Эмма Лоури, поскольку она принимала опиоиды как обезболивающее, а не ради удовольствия, не должна была стать наркоманкой — но ведь она ею стала! По мнению других исследователей, мой муж, имеющий постоянный доступ к наркотикам, должен страдать от аддикции — но этого не происходит. Клебер утверждает, что рост аддикции связан с увеличением доступности, и может подтвердить это цифрами; Александер возражает: будь это так, цивилизации,

выращивающие мак, были бы цивилизациями наркоманов, а это не так. Кто знает, каковы факты на самом деле...

В конце концов я решаю проверить все на себе. Размер выборки: одна я. Гипотеза исследования: никакой. Я живу то ли в клетке, то ли в загоне — не уверена, где именно. У меня большой дом, хорошая жизнь, множество близких друзей, но я выросла в рыночном обществе, такая же неприкаянная в этом новом тысячелетии, как и все: у меня нет религии, нет большой семьи. Вот что я решаю сделать: я беру у мужа таблетки гидроморфона. Я буду принимать их пятьдесят семь дней, как крысы Александра, и посмотрю, что получится, когда я попытаюсь от них отказаться.

Я проглатываю две, потом еще три. Ясное дело, начинается кайф. Я чувствую себя счастливой. Воздух мягок как шелк, а чайка над автостоянкой — самая красивая птица на свете: белая как сахар крылатая мечта.

Проходит три, потом четыре дня. Я себя прекрасно чувствую. Проходят недели регулярного приема опиоидов, когда я по ночам мечтаю дотянуться до луны и думаю о всяких глупых и милых вещах. Я постоянно наблюдаю за собой. Жду ли я с нетерпением очередного приема таблеток? Возникла ли у меня тяга? Я высматриваю ее признаки, как во время беременности пыталась заметить, не начинаются ли у меня судороги, которые могут привести к выкидышу: что-то такое есть? Боже мой, действительно ли я почувствовала?.. Однако тогда ничего ужасного не случилось, не случается и теперь. Правда, у меня начинает болеть желудок. Морфий для меня — как не слишком диетический десерт, который приятно есть, но после которого остается тяжесть в животе — в целом ничего особенного. Мне было бы приятнее поужинать в дружеской компании, чем сентиментальничать по поводу чайки. После четырнадцати дней, когда я резко прекращаю свою затею, я чувствую себя немного не в себе, и у меня заложен нос — но у моей дочки грипп, и я могла заразиться.

Этот эксперимент показал следующее (на выбор читателя):

(а) Нет ничего неотразимо привлекательного в морфии, а физиологические тяготы ломки преувеличены.

(б) Как сказал бы Клебер, у меня нет дефектного гена, который увеличил бы мою подверженность аддикции.

(в) Поскольку я не перешла на уколы, которые сильнее стимулируют срединный пучок переднего мозга, я вообще ничем не рисковала.

(г) Я все-таки живу в загоне, а не в клетке.

(д) Никто ничего не знает.

Выберите любой из вариантов — или никакой. Сама я действительно не знаю, да и устала. Мои кортикальные центры удовольствия увлекут меня прочь от разрешения загадки задолго до того, как я достигну понимания; я должна буду вернуться к своей обычной жизни, в которой моему мужу периодически требуются обезболивающие, адом — теплый и знакомый, хоть слева у него и протекает крыша, и по нему бродит моя дочка, а снег за окном похож на кружево. Мой мир несовершенен, но для меня достаточно хорош, пусть я и оказываюсь в лабиринте между Клебером и Александером.

Дело кончилось тем, что мне захотелось посмотреть на «крысиный парк». Мне хочется полежать в загоне, ощутить его просторность, уловить острый запах кедровых стружек, хрустящих под пальцами. Мне хочется почувствовать себя в пространстве и времени, когда я была такой же честной, как индейцы до ассимиляции, когда на земле оставались отпечатки моих рук, а пшеничные колосья росли, потому что я работала эту землю.

Вот я и отправляюсь в Ванкувер. Александер сохранил достатые расписные стенки, на которых изображены сосны, достигающие до небес. По этому небу плывут белые и розоватые об-

лака, а река журчит на перекатах, устремляясь к невидимому морю. Только представьте, что вы живете в подобном месте — или его человеческом эквиваленте: где-то вроде вечной Калифорнии, где никогда ничего не выходит из строя, где всегда достаточно еды, где нет хищников, а пахнет сладко, как в буфете вашей прабабушки. Александер называет «крысиный парк» нормальной средой обитания.

— Мы думаем, — говорит он, — что нормальная среда обитания, обеспеченная этой колонии крыс, позволила им вести настолько удовлетворяющий все видоспецифические потребности образ жизни, что морфин оказался не нужен.

Однако когда вы видите сохранившееся оборудование эксперимента, расписное дерево, серебристую реку в зеленых берегах, когда думаете об изобилии пищи, о доступном в любой момент игровом материале, на ум приходит вовсе не «нормальная среда обитания». На ум приходит «совершенная среда обитания», которая, я уверена, не существует в нашем мире за пределами лаборатории. Здесь-то и скрыт один из основных методологических просчетов Александера. Он создал рай и — что неудивительно — обнаружил, что в нем все счастливы. Но где такой рай на земле? Разве «крысиный парк» отражает «реальную жизнь»? Не подтверждает ли эксперимент Александера, что избежать аддикции возможно лишь в мифическом мире, который никогда не существовал, не существует и не будет существовать для нас с нашими дефектными генами и мегаполисами?

Если хорошо присмотреться, Александер — человек, которому не везло в любви, который дважды разводился и только теперь, в шестьдесят с лишним лет, создал семью в третий раз, — романтик. Он верит в то, что «крысиный парк» возможен в нашем мире, что мы способны создать культуру, основанную на доброжелательном взаимообмене. Кто знает, может быть, он и прав. Романтический взгляд на мир, согласно

которому мы способны к самоактуализации*, если только получим шанс, — не менее влиятельная и привлекательная позиция, чем ее противоположность, классический взгляд (и мой тоже), основывающийся на скептицизме, даже цинизме: жизнь трудна; куда бы вы ни взглянули, вы обнаружите недостатки; каждая колония, к которой вы примкнете, оказывается клеткой; и если вы хорошенько прищуритесь, то разглядите окружающую вас решетку. Таково мое мнение, но я не могу, да и не хочу доказать его справедливость.

Вернувшись домой, я говорю по телефону с Эммой Лоури, которая сообщает мне, что наконец-то покончила с «этими проклятыми наркотиками». Она говорит, что никогда больше не станет принимать обезболивающие. Я знаю, что если позвоню Александру и расскажу ему историю Эммы, он начнет возмущаться и возражать и найдет множество остроумных доводов, чтобы показать: случай с Эммой не противоречит его взглядам. Может быть, она все еще в клетке, созданной болью, в которой она не признается; может быть, ее счастливая домашняя жизнь омрачена невыявленной депрессией; может быть, ее муж не оказывал ей необходимой поддержки; может быть, Эмма слишком много работает. Он скажет то же, что говорил уже много раз:

— Я еще ни разу не встретил человека, Лорин, ни разу за все тридцать лет своих исследований, который бы обладал достаточными внутренними и внешними ресурсами и тем не менее стал бы наркоманом. Ни разу. Найдите мне такого, и я тут же откажусь от своих убеждений.

Я не стану звонить Александру и рассказывать ему про Эмму. Не стану я и звонить Клеберу и рассказывать ему про своего мужа, который сумел, имея возможность принимать наркотики и пользуясь ею, каким-то образом не попасться в ловушку аддикции. Я не хочу выслушивать неизбежные диатри-

* Самоактуализация — стремление человека к возможно более полному выявлению и развитию своих личностных возможностей.

бы в пользу обеих точек зрения. Может быть, на улицах наших городов и не идет настоящая опиумная война, но в наших университетах и лабораториях ученые, занимаясь исследованиями, шипят друг на друга, непреодолимо привлекаемые теми вопросами, которые изучают. Что же это за вопросы? Ради чего идут яростные дебаты по поводу аддикции? Они нужны не сами по себе, это ясно. На самом деле проблема аддикции, похоже, касается химии и ее противоборства со свободной волей, ответственности и ее противоборства с непреодолимой тягой, дефицитом и его противоборством с нашей способностью его восполнить.

Я поднимаюсь в свой кабинет. Уже стемнело, и на столике горит лампа, бросая вокруг желтые и золотые отсветы. Стены тоже выкрашены в теплый желтоватый цвет и увешаны изображениями фруктов — слив и груш. Я люблю свой кабинет. Мне очень нравится кот, толстый и мохнатый, который спит на кушетке и мурлычет так громко, что это похоже на стоны. Кот появился у нас недавно. Мы взяли его потому, что у нас завелись мыши — много, много мышей, скребущихся под полом и запутывающихся в проводах позади холодильника. Даже теперь, когда у нас есть кот, я слышу, как они шуршат в вентиляционных трубах. Должно быть, появился новый выводок. Я представляю себе этих крохотных существ, запах молока. Я слышу во сне этих оккупантов, этих ловкачей. Они играют и размножаются, грызут и карабкаются. Они прогрызают дырочки в коробках с печеньем, так что оттуда высыпается их добыча. Мыши... Надеюсь, они счастливы в нашем доме.

8

Потерявшийся в молле

Эксперимент с ложными воспоминаниями

Воспоминания — это те следы, которые мы оставляем в своей жизни; без них мы могли бы оглянуться и увидеть всего лишь непо потревоженную снежную поверхность или какие-то отпечатки, оставленные не нами. Если есть что-то, что создало нас как вид, дало нам чувство длящейся идентичности, то это как раз наша память. Платон верил в существование абсолютной, идеальной памяти, сферы, в которую человек может заглянуть и найти там в точности сохранившееся собственное прошлое. Фрейд колебался, то утверждая, что память — это мешанина сновидений и фактов, то видя в ней фильм, смотанную пленку, хранящуюся в какой-то части мозга, вызвать которую на экран можно с помощью свободных ассоциаций. Наши представления о памяти в основном базируются на идеях этих двух корифеев — Платона и Фрейда; оказаться в такой компании почетно. Однако психолог Элизабет Лофтус решила бросить вызов великим предшественникам. У нее возникла догадка, что память так же изменчива, как поток, так же

ненадежна, как крыса. Будучи психологом-новатором, она провела довольно пугающий, но философски безукоризненный эксперимент, целью которого было определить: является ли содержание наших воспоминаний фикцией или фактом. Полученные ею результаты поражают.

Сначала объектами ее изучения стали дорожные знаки, бороды, амбары и ножи.

«Не горел ли на светофоре желтый сигнал?» — спрашивала она испытуемых — и конечно, как только она предполагала такую возможность, те вспоминали, что свет был именно желтым, хотя в действительности горел красный. Она демонстрировала в своей лаборатории фильм: застреленную жертву, человека в маске на пустынной улице, — и когда задавала вопросы типа «Вы помните, что у человека была борода?», то большинство испытуемых вспоминали бороду, хотя в действительности маска не позволяла этого увидеть.

— Только тончайшая пелена отделяет реальность от воображения, — говорит психолог-экспериментатор, профессор Вашингтонского университета Элизабет Лофтус, убедительно доказавшая это своими блестящими исследованиями того, как воспоминания искажаются в результате легчайшего внушения. Скажите человеку, что он видел синий амбар, и для него амбар действительно станет синим; факты вытекают из нашего мозга, мир оказывается акварелью вроде той, что рисует моя дочка, — бесформенные расплывчатые фигуры, которые могут оказаться чем угодно.

Задолго до того, как она стала знаменитой — или нечестивой, это уж как вы решите, — полученные Лофтус данные об искажении воспоминаний сделались явно пользующимся спросом товаром. В 1970—1980-х годах она оказала помощь защите во время суда: адвокаты стремились доказать присяжным, что показания свидетелей — не то же самое, что документальная запись.

— Я помогла очень многим, — говорит Элизабет Лофтус. Вот некоторые из них: Хиллсайдский душитель, братья Менендес, Оливер Норт, Тед Банди*.

— Тед Банди? — переспрашиваю я, когда Лофтус упоминает о нем.

Она смеется.

— Ох, это же было до того, как он стал тем самым Банди.

— Как можете вы быть уверены в том, что люди, интересы которых вы представляете, действительно невиновны? — спрашиваю я.

Лофтус не дает прямого ответа.

— В суде я ориентируюсь на доказательства, — говорит она. — Вне суда — я человек и могу испытывать человеческие чувства.

Какими же, гадаю я, могут быть ее человеческие чувства при чтении письма ребенка — жертвы издевательств, который пишет: «Позвольте рассказать вам, что синдром ложной памяти делает с такими, как я. Может быть, вам небезразлично... Он превращает нас в лжецов. Синдром ложной памяти лучше выглядит на страницах газет, чем описание насилия над детьми. Но ведь есть дети, которых сегодня ночью, пока вы спите, изнасилуют или избьют. Они, возможно, никогда не пожалуются, потому что никто им не поверит».

— Очень многие поверят! — фыркает Лофтус. Ха! У нее пронзительный смех и введливый голос. Она странная, думаю я, какая-то неустойчивая. Лофтус с пугающей легкостью переходит от профессиональных тем к личным. — Результаты экс-

* Хиллсайдский душитель — под этим прозвищем были известны Кеннет Бьянки и Анджело Буоно, в 1970-х годах терроризировавшие Лос-Анджелес. Братья Менендес — подростки, жестоко убившие своих родителей. Оливер Норт — центральная фигура в скандале «Иран — контрабанды». Тед Банди — маньяк, изнасиловавший и зверски убивший несколько десятков девушек, в том числе десятилетнюю девочку.

перимента показали, что двадцать пять процентов испытуемых — а это значимое меньшинство — склонны... — и тут же пауза и резкий поворот: — Не рассказывала я вам про свою валентинку? — Сегодня 14 февраля — День святого Валентина — и Элизабет Лофтус получила открытку от своего экс-супруга, которого она называет «бывшим». Она зачитывает мне текст: «Знаешь, что я в тебе люблю? Все твои фрейдистские оговорки». Лофтус смеется. — Я все еще люблю своего бывшего. Жаль, что он женился на таком ничтожестве.

В 1990 году в жизни Лофтус случилось важное событие. Для большинства жизней невозможно точно указать поворотный момент: они строятся постепенно, состоят из серии событий, только со временем обретающих форму, которую мы можем, да и то не всегда, разглядеть. С Лофтус было не так. В 1990 году Дуг Хорнград, юрист, пригласил ее свидетельствовать в суде по громкому делу. Подзащитным Хорнграда был шестидесяти-трехлетний человек, Джордж Фрэнклин, чья красивая рыже-волосая дочь Эйлин заявила по прошествии двадцати лет, что вспомнила, как ее отец изнасиловал и убил ее лучшую подругу. Это была длинная жуткая история про камень и череп — идеально подходящая Лофтус, звезде драмы. Она с радостью ухватилась за нее.

— Полностью забыть, что у тебя на глазах произошло нечто чудовищное, а потом неожиданно вспомнить об этом через десятилетия? — говорит Лофтус. — Глубоко запрятать все подробности, а потом как при фотовспышке восстановить их в уме со всей точностью? Сомневаюсь. — Лофтус не оспаривает сам факт травмирующего события («конечно, дети страдают от рук взрослых»); она не верит только в то, что воспоминание могло быть полностью скрыто от сознания, но сохранено во всех деталях в какой-то внутренней капсуле, подобно ушедшему на дно сундуку с сокровищами, который в один прекрасный день открывает взгляду сверкающие изумруды и блестящее золото. Когда дело касается памяти, говорит Лофтус, блеск быстро тус-

кнеет. Она сама наблюдала, как воспоминания могут быть искажены; ее ранние эксперименты показали, что со временем они стираются. Этот же человек, Джордж Фрэнклин, мог быть приговорен только на основании воспоминаний его взрослой дочери, извлеченных из неведомых глубин руками врача, последователя «Нью Эйдж», применявшего внушение. Внушение! Это личный гоблин Лофтус. Люди настолько внушаемы, их кожа еле прикрывает кости и мышцы, так что проникнуть внутрь может что угодно. Страшновато...

Итак, Лофтус свидетельствовала в пользу Джорджа Фрэнклина, убеждала жюри, что воспоминания Эйлин не могут рассматриваться как точные — не по вине Эйлин самой по себе, а потому, что такова механика памяти, которая ржавеет под дождем. Во время самого знаменитого суда десятилетия Лофтус говорила о том, что разум смешивает факты и вымысел в процессе своего нормального функционирования, что ее испытуемые в лаборатории делали красный сигнал желтым, помещали амбары туда, где их никогда не было, вспоминали черные бороды на бритых подбородках. Эйлин рассказывала о том, что *видела* камень, которым ее отец раскрыл череп ее лучшей подруги Сюзан, видела, как блеснуло на солнце кольцо у него на пальце, видела умственным взором кровь и что-то голубое...

— Неправда, — сказала Лофтус. — Обо всем этом Эйлин позже прочла в газетных сообщениях.

Присяжных это не убедило, они не согласились с Лофтус, и она отправилась домой, проиграв дело. Она утверждает, что именно это событие определило ее дальнейшую работу. Фрэнклин был осужден за изнасилование и убийство лучшей подруги дочери через двадцать лет после гибели девочки, и Лофтус почувствовала, как ее охватывает холод.

— Моя миссия, — говорит она мне, — моя миссия в жизни с тех пор и навсегда — помогать невинно осужденным. Я поняла, что разговоры о сигналах светофора и амбарах не будут приниматься во внимание, особенно в новом климате в стране,

когда лечение для восстановления памяти стало так модно и все поверили в реальность вытеснения* воспоминаний. Я поняла, что мне нужно доказать не только то, что воспоминания можно *исказить*, — это, видит бог, я доказала, — но и что возможно создать у человека *совершенно ложные воспоминания*. — Эти слова Лофтус произносит с особым чувством: гоблин жаждет показать трюк. Элизабет Лофтус получила докторскую степень в Стэнфорде, она великолепный математик и обладает даром нащупать пульс современной культуры, чтобы потом зарезать ее спорами собственных убеждений. И должна сказать, многие из ее убеждений хороши. Некоторые — похуже. В целом она такая же, как и большинство из нас, только в несколько раз больше — смесь интеллекта и слепоты, множество чувствительных точек,

Лофтус выступала в суде по делу Фрэнклина в 1990 году, подвергнув сомнению достоверность воспоминаний Эйлин. За несколько лет до этого вышла в свет книга Эллен Басе и Лауры Дэвис «Смелость, чтобы исцелиться: руководство для женщин, в детстве переживших сексуальное насилие», сразу ставшая бестселлером. Особое возмущение Лофтус вызвала фраза из этой книги: «Если вы думаете, что подвергались насилию, значит, так и было». Психотерапевты советовали своим пациенткам, испытывавшим травматическое вытеснение воспоминаний, «дать волю воображению». Примерно в это же время суды начали пересматривать срок давности для преступлений, связанных с сексуальным насилием: вместо пяти лет с момента события теперь иск можно стало подавать в течение пяти лет со времени возвращения памяти; это означало, что сотни и тысячи пожилых людей оказались об-

* Вытеснение — форма психологической защиты, посредством которой неприемлемые для личности воспоминания, чувства, желания становятся бессознательными, сохраняя при этом свои эмоциональные и психовегетативные компоненты.

винены в таких преступлениях своими обратившимися за психотерапией дочерьми.

— Еще были обвинения в сатанинских культах, — говорит Лофтус. — И ни разу, ни единого разу ФБР не нашло и следа доказательств.

Совпадение факторов... Книга Басе и Дэвис. Суд над Фрэнклином. Но больше всего — письма со всей страны от пожилых родителей, которые знали, что Лофтус защищала Фрэнклина, и молили ее о помощи. Старики писали о том, что дети обвиняют их в гротескных сатанинских обрядах — эти обвинения были фантастическими и совершенно абсурдными, но тем не менее они разрушали семьи и погружали в отчаяние отцов и матерей, клявшихся в своей невиновности.

— Мой дом стал для этих людей пересадочной станцией, — говорит Лофтус, — а счета за телефонные разговоры каждый месяц приходили на сотни долларов. Я понимала, что не смогу помочь несчастным, если научно не докажу, что разум не только искажает реальные воспоминания, но может создавать совершенно фальшивые. Я хотела экспериментально доказать такую возможность. Но как? Все эти этические ограничения — боже, сколько же появилось комитетов по этике, которые, не дают делать абсолютно ничего! Стоит провести невинный психологический эксперимент на людях, и вас уподобят врачу, отказавшемуся лечить сифилис. — Лофтус усмехается. — Лучше всего было бы снабдить испытуемых ложным воспоминанием о сексуальном насилии, но это неэтично, поэтому мне пришлось думать и думать: как создать экспериментальную ситуацию, которая касалась бы травмы, но не была травмирующей. Мне потребовалось много времени. Я рассмотрела столько различных сценариев!

— Каких? — спрашиваю я.

— Боже мой, — пожимает плечами Лофтус, — я уж и не помню.

А потом она догадалась: как экспериментально создать у человека ложные воспоминания, не нарушив правил этики. Лофтус и ее студенты разработали программу «Потерявшийся в молле», трюк, отражающий как общенациональные, так и индивидуальные странности.

Эксперимент состоял из нескольких фаз. Во время пилотного исследования Лофтус предложила своим студентам во время каникул попытаться создать ложные воспоминания у их братьев и сестер, записать разговоры на пленку, а после каникул представить ей записи. Эта часть программы показала, как легко факты меняют форму под грузом вымысла. Для основного же эксперимента Лофтус с помощью своей ассистентки Жаклины Пикрелл привлекла двадцать четыре участника. Для каждого из них был приготовлен небольшой буклет, куда входили описания трех действительно имевших место событий из детства испытуемого (информация о которых была получена от членов его семьи) и одного вымышленного — как испытуемый в детстве потерялся в молле. Эти вымышленные описания, каждое в один абзац, были составлены с помощью родственников испытуемого, согласившихся участвовать в розыгрыше. Участников эксперимента приглашали в лабораторию, предлагали прочесть буклет, а потом сравнить его содержание с собственными воспоминаниями. Если воспоминаний не оказывалось, нужно было просто написать: «Я этого не помню».

Больше всего поразили Лофтус не полученные статистически значимые результаты, а те подробности, которые сообщали некоторые испытуемые по поводу своих ложных воспоминаний.

— Меня просто изумили те подробности, которые придумали и в которые поверили участники эксперимента, — говорит Лофтус, но в ее голосе звучит не изумление, а удовольствие, словно ей удалось докопаться до сути сказки, найти в мозгу то место, где рождаются мифы. Во время пилотного исследова-

ния, например, Крис, которого его старший брат Джим убедил, будто тот в возрасте пяти лет потерялся в молле, пересказывал вымышленный эпизод красочно и с чувством. Через два дня после того как фальшивое воспоминание было имплантировано, Крис рассказывал: «Я тогда ужасно перепугался, что никогда больше не увижу свою семью. Я понимал, что попал в беду». Еще через день Крис вспомнил, как его ругала мать: «Я помню, как мама говорила мне, чтобы я никогда больше такого не делал». Через несколько недель ничего не подозревающий Крис появился в лаборатории и преподнес выросший из маленького семечка, которое заронил его брат, роскошный яркий благоухающий цветок, настоящую искусственную жемчужину: «Сначала я был вместе со всеми, а потом, кажется, отошел к прилавку с игрушками... и тут я потерялся, стал оглядываться и подумал: «Ну я и влип». Ну, вы понимаете... А потом... потом я подумал, что никогда больше не увижу своей семьи. Ну я и перепугался! А тут еще тот старик в синих фланелевых брюках подошел ко мне... Он был старый и лысый, с венчиком седых волос, и в очках...»

Поразительно! Ничего из этих деталей в буклете не содержалось! По-видимому, наш мозг не терпит белых пятен, он от природы не приспособлен к пустоте. Мы заполняем пропуски.

Работы Лофтус демонстрировали подобные ситуации одну за другой. Еще одна участница пилотного исследования, девочка-азиатка, вообразила себе молл, в котором никогда не бывала, представила себе, каковы на ощупь продающиеся там махровые полотенца, длинные белые люминесцентные лампы, скользкий пол под ногами, когда она побежала искать свою бабушку.

Результаты основного эксперимента оказались таковы: двадцать пять процентов испытуемых «вспомнили», как они потерялись в молле, а когда им открыли правду, выразили удивление тем, что их удалось так обмануть.

* * *

— «Потерявшийся в молле», — говорит психиатр Джудит Херман, основательница фонда «Жертвы насилия» и автор книги «Инцест между отцами и дочерьми», — очень мил. Это любопытный эксперимент, который говорит нам прямо противоположное тому, что, как считает Лофтус, она обнаружила. Она полагает, что из результатов эксперимента следует, будто воспоминания нельзя доверять, но присмотритесь к ее данным! Семьдесят пять процентов испытуемых не стали ничего выдумывать. Они — надежные свидетели.

Бессел ван дер Колк, психиатр, специализирующийся на психических травмах, высказывается еще более решительно:

— Я ненавижу Элизабет Лофтус. Я просто слышать не могу ее имя.

Лофтус знает, какова ее репутация в некоторых кругах, но это ее, похоже, не беспокоит. Дело, возможно, в том, что она так страстно увлечена наукой, что на политику просто не обращает внимания; возможно также, что, как и любой деловой человек, она знает, что безвестность хуже плохой славы, а плохая слава лучше, чем никакой. Когда я спрашиваю ее относительно высказывания Херман — что семидесяти пяти процентам испытуемых не удалось имплантировать ложные воспоминания и таким образом можно сделать вывод о надежности свидетельств большинства жертв насилия, — она фыркает.

— Я думаю, что двадцать пять процентов — очень значимая цифра, — говорит она. — Более того, программа «Потерявшийся в молле» дала толчок другим исследованиям ложных воспоминаний, которые дали результат в пятьдесят процентов и выше.

Лофтус начинает рассказывать мне об этих исследованиях: об «эксперименте с невозможными воспоминаниями», когда испытуемых побуждали поверить, что они помнят первые дни после своего рождения, о программе «пролитый на свадьбе пунш», когда участники «вспоминали» белое платье невесты, падаю-

шую из их рук хрустальную чашу, расплывающиеся на ткани пятна и чувство вины.

— Лучше всех в этой стране удастся посеять ложные воспоминания Стиву Портеру, который раньше работал в университете Британской Колумбии, — говорит Лофтус. — Вам следовало бы с ним повидаться. — Узнав об эксперименте Лофтус, Портер провел свой собственный, и ему удалось убедить примерно пятьдесят процентов испытуемых в том, что в детстве на них нападало свирепое животное. — Хотя, — говорит Лофтус, — этого, конечно, на самом деле не было.

Результаты эксперимента «Потерявшийся в молле» Лофтус опубликовала в 1993 году в журнале «Американ псайкологист». Америка тогда была взволнована: всюду рушились стены, Михаил Горбачев объявил о распаде Советского Союза, Берлин стал единым. В США множество людей обнаружили собственные железные занавесы, раздвоение собственных личностей и пытались достичь целостности. Мы хотели, чтобы мир стал единым, а каждый из нас — самим собой, без вытесненных воспоминаний. Средства массовой информации сообщали о потрясающих событиях: СССР сделался Россией, доступной страной, где жили олени и солнце садилось в Сибири с ее рыжими травами. В нашей стране мы имели собственную, типично солипсическую версию тех же событий: Мисс Америка объявила, что обнаружила залежи замороженных воспоминаний в глубинах своего мозга, вытащила их серебряным крючком на поверхность и вот-вот станет целостной личностью.

— Я была разделена на дневного ребенка, который улыбался и хихикал, и ночного ребенка, который лежал, свернувшись в комочек, и раздирался на части собственным отцом. — Благодаря курсу терапии, который выудил эти воспоминания, Мисс Америка наконец преодолела это разделение.

То же самое случилось с Роуз-Энн Барр, чей железный занавес пал и которая объявила на обложке журнала «Пипл»:

«Я — жертва сексуального насилия в детстве». Роуз-Энн утверждала, что испытала распад на несколько личностей, но теперь воссоединяется. Это же утверждали и еще многие женщины и некоторые мужчины, в чьих голосах звучал восторг и ужас. Идея вернувшихся воспоминаний была так популярна, что к этой теме обратились «Тайм» и «Ньюсуик», а также Джейн Смайли в своем романе «Тысяча акров», награжденном Пулитцеровской премией.

Элизабет Лофтус опубликовала результаты своего исследования в самый разгар таких настроений — возмущения и надежды на исцеление; все только и говорили о старых шрамах и нежной розовой плоти; это было время определенного сюжета, и Лофтус бросила ему вызов. Она, по сути, утверждала, что очень многие люди начинают верить в никогда не имевшие места события под влиянием внушения. Кто мог утверждать, что эти так называемые жертвы насилия не оказались под влиянием своих врачей, особенно тех, кто практиковал внушение? После публикации статьи Лофтус выступила с заявлением, что не верит многим рассказам о насилии в детстве: это был вымысел, такой же, как «воспоминания» ее испытуемых о том, как они потерялись в молле. Лофтус пошла еще дальше и подвергла сомнению всю фрейдистскую теорию вытеснения. По ее словам, не существует совершенно никаких объективных свидетельств существования вытеснения как психологического или неврологического механизма. Вместо этого, по мнению Лофтус, за вернувшиеся воспоминания выдаются смесь фантазий, страха, скуки и услышанного в новостях, с тонкими прослойками правды. Существует два вида правды, говорит Лофтус:

— ...правда рассказа и правда события... Когда мы наращаем плоть на голые кости правды события, мы может увлечься, оказаться, если хотите, в плену собственного рассказа. Мы начинаем путать, где кончается правда события и начинается правда рассказа. — Насчет того, почему некоторые люди придумывает отвратительные истории, Лофтус говорит: — Реаль-

мыс факты иногда бывает трудно выразить словесно. Человеку не удается найти слов для описания банальных неприятностей, которые тем не менее оставляют болезненные следы, поэтому он подставляет на их место уже известный сюжет. В других случаях человек изобретает историю, в которую верит каждой клеткой своего тела, потому что она снабжает его идентичностью: он жертва.

Никому не нравится, когда кто-то бросает вызов преобладающей в данный момент парадигме, но сделать это, когда в центре внимания находятся жертвы насилия и когда основной темой является деструктивность отрицания, — для этого требуется мужество, которого у Лофтуса явно хватает. Давным-давно Дарвин воздержался от обнародования своих теорий, потому что опасался неодобрения со стороны церкви; многие упрекают Фрейда за отказ от его первоначальной теории о сексуальном происхождении истерии, поскольку ему было известно, что она противоречит социальным и сексуальным нравам викторианской Вены. Лофтус же ни на секунду и мысли не допустила, что может последовать их примеру.

— Я не могла дожидаться возможности высказаться во взгляды, — говорит она.

Частично ее мужество происходит наверняка из духа противоречия, однако оно имеет и более глубокую причину, хотя я не знаю, какую именно.

— После того как я опубликовала свои данные, люди начали делать мне всякие гадости, — рассказывает она. — Мне пришлось завести телохранителей. Посыпались угрозы судебного преследования в адрес программ, которые предоставляли мне слово; в адрес губернатора приходили возмущенные письма; в университете студенты-психологи буквально шинели, когда я проходила мимо. Мои ученики и я вытерпели множество оскорблений. Но знаете что? — продолжает она. — Мы не счли вытеснять воспоминания об этом.

* * *

Лофтус часто ходит по университетскому кампусу, надев всего одну серьгу, потому что по многу часов в день ко второму уху прижимает сотовый телефон. Спит она мало, а когда спит, ей снится работа, статистические выкладки, полеты на самолетах, лекции, которые она читает без конспектов. Она постоянно сосредоточена, кипит энергией. Обрушившаяся на нее критика ничуть ее не останавливает — хотя как-то в зале какая-то женщина кричала ей «шлюха!». Лофтус продолжает свое дело, с удивительной скоростью приобретая врагов, поклонников и славу. Перед окнами ее офиса обвиненные взрослыми детьми родители устанавливают постеры с объяснениями в любви, а предполагаемые жертвы насилия присылают ей полные ненависти письма. Лофтус просто продолжает работать. После того как ей удалось имплантировать ложные воспоминания о травмирующем событии, она начала размышлять о том, не удастся ли привить человеку ложную память о будто бы совершенном проступке. Однако прежде чем Лофтус смогла придумать соответствующий эксперимент, начался поразительный судебный процесс.

В церковь в Олимпии, штат Вашингтон, где деревья всегда зелены, а поля разбегаются по округлым холмам, часто ходил человек по имени Пол Ингрэм. Ему был сорок один год, и у него было две дочери. Эти две дочери однажды вспомнили — на религиозном мероприятии, когда нужно было покаяться в грехах и очиститься, — что они были ужасно осквернены своим отцом. Пол был допрошен детективами — на протяжении многих часов в тесной комнате с включенным магнитофоном: ты это сделал? ты это сделал? Детектив повторял и повторял этот вопрос, наклонясь так близко, что Пол, должно быть, чувствовал его дыхание на своем лице. Пол был уже не молод и очень боялся хитрых ловушек сатаны, а детективы твердили: «Ты это сделал. Твои дочери не станут лгать». День сменился ночью, потом еще одним днем... без сна, с чашками кофе и

бесконечными требованиями: вспомни, постарайся себе представить... Пол и старался. Он твердил: «О Иисус... Иисус... Милосердный Иисус, помоги мне», рыдая и цепляясь за стол. И наконец, после нескольких дней изматывающих допросов, после живых описаний детективами того, как он будто бы ласкал груди своих дочерей, он сказал, что вспомнил. Запинаясь и продолжая твердить «О сладчайший Иисус», он выдал, что видит теперь все яснее. В тесной комнатке под взглядами детективов Пол Ингрэм признался в изнасиловании дочерей, а начав говорить, не мог остановиться. Он «вспомнил» другие изнасилования, встречи с бандой, десятилетия участия в сатанистских сборищах — все это стало для него реальным: песнопения, отвратительные обряды. Пол Ингрэм был арестован.

Конечно, Лофтус, узнав об этом случае и об условиях допросов, сразу почувствовала что-то сомнительное. Обдумав ситуацию, она связалась со своим другом, специалистом по культам Ричардом Офше, и отправилась повидаться с Ингрэмом в тюремной камере. Офше, как и Лофтус, — специалист по внушению и, как и Лофтус, обожает разоблачать мнимые факты. Итак, Офше посетил Ингрэма и сообщил тому, что один из его сыновей и одна из его дочерей обвинили отца **В** том, что он заставлял их совокупляться у него на глазах. Ингрэм широко раскрыл глаза.

— Ох... О сладчайший Иисус, я такого не помню, — ответил Ингрэм, как он сначала отвечал и на другие обвинения.

— Попробуйте подумать об этой сцене, постарайтесь ее себе представить, — проинструктировал его Офше. Офше велел Ингрэму вернуться **В** камеру и «вымолить» воспоминание. После этого Офше ушел.

Когда он через день вернулся (обратите внимание на то, как сходна эта стратегия с тем, что делала Лофтус во время эксперимента «Потерявшийся в молле»: подсказывала, о чем следовало «вспомнить», а потом ждала сутки или двое), у Ингрэма уже было готово признание **В** проступке, полностью вымыш-

ленном Офше. Да, писал Ингрэм, он заставил дочь и сына заниматься сексом у него на глазах; бедняга описывал случившееся в красочных подробностях — голые тела, удовольствие, ужас... Офше и Лофтус представили это признание суду как доказательство того, что Ингрэм подвергся внушению, что он так внушаем, что готов сознаться в чем угодно. Действительно, позже, когда они сообщили Ингрэму, что вся история была вымышленной, он пересмотрел и остальные свои «воспоминания», только было слишком поздно: он оказался за решеткой, где и провел много лет за единственное свое преступление — слишком живое воображение.

На примере дела Ингрэма Лофтус убедилась, как сильна и всеобъемлюща тенденция выдумывать несуществующее. Это стремление настолько могущественно, что даже побеждает инстинкт самосохранения. Мы выдумываем не только истории, подтверждающие нашу невинность; мы испытываем непреодолимую потребность что-нибудь рассказать о себе любой ценой. Эта потребность оказаться героем социально одобряемого сюжета так сильна, что мы соглашаемся даже на роль злодея.

Тем временем Лофтус почти перестала спать. Ее работа требовала от нее буквально бурлящей энергии. Многие из того, к чему она старалась привлечь внимание, было достоверным и хорошо сбалансированным. В одной из своих статей она писала: «Ложные воспоминания могут быть созданы незаметным внушением со стороны уважаемого члена семьи, чьей-то услышанной ложью, внушением со стороны психолога... Конечно, тот факт, что ложные воспоминания могут быть имплантированы, ничего не говорит о том, реально или фальшиво воспоминание конкретного ребенка о пережитом сексуальном насилии, или о том, как различить достоверные и ложные воспоминания. В связи с обнаруженной изменчивостью памяти встает, однако, вопрос о разумности некоторых рекомендаций, содержащихся в книгах по самопомощи и предлагаемых некоторыми терапевтами».

Это, безусловно, очень осторожное высказывание. Однако в другой статье Лофтус вскоре выразилась более откровенно: «Мы живем в странное и опасное время, которое напоминает об истерии и суевериях охоты на ведьм».

Она начала брать уроки стрельбы, и до сих пор инструкции и мишени висят над ее рабочим столом. В 1996 году, во время интервью для «Сайколоджи тудей», она дважды начала плакать — театрально и впечатляюще, — говоря о расплывчатых границах между фактом и вымыслом; сама она тоже оказалась на расплывчатой границе между убеждением и принуждением, между страстью и гиперболой. «Охота на ведьм», — сказала она, но это сравнение неверно и скорее позволяет лучше рассмотреть психику самой Лофтус, чем реальную ситуацию, поскольку охота на ведьм основывалась на полной чепухе, а скандалы по поводу насилия в детстве вызваны вполне реальными фактами, о чем Лофтус, по-видимому, забывает. Женщины тоже подвергаются насилию, воспоминания имеют значение.

Разговаривая с Лофтус, ощущая ее неукротимую энергию, рвение, которое пылает в центре ее жизни, невольно задаешься вопросом: *почему?* Хочется спросить именно о том, чего Лофтус больше всего не любит обсуждать: *не случилось ли чего-то с ней самой?* Дело в том, что ее словно подгоняют демоны... так что я спрашиваю:

— Что с вами случилось?

Как выясняется, очень многое. Лофтус выросла с источавшим холод отцом, от которого ничего не узнала о любви, но очень многое — о математике. Он показал ей красоту острых углов треугольника, изящество окружности, строгую точность вычисления. Мать была женщиной мягкой, склонной к драматизации и глубоким депрессиям. Обо всем этом Лофтус рассказывает мне довольно равнодушно.

— Теперь я не испытываю по этому поводу особых чувств, — говорит она, — по в подходящей ситуации я могу расплакаться.

Я почему-то ей не верю: эта женщина кажется такой далекой от слез, от истинного горя; она вся погружена в оперные страсти других. Лофтус вспоминает о том, как однажды отец взял ее на спектакль, а возвращаясь вечером домой в машине, когда над ними, как циферблат часов, висела луна, сказал: «Знаешь, у твоей мамы дела плохи. Она никогда уже не поправится».

Он был прав: когда Лофтус было четырнадцать лет, ее мать утонула в бассейне у дома. Однажды летом ее нашли плавающей лицом вниз. Солнце еще только вставало, небо казалось покрытым кровоподтеками. Лофтус вспоминает, какой испытала шок, как выла сирена, как ей закрыли рот кислородной маской, потому что она непрерывно истерически кричала: «Мама! Мама! Мама!»

— Я ее любила, — говорит Лофтус.

— Это было самоубийство? — спрашиваю я.

— Так считает отец, — отвечает она. — Каждый год, когда мы с братьями приезжаем домой на Рождество, мы только об этом и думаем, но никогда точно ничего не узнаем. — Потом она добавляет: — Это не имеет значения.

— Что не имеет значения? — спрашиваю я.

— Было это самоубийство или нет, — говорит Лофтус. — Это не имеет значения, потому что все будет в порядке. — Потом в телефонной трубке становится слышен только статический шум.

— Вы исчезли... — говорю я.

— О, я здесь, — доносится до меня голос Лофтус. — Завтра я отправляюсь в Чикаго, там одному парню грозит смертный приговор. Я собираюсь его спасти, я буду свидетельствовать в его пользу. Какое счастье, что у меня есть моя работа.

— У вас всегда была ваша работа, — говорю я.

— Без нее, — говорит Лофтус, — где бы я была?

В кабинете Лофтус в Вашингтонском университете висит фотография, па которой она стоит рядом с членов Верховного

суда, по соседству с изображением Деми Мур, лицо которой заменено фотографией самой Лофтус.

— Я хотела бы, чтобы у меня бедра были поуже, — говорит она мне. Может быть, странное сочетание расхлябанности и серьезности и есть причина ее успеха. В общительности Лофтус не откажешь: к концу интервью я знаю не только размер ее обуви, но и размер лифчика.

— Нельзя ли не включать это в текст главы? — спрашивает она. Можно, конечно. Лофтус, возможно, в большей мере, чем кто-либо другой из психологов, жертвует профессионализмом ради публичности. Она выступала в популярной телепрограмме, ее статьи печатались и в «Гламуре», и в «Сайкологджи энд итс нейрал сабстрейтс». Можно понять, почему некоторые люди, предполагаемые жертвы и их обвинители, испытывают в отношении Лофтус такие сильные чувства, но как и почему стала она такой известной в определенных кругах? Было ли это резонансом ее работ?

Лофтус говорит о многом, не только о памяти. Она говорит об аутентичности и о том, обладаем ли мы ею. Она обратила внимание общественности — как это не удавалось ни одному постмодернисту-ученому — на то, каким коллажем является наше прошлое, на то, что все мы — художники, автопортреты которых имеют мало сходства с реальностью. Она столкнула нас в экзистенциальную пропасть, и нам там не нравится. Она всех нас превратила в людей, страдающих болезнью Альцгеймера, задолго до того как наш мозг стал атрофироваться, потому что в мире Лофтус память отказывает, и ее остатки далеко не нестираемы; как только событие попадает в гиппокамп, начинается его распад.

Взгляд Лофтус на память и ее невероятно хрупкую структуру противоречит глубоко укоренившимся воззрениям и неврологическим данным. Мы восприняли представления Фрейда о вытеснении как утверждение о том, что мы храним куски своего прошлого в прозрачных капсулах и можем добраться до них —

до нашей жизни! — благодаря вербальному маневрированию. Лофтус говорит: нет; то, до чего нам удается добраться, наполовину сновидение, наполовину реконструкция, совершенно ненадежные. Таким образом, одним взмахом руки она вгоняет кол в сердце старика Фрейда. Нам это не нравится: ведь он — корифей. Через некоторое время после Фрейда исследователь по имени Уайлдер Пенфилд обнаружил то, что представлялось ему материальным субстратом фрейдовского вытеснения. Он вскрывал череп страдающего эпилепсией человека и, прежде чем удались поврежденную ткань, прикасался заряженным стержнем к обнаженному мозгу находящегося в сознании пациента. Пенфилд обнаружил, что когда он касался определенных областей, на пациента обрушивались воспоминания, ясные и отчетливые — воспоминания о том, как он ребенком плакал у каменной стены, как его обнимала мать, воспоминания, озаренные солнечным светом. Они продолжали жить в нас, наши жизни целиком. Большинство из нас никогда не слышали о работах Пенфилда, однако они отразились на нашей культуре — заряженный стержень, секретные ящички в мозгу, где хранятся наши матери и солнечный свет. Лофтус говорит о Пенфилде:

— Давайте подробнее рассмотрим его данные. Только у трех процентов его пациентов действительно возникали воспоминания, и мы не знаем, были ли это реальные воспоминания или фрагменты сновидений.

Все верно. Пенфилд отправляется следом за стариком Фрейдом.

После программы «Потерявшийся в молле» и ее довольно удивительных результатов, а также после экспериментов других исследователей, которым удалось имплантировать такие экстремальные воспоминания, как нападение злобного животного, Лофтус занялась всем, что связано с вытеснением. Она подозревала, что многие вытесненные воспоминания были на самом деле ложной памятью, возникшей вследствие внушения

терапевтами и книгами по самопомощи; отсюда было легко перейти к вопросу: а существует ли вытеснение вообще как психологический или неврологический феномен? Существуют ли реальные свидетельства вытеснения? Применительно к нашей культуре задать такой вопрос — все равно что поинтересоваться, реально ли существует солнце. Оно светит на небе, вы можете его видеть, его лучи обжигают вашу кожу. «Однако увидеть вытеснение я не могу! — сказала Лофтус. — Покажите мне его». Никто не смог этого сделать.

Тогда Лофтус начала охоту. Может быть, вытеснение где-то прячется и ей удастся откопать его и исследовать его механизмы. Она ознакомилась с сотнями статей, посвященных этому вопросу, но ни одна из них не содержала реальных доказательств того, что человек способен полностью забыть травмирующее событие, спрятать его в подсознании, а потом, при определенной подсказке, через многие годы вспомнить. Несомненных неврологических свидетельств этого нет; в мозгу не удалось найти сундук, в котором хранилось бы вытесненное содержание. Более того, исследования Лофтус показали как раз обратное тому, во что было принято верить. Лофтус обнаружила, что большинство переживших травму никак не могут забыть того, что с ними случилось. Нет, например, случаев, когда бы жертвы Холокоста забыли о пребывании в концентрационном лагере; немногие выжившие в авиакатастрофах не забывают, как самолет ушел в пике, чтобы вспомнить об этом только на свое восьмидесятипятилетие, отправившись на «Конкорде» во Францию.

Хотя все это так и Лофтус активно использует эти данные для доказательства своей правоты, она забывает об одном: эти травмы отличаются от перенесенного в детстве сексуального насилия, окутанного секретностью, замалчиваемого.

— Если секретность — ингредиент вытеснения, — говорит Лофтус, когда я указываю ей на это обстоятельство, — тогда

почему все случаи сексуального насилия не подвергаются вытеснению? Они почти все совершаются втайне.

— Какие доказательства были бы вам нужны, чтобы поверить в вытеснение? — спрашиваю я.

— Подтверждение, — отвечает она. — Все очень просто.

Только просто ли?

— Лорен, — говорит Джудит Херман, — вы, как психолог, должны знать, что существует множество доказательств существования вытеснения. Вспомните Шарко. — Действительно, Дэниел Шехтер, исследователь памяти из Гарварда, сообщает о случае, когда сорокалетний мужчина, страдавший от преследовавшего его образа нападения на него, десятилетнего, подростков-насильников, в результате лечения восстановил травмирующее воспоминание о нападении и сексуальном насилии. Событие было подтверждено его двоюродным братом, который был его свидетелем.

Это пример того, что вытеснение действительно может произойти. Однако Шехтер также пишет: «Пока научно достоверных свидетельств того, что люди, годами страдавшие от насилия и угроз в детстве и раннем подростковом возрасте, могут немедленно и полностью забыть о насилии, мало или нет совсем».

Когда Лофтус была молода, она вела дневник. Это была маленькая книжечка в красном виниловом переплете с разноцветными синими страницами. Лофтус знала, что ее мать иногда читала ее дневник, так что она придумала хитрый прием, чтобы сохранить свои секреты. Она записывала какой-нибудь подходящий для глаз матери эпизод на странице книжечки, а то, что было ее личной тайной, на отдельном листке, который прикрепляла скрепкой; почувствовав, что мать планирует набег, она прятала приколотые скрепками странички. Их-то она и называла своими «удаляемыми истинами».

С самого детства Лофтус жила в мире, который менял форму и был безжалостно ненадежен. С самого начала она подзревала, что история является чем-то сконструированным, — и это в 1950-е годы, еще до того, как у всех на устах появилось выражение «постмодерн». Она была скороспелой, склонной к пророчествам.

Критики Лофтус, впрочем, отвергают представление об «удаляемых истинах», особенно применительно к травме. Вот что говорит Бессел ван дер Колк:

— Может быть, Лофтус и показала нам, что в лабораторных условиях испытуемые начинают думать, будто терялись в молле, но это неприложимо к травмирующим воспоминаниям. Они кодируются в мозгу совсем иначе.

Ван дер Колк, симпатичный голландец-психиатр, живет в Бостоне на сказочной улице с булыжной мостовой и газовыми фонарями, улице, которая словно застряла в прошлом; он полагает, что «тело ведет свой счет». Его улица сохранила свою историю; то же самое происходит и с мозгом. Теория Ван дер Колка насчет травмы и памяти выглядит примерно так. Когда с человеком случается травмирующее событие, оно часто оказывается настолько всеобъемлющим, что не может быть понято и выражено обычными словесными средствами; поэтому память о нем хранится в невербальных отделах мозга, соматосенсорной коре, где и существует в виде мышечных болей, острых, но безымянных приступов паники, ярких образов, которые возникают и исчезают прежде, чем рассудок успеваает их опознать. Для исцеления, согласно Ван дер Колку, нужно каким-то образом вывести невербализуемую травму в оперирующие словами отделы мозга; речь разрушит чары, и тогда воспоминание сможет влиться в ткань истории жизни и занять свое место среди других событий, интегрироваться в них.

Лофтус утверждает, что Ван дер Колк не имеет реальных подтверждений своей теории, хотя тот в своих работах ссылается на исследования возникновения образов в мозгу и не гори-

ческие свидетельства. Лофтус называет их историческими анекдотами. К тому же, могла бы она сказать, даже если лирическая теория Ван дер Колка относительно расколов и слияний справедлива, она все равно никак не подтверждает вытеснения как такового. Несомненно, у человека могут возникать физиологические реакции на стимулы, возвращающие его к травмирующим событиям; несомненно, возможны приступы паники, мышечная скованность и все остальное. Однако тот факт, что тело помнит о кошмаре, не означает, что разум его полностью забыл. Спросите контуженного солдата: забыл ли он бой, в котором участвовал? Спросите изнасилованную женщину: забыла ли она мужчину в грязном переулке? Тело ведет свой счет, могла бы сказать Лофтус, но это не значит, что сознание ушло в отпуск.

Джудит Херман в качестве доказательства того, что травмирующие воспоминания достоверны и впечатаны в мозг, приводит данные экспериментов на крысах. Когда крысы выучивают определенное действие в условиях выраженного стресса, уничтожить приобретенный навык очень трудно, если не невозможно.

— Это применительно к животным аналог, если угодно, «неуничтожаемого отпечатка» травмирующего события в памяти, — говорит Джудит Херман.

— И они еще обвиняют меня в том, — отвечает на это Лофтус, — что я распространяю данные, полученные на студентах, на жертв насилия. Сами-то они распространяют на людей заключения, полученные на крысах!

Лофтус начала широкий обзор исследований, касающихся воспоминаний о травмирующих событиях и их достоверности. Она приводит данные о детях, оказавшихся свидетелями нападения снайпера на их школу. Непосредственно после выстрелов были зафиксированы отчеты детей о том, где они были и ч'ю видели. Через неделю после событий, однако, воспоминания детей побледнели или исказились, и полученные от них сведения стали отличаться от первоначальных. Маленькая девоч-

ка, которая в момент выстрелов была в школьном дворе, позже говорила, что находилась за забором игровой площадки. Ее воспоминания оказались совсем не запечатленными навсегда; уже через неделю они начали блекнуть. Коллеги Лофтус изучали воспоминания тех, кто видел взрыв «Челленджера». На следующий день Ульрих Нейсер из университета Эмори опрашивал людей о том, где они находились в момент катастрофы с шаттлом. Записи ответов свидетелей были такими: «Я стоял перед телефонной будкой», «Я жарила яичницу на кухне, а приемник стоял на подоконнике». Через три года Нейсер опросил тех же людей, и лишь очень немногие из респондентов дали те же ответы. Их воспоминания существенно изменились: яичница превратилась в бутерброд, а кухня — в пляж; телефонная будка, как на картине Дали, трансформировалась в здание музея. Когда опрашиваемым показывали их изначальные показания, записанные сразу же после катастрофы, они не могли в них поверить. Люди были уверены в своих более поздних описаниях, что очень хорошо показывает сомнительную связь между уверенностью и достоверностью. Ложные воспоминания оказались пронизаны субъективной достоверностью, так что вымысел в этом перевернутом с ног на голову мире воспринимался как факт.

Когда взорвался «Челленджер», мы с сестрой сидели в кафетерии университета Тафта. Мы ели сэндвичи с тунцом, и листья салата выглядывали из-под ломтиков рыбы. За огромными окнами голые ветви деревьев образовывали черный рисунок на светлом небе. Я всегда это отчетливо помнила, но теперь не уверена... Теперь я ни в чем не уверена. Может быть, я находилась в гостиной дома моей матери, с желтой обивкой стульев и колючим ковром на полу, и мы видели по телевизору два хвоста дыма, растворяющихся в темноте. Все-таки нет, было, должно быть, иначе. В тот день ведь шел дождь, не так ли? И мы с моим здоровенным ирландцем-бойфрендом пили пиво в пабе «Черная роза»... а может быть, это было позже? Шаттл все па-

дал и падал, когда бы мы ни включили телевизор; я хорошо запомнила восторженные лица толпы, в патриотическом порыве обращенные к небу, а потом этот сосущий звук... и общий вздох. Корабль разваливался, куски обшивки летели к земле, а тел не было видно — они исчезли.

— Где вы были, когда взорвался «Челленджер»? — спрашиваю я Лофтус.

— Я сидела в своем кабинете, одна, — отвечает она, и я представляю ее, сидящую за столом. А потом — в одиночестве у нее дома, в ее просторном доме на Западном побережье, где галстуки ее «бывшего» все еще висят в шкафу, как будто он может вернуться.

— Он ушел, потому что я не могла прекратить работать, — говорит Лофтус. — Он хотел путешествовать в отпуск и вести нормальную жизнь. А мое представление о развлечении — это сидеть перед компьютером и пытаться ответить на вопросы.

У Лофтус нет мужа и нет детей, о чем, по ее словам, она жалеет.

— К тому времени, когда мы попытались завести детей, было поздно, — говорит она. — Мне было тридцать шесть, и каждый месяц на белье появлялась кровь.

Я представляю ее себе в одиночестве — в ее кабинете, дома, но главное — в ее сфере исследований. Мне интересно: если бы те вопросы, которые задавала Лофтус, задавал мужчина, какие ответы он получил бы? Впрочем, по правде говоря, не думаю, что именно пол иногда делает Лофтус недоверчивой. Дело не в том, что она словно с неба свалилась, всегда в одиночестве, там, где женщине не следовало бы находиться. Факт остается фактом: Лофтус, похоже, не совсем контролирует ситуацию. Не она направляет свой корабль. Она говорит странные вещи, на стене ее кабинета висят мишени, по которым она практиковалась в стрельбе, но в то же время она проводит блестящие эксперименты, хоть и сравнивает себя при этом с Шиндлером. Она звонит мне, потом швыряет трубку, потом звонит снова и виновато говорит:

— Боже мой, я вам нагрубилa. — Больше никаких объяснений, странно... — Я просто, — продолжает она, — просто испытываю *потребность* воссоединять семьи, разбитые из-за обвинений, вызванных ложной памятью. Мне просто хочется объединить людей. — Это говорит Лофтус, лишившаяся матери девочка, которая через двадцать лет после развода все еще держит вещи «бывшего» в своем доме. «Потребность», говорит она, «воссоединение»... Похоже, Лофтус не осознает, что эта потребность — доказательство того, что она так старается опровергнуть. В ней самой есть какой-то раскол, неразрешенный, подавленный, иногда проявляющийся в странных высказываниях. Она — жертва, которая сомневается в достоверности случившегося с ней. Это — один из способов освободиться.

Но, знаете, Лофтус многое нам подарила. Ее одиночное свободное падение принесло очень значимые озарения, отмахнуться от которых мы не можем. Так где **вы** были, когда взорвется «Челленджер»? **Вы** это помните? Лофтус показала нам, как **высоко** мы летаем и как далека земля — мы ведь невесомы.

— Что вас поддерживает? — спрашиваю я. — Если **вы** не можете доверять памяти, то на что **вы** можете полагаться? — Я вспоминаю слова Достоевского о том, что несколько хороших воспоминаний — это все, что нужно, чтобы примириться с миром. Однако стоит пожить какое-то время в Лофтус-ленде, как становится трудно определить, **во** что можно верить. — У вас есть религия? — спрашиваю я ее.

— Что у вас есть? — спрашиваю я, но на самом деле думаю: «Что есть у каждого из нас?» Что?

Лофтус мне не отвечает. Вместо этого она говорит:

— Несколько дней назад я написала письмо своей матери. — Она показывает его мне.

Дорогая мама!

Сегодня воскресенье, идет дождь, погода отвратительная. Я проснулась утром с ощущением отвращения к жизни.

Тебя нетуже сорок лет... Мне хотелось бы рассказать тебе о некоторых вещах, которые я сделала за эти четыре десятилетия. Недавно я делала доклад о своих исследованиях памяти на конференции в Чикаго. Это была национальная конференция, посвященная невинно приговоренным к смерти и смертным приговорам. Там я видела двадцать шесть мужчин и двух женщин, невинно осужденных обитателей камер смертников; они плакали и обнимали друг друга. Благодаря своей работе я соприкоснулась с людьми, испытавшими ужасную несправедливость.

Когда я не веду исследований и не преподаю, я занимаюсь защитой невинно обвиненных. Конечно, я не уверена, что тот, кому я помогаю, и в самом деле обвинен напрасно, но мысль о том, что обвинение может быть ложным, меня ужасно мучает... Я чувствую себя обязанной помочь и испытываю чувство вины, если хоть на минуту ослабляю усилия.

Почему я такой трудоголик? Может быть, это способ избежать мучительных мыслей? Может быть, работа означает, что я делаю в жизни что-то важное? Сейчас я так занята, что не остается времени думать о том, чего мне не хватает, — семьи, любви, близости. Вот по чему я тоскую. И я очень скучаю по тебе.

С вечной любовью
Бет.

В конце концов Лофтус так и не дает мне ответа: что у нее есть. В конце концов, остается только понимание испытываемой одинокой женщиной боли. Может быть, это и все, что есть у каждого из нас, — просто обыкновенная боль. Никаких надежных воспоминаний, но вполне реальное раскаяние, сожаления, тяжелые, как камни, — на них-то можно рассчитывать. Мы можем, как это делает Лофтус, громоздить эти камни друг на друга, вес выше и выше, стараясь дотянуться до чего-то.

9

Память инкорпорейтед

Эксперимент Эрика Кандела с морским слизнем

В 1980-е годы Элизабет Лофтус многие свои утверждения основывала на том «факте», что не существует нервных механизмов вытеснения. В этой главе, однако, мы встретимся с одним из оппонентов Лофтус, Эриком Канделом, который провел серию экспериментов, вдохнувших в давно вышедшие из моды концепции Фрейда новую жизнь. Изначально Кандел стремился стать психоаналитиком; он до сих пор вспоминает те золотые дни интеллектуального напряжения, но в конце концов предпочел изучение биологии мозга. Кандел отправился в путь, чтобы открыть истинные механизмы памяти, ее тонкие клеточные механизмы. Кандел, которому сейчас за семьдесят, — самый старший из живущих героев этой книги, но он сохраняет творческую молодость; разработанные им техники и области его интересов определяют будущее науки и одновременно являются весомой заявкой на разработку радикально редуктивного подхода к человеческому разуму.

Часть первая

Стоял 1953 год. День операции был жарким и безветренным, над Хартфордом сияло синее небо. Молодой пациент, Генри, страдал жестокой эпилепсией; приступы были такими частыми, что почти разрушили его жизнь. В короткие промежутки между припадками Генри мечтал о той жизни, которую вел до болезни, когда его рука была достаточно тверда, чтобы охотиться в лесу. Отец Генри был в ужасе от его заболевания, мать пыталась облегчить мучения сына, когда у того изо рта начинала бить пена. Лекарства не помогали. Спорт не помогал. Молитвы не помогали. Тогда доктор Сковилль из Хартфордского госпиталя предложил экспериментальное лечение. Семья сказала «да».

Ни Генри, ни его родители не знали доктора Сковилля. Они не знали, например, что тот увлекается лоботомией и уже произвел более трехсот операций в психиатрических лечебницах округа; со своей ручной дрелью он переходил от пациента к пациенту, пока не прооперировал всех до одного. Сковилль был необыкновенно красив, это все видели, и родные Генри считали его аристократом; чего они не знали, так это мнения некоторых его коллег, считавших доктора Сковилля склонным к чрезмерному риску. В свободное время Сковилль обожал гонять по дорогам Коннектикута на красном «ягуаре», преследуемый полицией; еще он любил тратить деньги, а его жена вспоминает, как, ухаживая за ней, он вскочил на подножку движущегося «шевроле».

— Он — новатор, никогда не соглашавшийся принять status quo. За фасадом бешеной активности, движимый ненасытным эго, он искал лучшие пути лечения, — писал о нем один из его коллег в «Джориал оф сергикал нейролоджи».

Вот в руки этого-то человека и отдал Генри свою голову. Он не представлял себе, что его ждет, но зато у доктора Сковилля была идея. Он подозревал, что припадки Генри зарожда-

ются глубоко в височных долях, и маленькая искорка быстро разгорается в считавшейся тогда бесполезной части мозга: гиппокампе. Сковилль предложил Генри удалить гиппокамп. Он уже делал раньше такие операции страдающим эпилепсией, и они, похоже, помогали. Сковилль, рассказав об этом Генри, умолчал о том, что все его предыдущие пациенты страдали тяжёлыми психическими заболеваниями, так что не было возможности оценить, не причинила ли им операция вреда.

В те дни о биологии мозга было известно немного. Один психиатр обнаружил, что его страдающим психозами пациентам помогали поездки на тряском поезде; поэтому стало применяться лечение, когда несчастного больного подолгу трясли. Другие врачи считали, что шизофрению излечивает малярия. Основываясь на серии экспериментов, проведенных Карлом Лэшли, ученые считали, что в мозгу нет специфических областей, ответственных за память. В 1929 году Лэшли удалял у живых крыс различные участки мозга и нашел, что отсутствие любого участка не оказывало иного воздействия на память, чем отсутствие любого другого участка. Память, заключил Лэшли — и так же думал Сковилль, — диффузна, не имеет локализации, распределяется, как разбросанные щедрой рукой семена, по всей коре.

Основываясь на таком предположении, Сковилль не испытывал сомнений, удаляя гиппокамп Генри. В операционной было прохладно. Находившийся в полном сознании Генри лежал на операционном столе. Поскольку в мозгу нет нервов, подобные операции проводились без наркоза, только при местном обезболивании разреза на коже головы. Был сделан укол лидокаина. Тут же Генри, должно быть, увидел приближающегося к нему Сковилля с ручной дрелью. Два отверстия были просверлены над широко открытыми глазами Генри, и в эти отверстия Сковилль по очереди погрузил узкую лопаточку, с помощью которой приподнял передние лобные доли мозга.

В операционной было тихо. Сестра, подайте то. Сестра, подайте это. Никаких больше звуков. Сковилль смотрел в глубь

мозга Генри. Он заглядывал под кору. Как же это было красиво — под коралловым рифом полушарий открылись внутренние капсулы мозга, где расположены пирамидальные клетки, похожие на гиацинт; в сложных конусах тесно сплетались крошечные нейроны. Вот в этот-то неизведанный регион Сквилль и погрузил тонкую серебряную трубочку. Он медленно вводил ее глубоко в пульсирующий мозг Генри, а потом высосал розовато-серые образования, напоминающие по форме морского конька, расположенные с каждой стороны мозга. Теперь был удален весь гиппокамп. В голове Генри образовалась полость, неровная дыра, на месте которой когда-то что-то жило.

Что чувствовал Генри, когда Сквилль высасывал его гиппокамп? Он был, в конце концов, в полном сознании; а ведь гиппокамп, хотя этого тогда никто не знал, гиппокамп — это место, где обитают многие наши воспоминания. Чувствовал ли Генри, как его прошлое исчезает? Чувствовал ли он приближение забвения, подобного опускающемуся на него холодному туману, или это было больше похоже на скольжение по наклонной плоскости — его возлюбленная, его сомнения, коты, оружие под крыльцом, — все постепенно растворяется в пустоте?

После операции обнаружилось, что у Генри стало гораздо меньше припадков; обнаружилось также, что он потерял способность формировать воспоминания. Сестра входила в палату, называла себя, но через пять минут Генри не имел ни малейшего представления о том, кто она такая. Он узнавал свою мать, но ни одного человека и ни одного события, происшедшего после операции, запомнить не мог. По прошествии пятидесяти лет Генри остается все в том же состоянии. Он, глубокий старик, живет теперь в доме престарелых неподалеку от Массачусетского технологического института. Его мать умерла в 1960 году, и каждый раз, когда Генри слышит об этом, он заново ее оплакивает, полагая, что узнал о ее смерти впервые. Он считает, что президентом США все еще является Трумен. Генри не способен вступить в какие-либо отношения с окру-

жающими: он не может запомнить ни лицо, ни голос... лицо и голос — главное, что нужно для комфорта и утешения. Генри, известный теперь в медицинской литературе как Г.М., не имеет ни комфорта, ни утешения.

Через несколько недель после операции, когда стало ясно, что психическое состояние Генри не улучшается, Сковилль понял, что случайно, заодно с источником припадков, удалил фабрику по производству воспоминаний. Должно быть, он тогда испугался. Может быть, он почувствовал угрызения совести. Однако больше всего на него произвело впечатление научное значение его случайного открытия, потому что из него следовало, что Карл Лэшли не прав. Не прав! Память — не россыпь точек, которые невозможно определить, как писал Лэшли и как в то время считали ученые. Несомненно, гиппокамп играет главную роль в том, что касается воспоминаний, поскольку без него Генри обречен жить только в бледном настоящем. Сковилль опубликовал данные о своей великой неудачной операции. Он коснулся плоти памяти, которая была вовсе не духовной или мифической субстанцией. Память была материальна. Ее можно было очертить, как страну на карте. Вот тут обитает ваше прошлое, а там — ваше будущее: в этом похожем на морского конька органе, под коралловым рифом коры мозга... в се ребряной трубочке, которую держит в руках хирург.

Часть вторая

Бренда Милнер, вероятно, знает Г.М. лучше всех. Она помнит, с каким ужасом узнала о том, что сделал Сковилль, и как захотела увидеть пациента собственными глазами. В 1957 году, когда Сковилль опубликовал результаты операции, Милнер изучала память под руководством Уайлдера Пенфилда, знаменитого ученого, который, касаясь заряженным стержнем участков обнаженного мозга своих пациентов-эпилептиков, иссле-

давал, какие образы — тактильные, обонятельные, визуальные — при этом возникают, а потом клал на этот участок кусочек бумаги с обозначением того, за что он ответствен. Вот так и происходило первоначальное составление карты мозга.

Милнер, по-видимому, была уже готова искать собственный путь. Ей, должно быть, надоели бумажные указатели. Она рассказывает, что, узнав о случае с Генри, вооружилась тестами памяти и вскочила в первый же поезд. Ей уже случалось иметь дело с потерей памяти, но Г.М. давал ей шанс изучить амнезию в самом чистом виде.

Бренда Милнер хотела точно знать, какие психические функции Г.М. утратил, но более важным было выяснить, какие психические функции у него сохранились. Например, хотя он не мог вспомнить разговор, после которого прошло пять минут, он мог ходить, а движение — одна из форм памяти, не так ли? Г.М. не знал, что, проснувшись утром, нужно чистить зубы, однако если ему давали зубную щетку, его рука начинала действовать самостоятельно. Возможно, это было похоже на то, что испытывают музыканты, когда они погружены в мелодию и когда их руки обретают собственную власть и пальцы следуют собственному ритму, словно каждый из них обладает крошечным мозгом, отдельным от основного.

За годы тестов и наблюдений Бренда Милнер сумела обнаружить важные особенности механизма памяти; Г.М. служил доказательством ее открытий. Да, роль гиппокампа в запоминании внешних биографических деталей велика: его можно назвать основой сознания как такового, — однако существует и другая система памяти, расположенная совсем в других областях мозга, и ее Милнер назвала процедурной, или бессознательной памятью. Даже если мы теряем способность узнавать имена и лица, мы можем все же сохранить умение ездить на велосипеде или закуривать сигарету. Г.М. не мог сказать, сколько ему лет или узнать свое лицо в зеркале, но если бы его отвезли в Хартфорд, где он жил в юности, он нашел бы дорогу к

своему старому дому и смог бы постучаться в дверь своего прошлого, для описания которого он находил так мало слов. Генри был живым доказательством того, что фрейдовское бессознательное имеет реальный неврологический базис. Однако как работают эти нейроны, никто не знал.

Милнер делала свои заключения о материальных субстратах памяти не из непосредственных их исследований, а из наблюдений за их функционированием в целостном организме, в человеческом существе — Генри. Таков был ее личный вклад в психологию: долговременное изучение Г.М. и полученное на его основе знание о том, что память действует по крайней мере на двух уровнях. Благодаря вдохновившим их открытиям Милнер ученые сумели обнаружить множественные независимые системы памяти в нашем мозге: процедурную память, представляющую собой в основном бессознательную память, обеспечивающую двигательные навыки; семантическую память, благодаря которой мы запоминаем факты; декларативную память, позволяющую нам знать, кто мы такие. Существуют даже, как думают некоторые ученые, отдельные механизмы памяти для отдельных категорий: за различение фруктов отвечает одно неврологическое образование, а овощей — другое; за различение кошек — третье, а собак — четвертое. Таким образом, весь мир, похоже, втиснут в отдельные кортикальные контейнеры.

Часть третья

• Эрик Кандел, не колеблясь, называет себя редукционистом; для него наука представляет собой серию разрозненных частей, а вовсе не нераздельный организм. Для Кандела секреты памяти могут быть открыты путем изучения того, как нервные клетки разговаривают со своими соседями.

Начиная свое медицинское образование, Кандел собирался стать психоаналитиком, но, проучившись четыре года, ус-

лышал о случае Г.М., который произвел на него глубокое впечатление. В результате Кандел решил продолжить свою карьеру в Национальном институте здравоохранения в Бетезде, исследуя межклеточные взаимодействия в гиппокампе кошки.

— У меня это хорошо получалось, — говорит Кандел, которому сейчас за семьдесят. — Я и не догадывался, как хорошо мне будет удаваться лабораторная работа.

Кандел родился в Вене. Его отцу принадлежал магазин игрушек, так что Эрик имел доступ к красочному миру детства... но в 1938 году армия Гитлера вошла в Австрию. Кандел помнит Хрустальную ночь*, засыпанные битым стеклом улицы, зубные щетки, которыми евреев заставляли тереть тротуары.

Интересно было бы узнать: какую роль Холокост сыграл в увлечении Кандела изучением клеточных основ памяти?

— Иногда мне кажется, — говорит Кандел, — что я не в полной мере воспринял события. Я могу рассказать вам обо всем, что со мной происходило, но у меня отсутствует связанный с этим аффект. По милости Бога я мог оказаться в Дахау; я могу говорить об этом, но страха я не чувствую.

В 1939 году Кандел эмигрировал в США. Он вырос в Нью-Йорке, в пятидесяти милях от городка в Коннектикуте, где у его ровесника Г.М. было совсем другое детство. Кандел проявил необыкновенную одаренность. Он поступил в Гарвард. Несмотря на пережитую в детстве травму, его мозг развивался, все более наполняясь новыми знаниями. Что касается Г.М., то он как раз пережил свой первый припадок, его мозг функционировал не так, как нужно; ему пришлось бросить школу, в то время как Кандел демонстрировал все большие успехи. Эти двое, конечно, никогда не разговаривали друг с другом, но их жизням предстояло пересечься где-то в пространстве, где-то у нас

* Хрустальная ночь (другое название — ночь разбитых витрин) — ночь с 9 на 10 ноября 1938 года, во время которой по всей Германии и Австрии прошли еврейские погромы.

над головами, над плотью, там, где мы встречаемся и соприкасаемся, хотя можем об этом и не знать.

В Гарварде Кандел был очарован психоанализом, однако стоило ему оказаться в неврологической лаборатории, как его предпочтения изменились.

— На самом деле, — говорит Кандел, — я никогда не думал, что психоанализ и нейронауки несовместимы. Фрейд, в конце концов, был психоневрологом. Психоанализ в первую очередь занимается памятью, и моя работа — это попытки высветить ее механизмы. Думаю, что удастся найти нервный базис для многих психоаналитических понятий.

Кандел очарователен. Он носит ярко-красный галстук-бабочку и подтяжки. Его привлекает соединение разделенных областей — психоанализа и нейронаук, хотя на самом деле этот интерес для него — на втором месте. Его основное увлечение возникло больше сорока лет назад, в лаборатории Национального института здравоохранения, где, стремясь понять биологию памяти, он начал изучать нервные клетки гиппокампа. С гиппокампом, впрочем, работать трудно: в нем миллионы нейронов, и тысячи из них могут поместиться внутри маленькой буковки «о». Канделу потребовались годы, чтобы понять эту сложную тончайшую архитектуру. Ему требовалась другая модель.

— В 1950—1960-х годах, — говорит Кандел, — многие биологи и большинство психологов полагали, что научение — это та область биологии, в которой использование низших животных в наименьшей мере могло принести успех. Я, однако, считал, что сомнения по поводу применимости простых экспериментальных систем при исследовании научения необоснованны. Если элементарные формы научения — общие для всех живых организмов, обладающих нервной системой, должны существовать неизменные характеристики механизма научения на клеточном и молекулярном уровне, которые можно успешно изучать даже на простейших беспозвоночных.

В соответствии с этими своими взглядами Кандел начал активный поиск подходящего экспериментального животного и остановился на слизнях, в первую очередь на гигантском морском слизне аплизии. У аплизии всего двадцать тысяч нейронов, многие из которых можно разглядеть даже невооруженным глазом. Это было животное, легкое для изучения, но при этом дающее результаты, применимые к человеческим существам, поскольку, как говорит Кандел, наши нервные системы одинаковы — прямо вниз по пищевой цепочке.

— Мне был нужен радикально редуccionистский подход к проблемам сознания, — говорит Кандел. Поэтому он выбрал аплизию, пурпурную, желеобразную, оставляющую за собой на ладони влажный след.

Вот что сделал Кандел. Он стал дрессировать своих морских слизней. Он касался их вязких тел — их сифонов — электрическим разрядником, и слизень прятал жабры. Кандел с коллегами скоро выяснили, что этот простой рефлекс можно выработать тремя различными способами научения: привыканием, сенсублизацией и классическим формированием условного рефлекса. Конечно, Скиннер и Павлов обнаружили сходные явления, но то, что они в начале столетия называли «теорией научения», Кандел к концу века назвал памятью. Те же проблемы, но разные подходы. Однако подходы важны: они влияют на то, как мы видим стоящий перед нами вопрос. Сформулировав вопрос как отчасти проблему памяти, Кандел открыл дорогу широким исследованиям того, как мы удерживаем в памяти свое прошлое, а это, возможно, был главный вопрос, стоящий перед миром после Холокоста.

Кандел сделал один решающий шаг за пределы того, что сделали Скиннер при изучении голубей и Милнер при наблюдениях за Г.М.: он проследил за тем, что случается с нейронами морского слизня, когда они осваивают — запоминают — новое задание. Многие ученые начиная еще с XVIII века высказыва-

ли гипотезы о том, что происходит в нейронах при формировании памяти, но никому еще не удавалось это продемонстрировать. В 1894 году Сантьяго Рамон-и-Кайял предложил теорию, согласно которой память сохраняется благодаря образованию новых нервных связей. Александр Форбс предположил, что память хранится в самовозбуждающейся цепи нейронов. Позднее этот взгляд поддержал Дональд Хебб, но все эти предположения только теориями и остались. До Кандела никто не подкреплял интуитивные догадки фактическими доказательствами.

Итак, Кандел дрессировал морских слизней, наблюдал за ними и производил измерения. Он приучал слизней убирать жабры при прикосновении, одновременно наблюдая в микроскоп и записывая изменения, происходящие в нейронах аплизии. Он обнаружил, что связи между нейронами, названные синапсами, делаются сильнее при прохождении электрического сигнала, подкрепляющего рефлекс. Он наблюдал за двумя нейронами — одним сенсорным, другим моторным, — передававшими более сильные импульсы друг другу по мере того, как поведение закреплялось.

Таким образом, кредо «используй, или потеряешь» оказалось верным. Каждый раз, когда вы практикуетесь в каком-либо действии, вы все глубже внедряете в мозг сеть нейронов, ответственных за его выполнение; чем чаще вы возвращаетесь к воспоминанию, снова и снова повторяя себе его содержание, тем более громко и гладко звучит электрохимический разговор между соответствующими синапсами в вашем мозгу. Я знаю по опыту, что это так. У нас есть пианино. Сначала мои пальцы, касающиеся клавиш, были неуклюжи. Теперь же, после несколько недель ежедневных упражнений, я чувствую, как в моем мозгу петелька цепляется за петельку. Я чувствую, как синапсы подают смазку к моим пальцам, чтобы они правильно извлекали ноты единственной простенькой песенки. Постоянно играя на пианино, я заставила по крайней мере два не связанных ранее нейрона вступить во взаимоотношения, а от этого — от возник-

шей связи — в конце концов и зависит память. Наш мозг бескомпромиссно устанавливает связи, да, он один большой коммутатор, соединяющий между собой незнакомцев, которые начинают находить протоптанные дорожки к дверям друг друга.

Кандел был первым, кто действительно создал молекулярную модель примитивной памяти. Теперь перед ним возник другой вопрос: как, интересно, мозг трансформирует кратковременную память в долговременную? Возможно, Кандел вспомнил о Г.М. Тот факт, что Г.М. был в состоянии помнить лицо своей матери даже при отсутствующем гиппокампе, наводил на мысль, что гиппокамп — то самое место, куда поступают воспоминания, где они упаковываются, обвязываются ленточкой и затем отправляются на склад долговременной памяти где-то в другом месте. Информация о лице матери Г.М. явно была обработана гиппокампом задолго до операции и потом сохранена там, куда не добрался скальпель.

Счромный объем впечатлений, звуков, чувств, взаимодействий, обрушивающийся на нас ежедневно, погрузил бы нас в океан умственной неразберихи, если бы мы запоминали все подряд. Вместо этого то, что мы обычно вспоминаем, — общее впечатление, оставшееся от прошлого: для меня это дом моей бабушки, запах кедра, низкое белое зимнее небо, которое я видела так часто, что теперь не могу определить, вспоминаю ли я само небо или свое воспоминание о нем. Однако прошлое оставило мне несколько ярких картин, которые я вижу отчетливо, хотя, возможно, они и неверны. Я помню, как одним зимним утром шла по полю и оказалась перед огромной ямой, полной воды, и когда я заглянула в нее, то увидела плавающую на поверхности мужскую шляпу. Я помню также, как смешала содержимое двух бутылочек из химического набора и устроила небольшой, но впечатляющий взрыв. Я помню, как моя мать сказала мне, что доктора Кинга застрелили, а я подумала, что она имеет в виду моего педиатра, которого тоже звали доктор

Кинг. Я очень хорошо помню наших соседей — семерых малышей, которые погибли во время ночного пожара, и вонь гари чувствовалась в нашем доме многие недели.

Так вот вопрос: какой процесс в моем мозгу позволил этим воспоминаниям лишиться своего кратковременного статуса, пройти обработку в гиппокампе и сохраниться — для того чтобы быть сейчас изложенными на бумаге? Кандел полагал, что существует механизм перевода кратковременной памяти в долговременную и, как это типично для него, камикадзе-редукциониста, для выявления его использовал даже не простейшего морского слизня, а кусочек его мозга. Он отпрепарировал аплизию и поместил в питательный бульон всего два нейрона.

Манипулируя нейронами, Кандел разместил их так, что нейрон 1 установил при помощи синапсов связи с нейроном 2. Такова была механика памяти в своей наиболее минималистской форме. Затем Кандел показал, что, заблокировав одну молекулу в глубине нейрона 1, молекулу белка, связывающую циклический аденозинмонофосфат, молекулу, именуемую CREB, он может нарушить обмен информацией между нейронами. При заблокированной CREB события, ассоциирующиеся с формированием долговременной памяти — синтез белков, рост новых синапсов, — не происходят.

Так что же такое CREB? Это молекула, находящаяся в ядре нервной клетки мозга, и ее функция — включать гены, необходимые для производства белков, благодаря которым устанавливаются постоянные связи между нейронами. Таков простой научный ответ. Если описать это метафорически, то CREB — собственная липучка клетки: когда она сцеплена, голос вашей матери и ваша первая балетная репетиция останутся в цепях клеток на годы, а когда расцеплена, то вы можете что-то запомнить, но ненадолго — как телефонный номер, тут же выскальзывающий из памяти. Можно сказать и иначе: кратковременная память немного похожа на внезапно вспыхнувшую влюбленность — единственную химическую реакцию, ко-

торая быстро тускнеет, а долговременная больше напоминает брак, в котором супруги связаны друг с другом и не могут найти новой точки зрения. CREB — такая физиологически необходимая, такая метафорически изменчивая, липучка, клей, разрыв, секс — столь же лирически влиятельна, сколь важна в научном смысле. Она дает нам возможность уловить собственную сущность.

Открытие CREB произвело эффект взрыва в психологии. Оно впервые позволило ученым увидеть формирование постоянных воспоминаний. Оно также впервые увеличило вероятность того, что мы сможем управлять своим разумом с невиданной прежде точностью. Тима Талли, в то время сорокадвухлетнего экспериментатора, очень заинтересовала открытая Канделом CREB. Талли генетически изменил дрозофил так, что они стали рождаться с огромным количеством CREB в положении «сцеплено», — и, как и следовало ожидать, получил насекомых-гениев, дрозофил с фотографической памятью. Они могли запомнить задание после единственной тренировки, в то время как обычным фруктовым мушкам требовалось не менее десяти сеансов, прежде чем они запоминали то, чему их учили. После этого Талли и Кандел начали соревноваться — аплизия против дрозофилы, слизень против фруктовой мушки, — и через несколько лет Кандел получил морского слизня с повышенным уровнем «сцепленной» CREB, которая могла вспомнить — что? Трудно себе представить — соседнюю раковину, цвета кораллового рифа или что-нибудь более прозаическое — спаривание или еду в углу клетки...

Попутно с открытием CREB Кандел открыл ее антагониста, молекулу, под действием которой мыши почти немедленно забывали все вновь освоенные навыки. Кандел оценил перспективы, которые открывало его открытие. В 1997 году он объединился с гарвардским биологом Уолтером Гилбертом, финансистом Джонатаном Флемингом, специалистом в области нейронаук Акселем Унтербеком, и все вместе они основали ком-

панию «Мемори Фармасьютикалс», которая сегодня, когда я пишу эти строки, пытаюсь удержать все подробности в своем стареющем мозгу, разрабатывает новый класс лекарств, обещающий нам пересмотр всех представлений о возрасте и времени, превращение нас, возможно, в мини-Прустов, которых уносит вдаль простой запах корицы, чая или свежего хлеба из булочной.

Я когда-то то ли прочла, то ли написала — теперь я уже не могу вспомнить — рассказ о женщине, которая решила забыть. Она жила одна в доме с розами на обоях, была несчастлива в любви и давно состарилась; вот она и решила забыть про розы на обоях. После этого она решила забыть о чашке кофе в руке, потом — о руке, держащей чашку, потом — о ногах, на которых шла по своему одинокому миру, и по мере того как она забывала о частях своего тела, она становилась все меньше и меньше, просто таяла; она забыла свое лицо и свои глаза, так что наконец не осталось ничего, кроме ее сердца. Потом она забыла и о нем и поплыла, невесомая, свободная, утратившая все человеческое.

Этот рассказ говорит о той центральной роли, которую играет память в нашем представлении о том, что значит жить. Мы все время слышим: память делает нас теми, кто мы есть; те, кто забывает прошлое, обречены пережить его еще раз. Память придает непрерывность и смысл нашему существованию. Мы если и не одержимы памятью, то по крайней мере сильно ею озабочены. Может быть, дело в том, что она обладает такой метафизической и молекулярной значимостью. С другой стороны, возможно, что мы живем во времена, когда памяти придается уникальный статус: куда бы мы ни двинулись, мы наткнемся на память. Компьютеры хранят многие из наших воспоминаний и тем самым становятся продолжением нашего мозга. К 2010 году половина населения будет старше пятидесяти, и посколькo люди — вы и я — живут дольше, все больший процент

оказывается в тумане старческого слабоумия или тонет в трясине болезни Альцгеймера. Успехи в ранней диагностике означают, что многие из нас уже узнали о том, что страдают этой болезнью на ранней стадии, так что остается только наблюдать за угасанием мозга.

В компании Кандела «Мемори Фармасыотикалс» знают об этом. Компания расположена минутах в сорока езды от Нью-Йоркского психиатрического института, в Монтвейле, Нью-Джерси. Внутри здания извилистые коридоры, клетки с крысами и кошками, подвешенные на веревочках макеты мозга, серпообразные срезы коры мозга животных в питательном бульоне, за которыми внимательно наблюдают двадцать сотрудников фирмы. Цель компании: найти химическое соединение, которое поможет отделенным от мозга нейронам в чашках Петри, а потом и нейронам в мозге человека образовать более крепкие, долгие живущие связи. Сотрудники компании надеются фармакологически усилить CREB, чтобы мы смогли вынырнуть из тумана возрастной потери памяти, а наши чувства обрели былую остроту.

Кандел полагает, что лекарства, которые начала разрабатывать «Мемори Фармасыотикалс», будут доступны покупателям через десять лет. Средство, которое создается, не направлено против болезни Альцгеймера; оно предназначено для нас с вами, родившихся во время беби-бума, тех, кто не может вспомнить, где оставил ключи от машины, или поймать вертящееся на кончике языка слово. Проходящее испытание средство называется «фосфодиестераза-4»; пока что его дают престарелым мышам, и к ним тут же возвращается ясность мысли, так что старички преодолевают лабиринты так же успешно, как и молоденькие грызуны.

— Маленькая красная таблетка, — называет свое средство Кандел.

Из всех психологических экспериментов XX века ни от одного нельзя было ожидать столь огромного эффекта, который будет *иметь* этот, когда завершится.

Однако, еще не появившись в продаже, лекарство уже окружено этическими противоречиями. Оно предназначено, как говорит Кандел, для нормального восстановления ухудшающейся с возрастом памяти. Только связанное с возрастом ухудшение памяти, по мнению некоторых ученых, начинается в двадцать лет; так не придется ли нам пускать красненькие капсулы по кругу среди однокурсников сразу после поступления в колледж? Или нужно будет давать их подросткам еще до прохождения тестирования на интеллект, а может быть, даже во время неизбежного подготовительного курса? Не станут ли компании требовать от своих сотрудников, чтобы они принимали лекарство, и не станут ли сами сотрудники делать это, чтобы выдержать конкуренцию? Таковы очевидные этические проблемы; к менее очевидным относится следующее: что случится, если лекарство, укрепив память, каким-то образом откроет архивы нашего мозга и на вас хлынет прошлое во всех его специфических подробностях, о которых вы даже не подозревали: ваша тетушка на пляже, сырость в коридоре вашего дома, светящийся циферблат часов, запах вашего отца, шипение разбрызгивателей воды на газоне, валяющийся в углу ключ, пыль на полке... Кто может сказать? Лекарство, которое должно мощно продвинуть нас в будущее, может оказаться ловушкой прошлого, такого яркого и детального, что мы не сможем сосредоточиться на том, кто же мы такие.

Улучшающее память лекарство сопряжено с миллионом потенциальных проблем. Выпустите на свободу CREB, и бог знает что случится с нашим представлением и о настоящем, и о прошлом. Даже если на нас не нахлынет прошлое, не может ли такое лекарство сделать каждый аспект настоящего столь незабываемым, что мы окажемся в умственной неразберихе? В конце концов, для того чтобы наш мозг был способен забывать, должна быть веская причина. Существует эволюционный императив. Мы отбрасываем мусор и сохраняем то, что нам необходимо для выживания, — что в высокотехнологичном мире, что на равнинах плейстоцена.

Не знаю, задумывался ли кто-нибудь о преимуществах потери памяти. Может быть, это говорит о моей ужасной наивности, но только я никогда не видела в болезни Альцгеймера, после того как пациент попадает в ее текучий мир, всех тех ужасов, которые ей приписывают. В конце концов, наши воспоминания — громоздкие шумные штуки, которые приковывают нас к прошлому или заставляют тревожиться о будущем. Мы так заняты тем, что оглядываемся назад или смотрим вперед (а представления о будущем — тоже разновидность воспоминаний, потому что наши ожидания основываются на том, чему мы научились), что мы редко сосредотачиваемся на настоящем. Мы, возможно, плохо представляем себе, как ощущается чистое настоящее — «сейчас», — не замутненное чувством времени. Об этом, наверное, знают животные — и выглядят счастливыми — и страдающие поздними стадиями болезни Альцгеймера. Дэвид Шенк в своей прекрасной книге «Забвение» приводит слова такого пациента: «Я не знал, что обнаружу в этой болезни такое успокоение. Жизнь очень красива, когда занавес медленно закрывается». Может быть, Г.М. ощущает нечто подобное. Для него каждый раз, когда он пробует клубнику, — это первый раз. Каждый раз, когда он видит снег, — это первый чистый снежок, падающий с неба. Каждый раз, когда его кто-то касается, для него это первое прикосновение, первый знак близости.

Кандел, должно быть, знает, какая опасность сопряжена с избытком воспоминаний, а следовательно, знает и о том, что человеческий мозг нуждается в способности забывать. Один из наиболее известных по литературе случаев — это С, мужчина двадцати одного года от роду, которого лечил А.Р. Лурия*. Молодой человек имел такую необыкновенную память, что, бросив взгляд на четыре колонки цифр, мог тут же их воспроизве-

* Лурия А.Р. (1902—1977) — выдающийся российский психолог и общественный деятель.

сти. Лурия многие годы наблюдал за С, и самое, пожалуй, поразительное было в том, что, сколько бы времени ни прошло, тот помнил все предъявлявшиеся ему колонки цифр, мог вспомнить точное расположение слов на любой прочитанной странице; через двадцать лет он все еще дословно помнил все газеты, издававшиеся в его городе.

Впрочем, у С. была одна серьезная проблема. Он был не в состоянии понять смысл того, что читал. Можно было показать ему «Одиссею», и после шести минут пролистывания огромного тома он мог дословно воспроизвести его слово в слово, но при этом понятия не имел, о чем там идет речь. Его озадачивали окружающие люди, потому что он не понимал выражения их лиц. Он оказывался так погружен в малейшие движения лицевых мышц, что был не в состоянии отвлечься от них и определить, что видит — улыбку или гримасу. С. не представлял себе, как разрешить эту проблему. С. прожил унылую и бесцельную жизнь, искалеченный своими необыкновенными способностями.

Можно привести и менее бросающиеся в глаза примеры, когда людям необходима способность забывать: ветерану вьетнамской войны, страдающему от одержимости страшными воспоминаниями, ребенку, изнасилованному в собственной кроватке, девятилетнему мальчику, на глазах которого его отца навсегда уводят во тьму ночи. Мы хотим помнить, но Кандел, как и все мы, должен знать, что мы испытываем не менее сильную потребность в том, чтобы забыть.

Возможно, Кандел стал бы отрицать присутствие личных мотивов в своей работе над средством, подавляющим память, — «Мемори Фармасьютикалс» разрабатывает и его тоже. Он мог бы сказать, что им движет любовь к исследованиям, чистый восторг открытия, но так ли это? Открыв CREB, Кандел открыл и ее противоположность. Он обнаружил, что нормальный человеческий мозг обладает встроенным механизмом забывания, главным в котором является фермент кальцинейрин. Кандел и его

команда в 1998 году нашли у крыс ген, ответственный за производство кальцинейрина, и обнаружили, что при его активизации крысиный мозг делается бронированным: все страхи забываются.

Удастся ли «Мемори Фармасыотикалс» или какому-либо ее конкуренту создать подобное лекарство для людей? Тим Талли уже разработал нечто подобное. Если этот препарат появится в продаже, его можно будет применить в течение двадцати четырех часов после травмы, и он сотрет воспоминание о ней, правда, вместе с памятью обо всем, что случилось в этот день. Такое лекарство можно было бы давать людям, пережившим ужасные события — нападения террористов, авиакатастрофы, жестокие издевательства. Этот препарат мог бы эффективно снимать такой диагноз, как посттравматический стресс. Эта таблетка оказалась бы капсулой с водой из Леты, реки забвения, к которой стремятся души, жаждущие забыть свое прошлое.

Вероятно, Канделу нравится идея дающего забвение лекарства, и это, с одной стороны, оправдано, учитывая, что его трагическое прошлое всегда рядом и где-то далеко, присутствует, но «отсутствует связанный с этим аффект». Видит ли он потенциальные этические проблемы, связанные с подобным средством? Понимает ли, что оно может быть применено к жертвам геноцида, использовано в политических целях, что отец может дать его малышке дочери, прежде чем изнасиловать ее? Да, Кандел все это видит; может быть, поэтому-то, хотя молекулярно-химические процессы забывания им и открыты, «Мемори Фармасыотикалс» не так уж активно разрабатывает это направление.

В конце концов, похоже, Кандел отдает приоритет силе и важности воспоминаний. В тот солнечный весенний день, когда я посещаю его в кабинете с огромными окнами, он работает над собственными мемуарами.

— Видите, — говорит он, показывая мне на стопку листов бумаги, — это мои мемуары. Я начал их, чтобы, пока не поздно, записать все для моих детей.

Он кладет стопку на кофейный столик рядом со мной. Мне хочется полистать ее и познакомиться с содержанием, но я понимаю, что не могу себе этого позволить.

Кандел отрывает взгляд от манускрипта и смотрит в окно.

— Я был в десяти сантиметрах от Дахау, — говорит он, — и это — одна из причин того, что я всегда стремился получить от жизни все, что могу.

Затем Кандел говорит мне, что через несколько месяцев отправляется в Австрию, что он организует там конференцию. Я предполагаю, что это будет научная конференция, но, когда я спрашиваю об этом, Кандел отвечает отрицательно.

— Австрия, — говорит он, — в отличие от других европейских стран так и не осознала свое прошлое. Я организую конференцию, чтобы помочь стране вспомнить все, что произошло.

Я представляю себе Кандела с огромным шприцем, вводящим Австрии препарат, увеличивающий содержание CREB, чтобы встряхнуть засоренные мозги и заставить вспомнить Хрустальную ночь. Кандел начал свою карьеру с выяснения, как формируется память в одном-единственном нейроне, а заканчивает ее, пытаясь помочь целой стране образовать новые нервные связи, создать национальную сеть синапсов. Открытия, сделанные Канделом в XX веке, одновременно и микроскопичны, и огромны, его подход несомненно является редукционистским, но позволяет увидеть гораздо больше, чем просто сумму отдельных частей.

Через несколько дней после встречи с Канделом я отправляюсь на Кендалл-сквер, где в окружении кофеен и книжных лавок высится Массачусетский технологический институт. Мне нужно попасть в библиотеку, но вместо того чтобы свернуть направо и попасть на Мемориал-драйв, где находится вход в нее, я поворачиваю налево и оказываюсь в путанице узких улочек и аллей кампуса. Я всю жизнь прожила в Бостоне, но никогда не бывала здесь, в утробе науки, где мимо спешат студенты с сото-

выми телефонами в руках. Я не знаю, куда иду, просто гуляю, вдыхая еле заметно пахнувший мылом весенний воздух и любуясь цветущими магнолиями, каждый цветок которых не уступит размером артишоку. Я срываю один, размышляя о маленькой красной таблетке Кандела. Может быть, вскоре мы сможем отменить не только старение, но и саму смерть, приняв красную таблеточку. Захотим ли мы этого? Если мы будем знать, что проживем достаточно, чтобы увидеть своих прапраправнуков, скажем ли мы «да»? А сказав «да», не потеряем ли мы своей человеческой сущности: ведь только рождение и смерть придадут форму нашей жизни... Чем на самом деле мы являемся, если одобряем и в конце концов используем любое средство, увеличивающее наши возможности? Кандел поднимает нас на новые когнитивные высоты, но в какой-то момент мы можем обнаружить, что вращаемся в пространстве без страховочного троса.

Перед собой я вдруг замечаю очень старого человека, который, держась за сиделку, вышел погреться на солнышке. Рядом с ними высится здание, на дверях которого, сделанных из дымчатого стекла, я, прищурившись, читаю название: «Клиника нервных болезней». Не здесь ли живет Г.М.? И не его ли я вижу перед собой, пусть мне известно, что такое невозможно? Я подхожу поближе. У старика бессмысленные глаза, и мне мерещится, что над ними я вижу просверленные Сквиллем отверстия. Г.М... Он лишился своей личной истории, хоть и поселился навсегда в литературе все более расширяющейся области науки. Это кажется неудачной сделкой, ужасно несправедливой, и тут я понимаю, глядя на старика, что предпочла бы сохранить все воспоминания, чем каждый раз видеть все впервые, заново пробовать на вкус каждый фрукт: удовольствие растворяется во тьме прежде, чем оставляет хоть еле заметный след. Так пусть у нас останутся ощущения, пятна, образы, отпечатки, пусть Кандел, если сумеет, даст нам свое лекарство. Тогда наши воспоминания вернут тех, кто ушел из жизни, вер-

нут их из пропасти забвения, которая ждет нас всех, если мы проживем достаточно долго.

Однако никакое лекарство — в этом я уверена — не сможет до бесконечности отодвигать старческое слабоумие. Может быть, мы живем в эпоху постмодерна, но это не делает нас постчеловечными. Никакая наука не смогла до сих пор освободить нас от плоти. В конце концов свет гаснет, и мы возвращаемся во тьму.

Старик и его сиделка медленно возвращаются к дверям из дымчатого стекла. После их ухода я сморю на дверь, но вижу в ней только свое отражение, и это меня смущает. Должно быть, дело в стекле, но я вижу себя ужасно усталой, с ввалившимися глазами и странными пятнышками на лбу... что это? То ли веснушки, покинувшее свое обычное место, то ли мои престарелые нейроны, плавающие в море коры головного мозга, с синапсами, которые съеживаются у меня на глазах.

10

Отколотый

Самое радикальное лечение психических заболеваний

Современные врачи, практикующие психохирургию — лоботомию, лейкотомию, цингулотомию, — утверждают, что это не экспериментальные процедуры; их слова вызывают вопрос: как следовало бы определить этот термин? Если определить экспериментальную процедуру как не принятую в лечебных учреждениях, то психохирургия, несомненно, экспериментальной не является: ее даже покрывают страховые полисы. Тем не менее, как будет показано в этой главе, лоботомия и ее потомок — цингулотомия — совершаются столько же на основе догадок, как и на основе действительного знания; они базируются скорее на мнениях, чем на фактах, и всегда представляют собой непредсказуемое путешествие в серую ткань мозга. Долгая история психохирургии и ее темная репутация наиболее ярко высвечивают, как ни иронично это звучит, центральный этический вопрос, поднятый экспериментальной психологией в XX веке, одновременно закладывая фундамент для будущих раскопок в доступных скальпелю умах человеческих существ.

Часть первая

Его изображение помещено на португальской марке. Это кажется весьма подходящим местом для отца лоботомии — каждый день сотни людей лижут марку, наклеивают ее, и письмо вверх ногами падает в пещеру почтового ящика, а потом изображенная на марке голова проходит через механизмы для сортировки и упаковки, на нее падают горы других писем, и через несколько дней письмо с маркой, пересеченной линиями штампа с датой, добирается до места назначения.

Антониу Эгаш Мониш, человек, изображенный на марке, получивший в 1949 году Нобелевскую премию за открытие психирургии, родился в 1874 году в маленькой рыбацкой деревушке недалеко от Лиссабона. Мало что известно о его матери и об обстоятельствах его рождения, но можно себе представить, как сначала показалась головка ребенка, и акушерка, обхватив руками еще мягкий череп, вытащила младенца, как овощ из красной почвы. Отец Мониша принадлежал к землевладельческой аристократии, и дом, в котором рос мальчик, был просторным, с часовней на втором этаже, где в серебряной лампаде всегда горел огонёк.

С матерью Мониш не жил, да и с отцом прожил недолго. Свое детство он провел в близлежащем городке со своим дядей священником Абадельде. Как ни странно, дядя не воспитал в мальчишке преклонения перед христианскими ценностями — распятым Христом, кротостью, которая будет править миром. Абадельде был одержим славным прошлым Португалии, кровью, пролитой на полях сражений, белыми парусами, как призраки скользящими по синим морям. Он знакомил племянника с шедеврами литературы, и тот мог декламировать эпические поэмы и переводить с латыни еще до того, как пошел в школу; его ум был острым как клинок, отточенный и отшлифованный руками дяди.

Мониш, конечно, поступил в колледж — это было обязательно для людей его круга — и по окончании его решил изучать медицину. В тот год в Лиссабоне стояла суровая зима, даже павлины в дворцовом парке подошли. Руки Мониша оказались поражены подагрой, суставы воспалились и покраснели, пальцы скрючились, как когти. Он никогда полностью не поправился от этой болезни, и через многие годы, делая лоботомию, Мониш был вынужден пользоваться помощью: решающие разрезы делал ассистент, а Мониш смотрел и руководил, и пациент, находящийся в полном сознании, слышал его слова: «Рассекайте нервный ствол. Углубитесь в левую долю. Вы ничего странного не чувствуете, госпожа М.? Сожмите, пожалуйста, руку. Прекрасно, теперь просверлите отверстие с другой стороны».

Но все это еще было в будущем. В конце XIX века Мониш был всего лишь студентом университета в Коимбре с изуродованными руками и страстным желанием оставить свой след в неврологии. Когда острый приступ подагры миновал, Мониш собрал свои вещи и отправился в Париж, где стал учеником Пьера Мари и Жюля Деджерина, чьим учителем был Шарко. Мониш много времени проводил в Сальпетриере, где больные исходили пеной, падали в обморок, дрожали в ознобе; его, должно быть, поражало, какими странными могут быть люди, как страдают их души. Для Мониша было несомненно одно: между разумом и телом нет непреодолимой пропасти. С самого начала она смотрел на душевные болезни как на органические поражения, на продукт путаницы в нервных сетях.

Вернувшись в Португалию, Мониш задумался о том, как можно увидеть мозг. Этот самый важный человеческий орган, заключенный в броню черепа, был совершенно недоступен. Если бы удалось увидеть мозг, может быть, удалось бы и рассмотреть его болезнь. Может быть, там таилась опухоль или кровоизлияние... Мониш много экспериментировал с окраской тканей трупов. Еще с XVII века ученые пытались исполь-

зовать красители, чтобы выявить структуру микроскопических срезов или органов, функция которых была непонятна. Существовали шафрановые краски, полученные из пестиков крокусов, нитраты серебра, окрашивающие прожилки листа, но никому еще не удавалось заглянуть внутрь человеческого черепа. Прежде чем Мониш взялся за изменение человеческого мозга, его амбиции ограничивались тем, чтобы просто его увидеть.

И это ему удалось. Он разработал краситель, который можно было впрыснуть в кровеносный сосуд на шее, и это вещество распространялось вверх, позволяя при помощи рентгена увидеть до сих пор скрытые разветвления сосудов мозга и его доли. Благодаря этому изобретению Мониша стало возможным обнаруживать опухоли и поврежденные сосуды; Мониш сумел сделать видимой болезнь живого человеческого мозга.

Однако успех был достигнут дорогой ценой.

Только подумайте, — пишет Эллиот Валенстайн, автор превосходной книги о психохирургии, — кому хватило бы дерзости ввести бромид в сонную артерию живого человека? Кто посмел бы сделать такое? Я уверен: многие об этом думали, но только Мониш позволил себе подобный шаг, он и стал тем человеком, который совершил неслыханное.

Сначала Мониш вводил краситель трупам, потом — живым пациентам, которых к тому времени у него было много. Он делал уколы в артерию... и один из пациентов, воспаленный мозг которого был расцвечен в синий и серебряный цвета, умер.

Мониш говорил, что для него эта смерть оказалась пыткой.

Тем не менее он продолжал свое дело. Разработанную технику он назвал ангиографией; она получила широкое распространение и используется до сих пор, хотя и была усовершенствована. Ангиография — незаменимый диагностический инструмент. Мониш вторгался в человеческие жизни и брал то, что ему не предназначалось — поэтому его не очень-то лю-

били, — но он добивался, всегда добивался чего-то полезного. Вы можете ненавидеть отца психохирургии, но есть шанс, что он, возможно, оказал помощь вашей голове.

У ребенка сначала развивается зрение, а только потом — способность хватать: мы должны видеть то, что хотим удержать. Так же было и с Моиишем. Сначала он научился видеть мозг и только потом захотел коснуться его своими изуродованными подагрой руками, захотел изменить. Тогда, в 1920—1930-х годах, немногие виды лечения были доступны страдающим психическими заболеваниями, кроме помещения в сумасшедший дом; некоторые проводили там всю жизнь, впадая в буйство и пуская слюни. Моииш знал об этом, поскольку почти треть пациентов его процветающей неврологической клиники обладали отклонениями психики. Врачи уже пробовали применять гипогликемическую кому, лечение холодом, удаление зубов и заражение малярией. Странно. С одной стороны, существовал Фрейд, становившийся все более знаменитым в Вене; он полагал, что человеческий ум зависит в первую очередь от собственной истории, и практически в это же самое время Моииш утверждал, что единственным методом лечения психических заболеваний является соматическое лечение. Современные споры — химия против истории развития, таблетки против слов — не такие уж современные. Мы просто повторяем все те же старые доводы, не добавляя к ним особых озарений.

В 1935 году, когда ему был шестьдесят один год, Моииш отправился в Лондон на конференцию по неврологии. Она проходила в великолепном зале, украшенном статуями, с мраморным полом, с потолком в позолоте. Присутствовало много важных ученых в черных костюмах с костяными пуговицами, с моноклями на цепочках; все они собрались, чтобы услышать о новейших экспериментальных исследованиях. Один докладчик сообщал о выжигании двигательного центра в мозгу собаки; другой — об удалении части коры, ответственной за слух, у обе-

зьяны. Потом двое исследователей, Карлайл Якобсон и Джои Фултон, доложили о своей работе с самкой шимпанзе по кличке Бекки, которая отличалась очень плохим характером. Животное постоянно визжало, в ярости переворачивало свои миски с водой и пищей, мочилось на вещи ученых. Наконец Якобсон и Фултон усыпили обезьяну, спилили ей верхушку мозга и рассекли волокна, соединяющие фронтальные доли с лимбической системой; проснувшись, шимпанзе стала совсем другой. Она была спокойна и послушна; интеллект ее, по-видимому, не пострадал, поскольку она с тем же успехом выполняла все тесты, что и раньше. Та система в мозгу, что вызывала хаос, была разрушена. Это было излечение удалением чего-то, а не исправлением. Мониш слушал про Бекки, сделавшуюся покладистой, и думал о своих пациентах, тех самых, которые не могли перестать трястись; наконец он решился. Он встал и в этом огромном зале с золочеными медальонами и люстрами на потолке громко сказал, так что все могли слышать: «Не следует ли лечить тревожность у человека хирургическими средствами?»

Известно, что все были поражены, если не шокированы, предложением Мониша. Присутствующие, должно быть, переглядывались и поворачивались, чтобы увидеть того, кто произнес эти слова. В зале стояла тишина. Была ли ее причина в том, что в каждой науке существуют свои табу, границы, за которые нельзя переступать? Или дело было в том, что большинство присутствующих уже думали о том же самом и их молчание оказалось свидетельством не возмущения, а согласия? В конце концов, эти ученые знали, как знаем и мы, что вся история науки — это история вторжений на запретную территорию. В наше время мы знаем об исследователях, стремящихся клонировать человека, основываясь на уже достигнутых успехах — зачатии *in vitro*, искусственном оплодотворении, замене ядра яйцеклетки, — создании жизни, которое было божественной прерогативой, в пробирке. Как и клонирование, лоботомия являлась завершением цепи предыдущих открытий. Вскрытия, когда-то

запрещавшиеся церковью, стали приемлемыми, и внутренние органы человека сделались доступны взгляду; врач смог взять в руки человеческое сердце. Все более смелые опыты проводились на собаках и свиньях, а затем в головах живых людей появились электроды, заставляя тела дергаться и извиваться. Лечение было постоянным движением в глубь человеческого тела, и собравшиеся на конференции знали это. Мы знаем это тоже. Возможно, Мониш оказался единственным, кто осмелился громко сказать то, что другие только шептали: «Позвольте мне войти туда. Позвольте моему ножу удалить часть его больного мозга». Интуитивно это все понимали даже еще и до доклада Якобсона и Фултона. Разве страдающие психическими заболеваниями не стискивают руками головы, не трут виски, словно стремясь избавиться от пораженных фронтальных долей?

Мониш поездом вернулся в Португалию. Он медленно прошелся по отделениям клиники, где так часто делал обходы. Пациенты пускали пузыри и скулили, а когда начинался припадок, их сажали в деревянные ванны со льдом. Мониш знал об этих ужасных ваннах, о смиренных рубашках, о ремнях, которыми привязывали буйных. В 1930-х годах, если вам помещали в психиатрическую клинику, был велик шанс, что вы проведете там в среднем семь лет (по сравнению с сегодняшним днем: если повезет, дело ограничится всего тремя днями). Палаты были забиты обитателями всех кругов дантовского ада, людьми, которые молились пришельцам и у которых в животах спали ангелы. Возможно, пациенты поднимали глаза и видели проходящего мимо круглолицего Мониша в синем костюме. Он ведь здесь, чтобы помочь им, не так ли? Больные не знали, что, прежде чем прийти в клинику, сразу же с вокзала Мониш отправился в морг и заказал три трупа. С помощью ручки Мониш попрактиковался, погружая ее в мозг мертвеца до тех пор, пока не определил правильный угол и глубину. Вот сюда. Вот так.

Первой пациенткой, вошедшей в историю, была госпожа М. Ей было шестьдесят три года, и она страдала от тяжелой деп-

рессии и тревожности. У нее возникали параноидальные идеи: она считала, что полицейские пытаются ее отравить. До того, как госпожа М. попала в клинику, она тайком занималась в своей квартире проституцией, пока соседи по дому не заставили ее прекратить. Госпожа М. была глубоко несчастна в трясине своей меланхолии. Иногда она не могла перестать дрожать. К моменту операции она провела в клинике уже четыре с половиной года.

Вечером накануне операции ее остригли и протерли кожу спиртом. О чем она тогда думала? Как ей объяснили предстоящую процедуру? Поняла ли она экспериментальный характер операции? Не было ли это ей безразлично после всех перенесенных страданий? Той ночью, последней ночью, когда ее мозг был еще не тронут, она спала на узкой больничной койке, а Мониш так и не прилег в своем похожем на дворец доме; во всех окнах был свет, и берег моря казался прочерченной чернилами линией.

«Накануне первой попытки естественное беспокойство и опасения были вытеснены надеждой на благоприятный результат, — вспоминал Мониш. — Если бы нам удалось подавить некоторые психологические отклонения при помощи рассеечения определенных групп клеток, это было бы огромным шагом вперед, фундаментальным вкладом в знания об органических основах психических функций».

Конечно, у Мониша была теория, объясняющая, почему лоботомия должна сработать. Он слышал об успехе, который принесла операция на Бекки, самке шимпанзе, но этим дело не ограничивалось. Мониш полагал, что безумие представляет собой серию мыслей, в буквальном смысле физиологически закрепленных в нервных клетках. Навязчивые идеи гнездились в волокнах, соединяющих передний мозг с таламусом, и если их рассечь, можно было бы избавить пациента от мучительных мыслей и чувств. Как выяснилось, теоретическая схема Мониша было чересчур упрощенной, однако она послужила предшественни-

цей открытий Каидела, который доказал, что память и связанный с ней аффект обитают в нервных сетях.

— Мониш внес значительный вклад, — говорит Кандел.

Это же можно сказать, конечно, и о госпоже М. — ее вкладом оказался ее неправильно функционирующий мозг. 11 ноября 1935 года госпожу М. перевели из психиатрической больницы Маником Бомбарда в неврологическое отделение госпиталя Святой Марии, где ее уже ждал Мониш.

Первая лоботомия была произведена не с помощью скальпеля; госпожу М. уложили на стол, обезболили кожу новокаином и просверлили с двух сторон по крошечному отверстию, через которые Мониш и его ассистент Лима при помощи шприца ввели спирт. Мониш полагал, что инъекция спирта будет безопасным и эффективным способом разрушить нервную ткань. С этой целью он и нажал на поршень.

Через пять часов после операции Мониш записал следующий разговор с выздоравливающей пациенткой:

— Где вы живете?

— На Калкада Дестерио.

— Сколько на руке пальцев?

— Пять. — На этот вопрос госпожа М. ответила после некоторого колебания.

— Сколько вам лет? — На этот раз пауза была долгой. Госпожа М. не была уверена в ответе.

— Что это за госпиталь? — Этого госпожа М. не знала.

— Что вы предпочитаете: молоко или бульон?

— Молоко.

Ответы госпожи М., безусловно, не говорили о явном улучшении ее состояния; скорее можно было отметить определенный умственный регресс, но это Мониша не беспокоило. Он знал, что период замешательства после операции на мозге — явление нормальное. Госпожу М. перевели в палату — у нее наблюдалась легкая лихорадка, — а потом обратно в психиатри-

ческую больницу. Через два месяца один из психиатров сделал следующую оценку состояния госпожи М.:

Пациентка ведет себя нормально. Она спокойна, тревожность не проявляется. Мимика все еще несколько чрезмерна. Хорошо ориентируется. Сознание, интеллект, поведение не затронуты. Настроение несколько пониженное, что оправдано в силу беспокойства о будущем. Адекватная оценка прежнего патологического состояния. Оценка настоящего состояния соответствует действительности. Не наблюдается новых патологических идей или иных симптомов; прежние параноидальные идеи отсутствуют. Следует сказать, что после лечения тревожность и беспокойство резко снизились вместе с выраженным ослаблением проявлений паранойи.

Явный успех.

Только... никто не знает, что случилось с госпожой М. потом: исследования Мониша страдали отсутствием последующих наблюдений за пациентами. Что происходило в мозгу госпожи М. после того, как нервные связи были разрушены? Сохранилось ли улучшение? Не наступил ли рецидив? Как прозвучала бы эта история в ее изложении? Мы не знаем. Связи были разрушены.

После госпожи М. Мониш нашел других пациентов. Он выбирал их по принципу доступности, а не диагноза, и подвергся за это критике. Он использовал людей, как морских свинок, и обходился без применения двойного слепого метода. Впрочем, как бы он мог им воспользоваться? Возможности провести одной группе пациентов фальшивую лоботомию, а другой — настоящую не существует. Что же касается самих пациентов, то действительно, они использовались, как морские свинки. Но нужно учитывать и следующее: многим больным быстро становилось хуже, они находились в состоянии, когда им угрожала полная деградация. Это ни в коей мере не означает, что их не следовало считать людьми, однако соотношение цена — выго-

да все-таки меняется. Возможно, Мониш думал: «Операция может действительно помочь этим людям, которым уже не на что надеяться, а даже если и нет, хуже им наверняка не станет — хуже просто некуда».

«Я понял, что мой метод безвреден и может принести пользу психически больным», — пишет Мониш.

Так что он продолжал оперировать, находя пациентов, где только мог, просверливая дырочки в черепе, вводя чистый холодный спирт, — а потом, когда алкоголь выжигал ткань интеллекта, наблюдая за жизненными показателями. В мозгу оставались шрамы и пустоши, как при взгляде с самолета на землю, по которой прошел лесной пожар.

Исходный эксперимент Мониша касался двадцати пациентов; сначала использовался спирт, а потом — лейкотом, инструмент с выдвигающимся вбок лезвием, рассекающим нервные волокна. Мониш наблюдал поразительные вещи. Он видел, как люди, всю жизнь страдавшие от тревожности, делаются спокойными; он видел исчезновение навязчивых идей; пациенты, проводившие многие годы в психиатрической больнице, возвращались домой, а некоторые из них были даже способны работать. Мониш сделал лоботомию тридцатилетней женщине, которая во время путешествия в Бельгийское Конго в приступе депрессии выбросила за борт всю свою одежду и выпила серную кислоту. После операции члены семьи оценили ее состояние как превосходное: «Она стала такой же, как до возникновения психоза». Сама пациентка через несколько дней после операции говорила: «Все прошло. Я хочу вернуться и жить со своими дочерьми».

Из первых двадцати пациентов семеро, по сообщению Мониша, излечились полностью; в семи случаях был достигнут частичный успех и шести больным помочь не удалось. Получается, что примерно в семидесяти процентах случаев имела место выраженная ремиссия у давно страдающих неизлечимыми психическими заболеваниями людей; при этом не было сообще-

ний о нежелательных побочных эффектах. Ученые, занимающиеся психохирургией, высказывают сомнения в таких результатах, подчеркивая, что отсутствие длительного наблюдения обесценивает эти ранние данные. Они также отмечают, что утверждение, будто после операции у больных увеличился коэффициент интеллекта, значит мало, поскольку тесты интеллекта нечувствительны к тем нарушениям мозговой деятельности, которые являются следствием лоботомии. Эта критика, несомненно, обоснована. Тем не менее нельзя считать Мониша и его последователей жестокими чудовищами: ведь среди их пациентов было много таких, чье самочувствие и поведение резко улучшились; эти результаты требуют, чтобы мы отнеслись к психохирургии как к полезному методу в контексте эпохи, когда торазин или прозак еще не появились.

Статью о своем методе Мониш опубликовал в «Американском журнале оф Псайкиэтри» в 1937 году, и путь лоботомии в Соединенные Штаты был открыт. Двое хирургов, Уолтер Фримен и Джеймс Уаттс, начали применять ее по эту сторону океана. Они разработали технику, получившую название трансорбитальной лоботомии: острый инструмент вводился над глазным яблоком и рассекал тонкую кость глазницы. Основное различие между этой процедурой и той, которую применял Мониш, заключалось в методе проникновения в мозг. Мониш сверлил отверстия в лобной кости, а Фримен и Уаттс предпочитали более легкий доступ, вводя скальпель над или под открытыми глазами пациента.

Как бы ужасно ни звучало описание такой операции, Фримен и Уаттс получали результаты, сходные с результатами Мониша, если ограничивались пациентами, страдавшими от тревожности и депрессии. Фримен сообщает о женщине из Топеки, Канзас, пребывавшей в состоянии постоянного возбуждения и сделавшей выбор в пользу операции, чтобы не оказаться в психиатрической клинике. Как и в случае с госпожой М., ее нака-

нуне остригли, хоть она и оплакивала свои кудри, а утром привезли в операционную с головой гладкой и розовой, как попка младенца. Фримен и Уаттс провели лоботомию, зашили кожу, и женщина, еще лежа на столе, с благоговением сообщила, что все мучившие ее страхи исчезли.

Фримен. Вы счастливы?

Пациентка. Да.

Фримен. Вы помните, какой возбужденной были, когда попали сюда?

Пациентка. Да, ужасно возбужденной, не так ли?

Фримен. О чем вы тревожились?

Пациентка. Не знаю. Похоже, я забыла. Теперь это не кажется важным.

Фримен писал, что были получены необыкновенные результаты: «Здравый смысл и умение оценивать ситуацию явно не уменьшились, а способность получать удовольствие от внешних обстоятельств, несомненно, увеличилась». За последующие шесть недель двое хирургов провели еще пять операций и обнаружили, что все пациенты, страдавшие от беспокойства, плохих предчувствий, бессонницы, нервного напряжения, избавились от тревожности.

Конечно, имелись и отрицательные последствия. Припадки. Смерти. Кровоизлияния. Лезвие, оставшееся в мозгу. Послеоперационные инфекции. Рецидивы. Неустойчивые результаты. Мониш описывал женщину, которая через четыре дня после операции начала выкрикивать непристойности и петь. Другие пациенты впадали в детство — прижимали к себе плюшевых мишек и послушно выполняли распоряжения. Фримен писал: «Из перенесших лоботомию пациентов получаются хорошие граждане»; от этих слов веет холодом, но по сути они не отличаются от того, что вызывает критику современных психотропных препаратов. Среди множества важнейших вопросов был и такой: не ведет ли лоботомия к утрате «жизненной ис-

кры»? Большинство подвергшихся операции не цеплялись за игрушки и не выкрикивали непристойностей или по крайней мере делали это недолго, однако наблюдались и непреходящие последствия: многие из них становились менее яркими, как будто они перестали быть самими собой, превратившись в черно-белые ксерокопии, не способные воспроизвести оттенки их личностей.

Впрочем, можно кое-что сказать и в пользу утраты яркости: искра, если она горит чересчур горячо, может обжечь. Один из подвергшихся лоботомии психиатров смог открыть собственную психиатрическую клинику. Другой пациент создал чрезвычайно прибыльный бизнес и управлял собственным самолетом. Так кто может вынести окончательный вердикт? Значение лоботомии не в том, чего с ее помощью удавалось или не удавалось достичь, а в привлечении внимания к медицинской этике: что собой представляет информированное согласие? Этично ли заменять одну форму органической дисфункции мозга на другую? Оправдано ли вмешательство, при котором разрушается здоровая ткань человеческого тела? Не следует ли уважать внутреннюю святость мозга? Не превратятся ли хирурги (и не случилось ли это уже) в длинную руку закона? Есть какая-то ирония в том, что опасения по поводу операции, которая могла лишить человека души, погасить искру, приводят нас в горнило сомнений о том, чего мы готовы лишиться и на насколько сложное лечение будем согласны.

Пресса, никогда особенно не задумывавшаяся о сложности, подхватила новость и стала рекламировать лоботомию. В 1948 году «Нью-Йорк тайме» писала:

Хирургия для душевнобольных: сообщается об излечении от навязчивых идей. По отзывам, новая техника помогла 65% страдающих психическими заболеваниями, к которым она была применена в качестве последнего средства, однако некоторые ведущие специалисты в области неврологии высказывают большие сомнения.

«Харперс» в 1941 году называл лоботомию революционной техникой. К нему присоединялась «Сэтеди ивнинг пост». Стали появляться свидетельства пациентов, похожие на те, что мы читаем и сегодня: наполовину реклама, наполовину размышления. Один из таких пациентов, Гарри Даннекер, в 1945 году написал статью «Меня излечила психохирургия» для «Коронет мэгэзин». Он описывал свое состояние до операции как безнадежное стремление к самоубийству, когда у него не осталось ничего, ради чего стоило бы жить; после лоботомии он покинул «ужасную темницу большого разума». Гарри Даннекер с гордо поднятой головой окупился в автомеханический бизнес, где, по его словам, достиг значительных успехов. В своей статье он пишет: «Моя цель проста: воодушевить и придать мужества тем читателям, кто страдает теми же нарушениями, что были у меня, или чьих друзей преследуют мучительные навязчивые идеи».

Почему же тогда мы продолжаем считать лоботомию чистым злом? Ее пороки очевидны: судорожные припадки возникали почти в 30% случаев, а ее американский апостол Фримен, знаменитый ковбой-хирург с высоко поднятым скальпелем, даже не заботился о том, чтобы стерилизовать инструменты или накрывать пациента простыней перед десятиминутной операцией по рассечению нервных волокон. Фримен много сделал для того, чтобы скомпрометировать лоботомию: подобно современным врачам, назначающим антидепрессанты как средство от любого заболевания, он оперировал всех пациентов подряд, хотя потом и проявлял к ним определенное внимание — посылал рождественские поздравления и навещал, путешествуя в грузовике по всей стране.

Несмотря на сообщения о неудачных исходах, несмотря на близорукий подход Фримена, видевшего в скальпеле универсальное лекарство, не приходится сомневаться, что психохирургия помогла многим людям. Образованная в 1970 году комиссия конгресса, имевшая целью законодательно запре-

тить лоботомию, обнаружила, к собственному удивлению, что психирургия — вполне узаконенная процедура, имеющая «значительную терапевтическую ценность для лечения определенных заболеваний или для облегчения определенных симптомов». Комиссия пошла даже дальше и заявила, что психирургия — «потенциально благотворный метод лечения». Эллиот Валенстайн, один из самых убежденных критиков лоботомии, пишет: «После лоботомии многие из страдающих тревожностью пациентов испытали выраженное облегчение, избавившись от наиболее мучительных симптомов. В самых лучших случаях наступала нормализация поведения».

Почему же все-таки лоботомия попала в мусорную корзину истории, осталась долгой страшной фазой в развитии соматических методов лечения, опасным отклонением? Может быть, мы так смотрим на лоботомию из-за своего мозга. Может быть, мы запрограммированы на то, чтобы предпочитать черно-белую схему серой. Может быть, мы никогда не преодолеем навьюную веру в то, что если один объект плох, то другой обязательно окажется хорош. Мы находим удовольствие в поляризации, в том, чтобы вещи на противоположных концах оси непременно были ясными и, казалось бы, окончательно определенными. Поэтому ради признания общей благотворности современных психиатрических методов лечения мы подчеркиваем варварство того, чем они когда-то были. Тьма и свет. Тогда мы не знали, что делаем, но *теперь-то знаем*. Мы говорим так, глотая таблетки прозака, глотая таблетки риталина, играя с гормонами и надеясь, что эстроген сделает нас счастливыми. Однако действительно ли наши современные лекарства так уж отличаются от своих прежних собратьев? Лоботомию особенно критиковали за отсутствие специфичности. Хирурги сверлили отверстия, совали в них острые инструменты и рассекали неподатливую ткань сновидений и мысли, не зная, что рассекают. Смутные идеи у них, конечно, были — кое-что насчет

таламуса и передних долей, эмоций и интеллекта, но они не представляли себе, какой подлесок в мозгу на самом деле выкорчевывают.

Вот, например, если взять современный прозак... Его хвалят за предполагаемую специфичность, и нам это нравится. У нас возникает чувство, будто мы знаем, что делаем, направляем снаряды в ясно определенную мишень в мозгу — это ведь не то, что примитивный разрез скальпелем. Однако правда заключается в том, что никто на самом деле не знает, как прозак влияет на мозг, никто не знает механизма его действия.

— Фармакологическая специфичность, — говорит исследователь Гарольд Сакхейм, — это миф.

Как и в случае лоботомии, никто не знает в точности, почему прозак помогает. Это примерно такой же тупой инструмент, как и те, что использовал Мониш. Когда врачи прописывают прозак, они действуют так же, как действовал Мониш, — слепо, но с глубокой верой, с искренним желанием помочь... и опираясь скорее на свои желания, чем на факты.

Лоботомию также критикуют за то, что она не дает возможности вернуться к тому, что было. Впрочем, кто может сказать, не причиняют ли современные таблетки тяжелого и неустраняемого вреда, о котором нам только еще предстоит узнать? Психиатр Джозеф Гленмаллен предупреждает, что использование прозака может вызывать появление в мозгу бляшек Альцгеймера; может быть, именно поэтому многие из тех, кто принимает прозак, жалуются на память — они не могут вспомнить не только то, куда положили ключи от машины, но и где машина припаркована. Возможно также, что длительное применение новейших средств приведет к необратимым дискинезиям, так что через двадцать лет положившаяся на прозак нация будет ковылять сквозь беспмятство. Мы все равно принимаем их, эти таблетки, потому что нам плохо, потому что другого выхода нет — но точно так же поступали пациенты, ложившиеся под нож для лоботомии. Теряли ли они после операции свою жиз-

ненную искру? Именно это и вызывало самые серьезные возражения общественности: вторгаясь во фронтальные доли, ту часть мозга, которая более всего развита у человека и делается все меньше при движении вниз по филогенетической линии, врачи вторгались в сердцевину души и делали ее пустой.

Так это или нет, представляет для нас меньший интерес, чем то обстоятельство, что те же самые опасения и возражения приложимы и к современным методам лечения. На протяжении всей истории, как только нам предлагали возможность достичь психического благоденствия, мы немедленно начинали опасаться потери дивидендов, которые дает темнота. Рильке не желал прибегнуть к психоанализу из страха перед тем, что выздоровеет и не сможет больше писать стихи. Герой пьесы «Equus», для которого любовь к лошадям — смысл жизни, соглашается на психотерапию и обнаруживает, что оказался лишен своей страсти. Современные романисты, спортсмены, матери, деловые люди жалуются, что маленькие таблеточки делают их «менее интенсивными», «менее креативными».

Стоит обратить внимание на постоянство жалоб на любой вид психиатрического лечения, начинаешь думать о том, что дело не во вмешательстве как таковом, а в нашем сложном отношении к страданию, которое мы ненавидим и одновременно считаем очеловечивающим нас. Уничтожала или нет лоботомия жизненную искру, возможно, те меры, которые мы принимаем сегодня, чтобы лучше себя чувствовать, совершают то же самое. О том, необходима ли жизненная искра для каши принадлежности к роду человеческому, лучше спросить Гарри Даннекера или госпожу М. Думаю, что они, страдавшие такими тяжелыми заболеваниями, ответили бы: «Кому нужна эта жизненная искра? Главное, избавьте меня от этих мучительных симптомов».

Невыносимое страдание гасит искру... или делает ее несущественной.

- Мы хотим быть избавленными от мучений.

* * *

В 1949 году, когда Мониш был награжден Нобелевской премией за изобретение лоботомии, она стала настолько популярной, что только в Соединенных Штатах было проведено двадцать тысяч операций; «Нейшн» писала о том, что возникновение конгломератов граждан страны с поврежденным мозгом вызывает тревогу. По некоторым оценкам, между 1937 и 1978 годами в США лоботомии подверглось тридцать пять тысяч человек; наибольший пик пришелся на момент присуждения Монишу Нобелевской премии, а после 1950 года число операций начало быстро убывать — именно тогда появились первые антипсихотические препараты. В 1950-е годы родилась фармакотерапия психических заболеваний со всеми ее преимуществами, и это, вкупе с постоянным глухим недовольством общества лоботомией, привело к тому, что она стала непопулярна. Лекарства казались гораздо предпочтительнее, пусть и обладали такими побочными действиями, как ступор, потливость, острые моторные нарушения. Мы предпочли добираться до своего мозга через желудок, а не напрямую, точно так же, как мы часто предпочитаем говорить об ужасных истинах, а не действовать.

Действовали и другие факторы. Нация все с большим подозрением относилась к неконтролируемым медицинским экспериментам. Шоковая машина Стэнли Милграма вызвала этические споры по поводу того, что допустимо в отношении испытуемых; еще больший шум поднялся из-за эксперимента в Таскеги, где врачи отказали нескольким неграм, больным сифилисом, в лечении, чтобы иметь возможность наблюдать за деградацией их мозгов. Возможно, наибольшую роль сыграла пресса, представившая фармакологию, как когда-то лоботомию, в качестве новейшего достижения, так что публика узнала о новом объекте наших надежд и отчаяния.

В 1970-х годах в стране проводилось в год уже меньше двадцати лоботомии, хотя небольшая группа нейрохирургов продолжала совершенствовать технику, так что мозгу причинялся

все меньший и меньший урон, а соответственно уменьшалось и число негативных побочных действий. На 1950—1960-е годы пришлось развитие стереотаксического метода: стало возможным вводить в мозг миниатюрный электрод, разрушающий строго определенный небольшой объем ткани — в отличие от более или менее слепого вмешательства скальпеля. Кроме того, хирурги стали уделять больше внимания не фронтальным долям, а лимбической системе, известной также как «эмоциональный мозг». Их мишенью стала определенная область лимбической системы — поясная извилина, — ответственная, как считается, за снижение тревожности. Важно отметить, впрочем, что как в начале эры лоботомии, так и теперь существует существенное расхождение во мнениях по поводу того, какие именно волокна рассекать, и это обстоятельство подчеркивает сохраняющийся экспериментальный характер психохирургии. Разные хирурги проявляют предпочтение к разным мозговым структурам, предпочтение, предшествующее знакомству с пациентом. Некоторые, например, полагают, что амигдалатомия — удаление миндалины, подкорковой структуры, оказывающей влияние на протекание эмоциональных процессов — творит чудеса, в то время как другие продолжают считать наиболее важной поясную извилину, а третьи — хвостатое ядро. Сочетание расхождения во мнениях и довольно мрачной истории предмета делает современную лоботомию, часто скрывающуюся под другим названием, последней соломинкой для самых тяжелых больных, процедурой, которой стыдятся и которую держат в секрете.

Часть вторая

Массачусетский госпиталь находится на Фрут-стрит на окраине Бостона. Его современные здания и сверкающие стеклянные двери контрастируют с булыжными мостовыми и старинными домами, на каждом подоконнике которых в ящиках

цветут яркие цветы. Если вы остановитесь всего в квартале от госпиталя, на историческом Бикон-хилл, вы никогда не догадаетесь о том, как близки к одному из самых технически передовых медицинских учреждений в стране.

Подвергнуться психирургическому вмешательству в США нелегко; в некоторых штатах, включая Калифорнию и Орегон, оно запрещено законом. В СССР, когда он еще существовал, психирургия отвергалась полностью как не соответствующая павловскому учению. Пациентам, желающим получить такого рода помощь, приходится прилагать большие усилия: они должны доказать, что исчерпали все другие возможности, комитету по этике; только после этого в их головах могут быть про сверлены отверстия.

Эмили Эсте из Бруклина в Нью-Йорке всю жизнь страдала от депрессии, но ей не удалось получить согласие комитета по этике, потому что она не испробовала достаточно сеансов электротерапии. Чарли Невиц из Остина в Техасе, напротив, разрешение получил. Он прошел больше тридцати сеансов шоковой терапии и испробовал более двадцати трех препаратов: он может их перечислить, загибая пальцы, — лувокс, целекса, ламиктал, эффексор, литий, депакот, прозак, рisperдал, халдол, серзон, золофт, ремерон, велбуртин, цитомел, декседрин, имипрамин, парнат, нортиптилин, торазин... — Чарли декламирует названия лекарств, как поэму собственной жизни, жизни, состоящей из болезни.

Чарли — огромный, как медведь, сорокаоднолетний мужчина с намеком на усы и остекленевшими глазами, которые кажутся затуманенными от всех лекарств, которые в его тело, как в бочку, вливали он сам и его психиатр. Когда Чарли было двадцать два года и он работал в геологоразведочной команде в Техасе, на него как гром с ясного неба свалился психоз навязчивых состояний. Непреодолимое стремление пересчитывать, проверять, отстукивать поглотило его ум, связало ему руки, так что он оказался ни на что не способен — ни рабо-

тать, ни любить: он словно вмерз в бесконечно повторяющиеся ритуалы.

— Поразительно, как неожиданно это случилось, — говорит Чарли. — Со мной все было в порядке, а на следующий день — уже нет.

Так с тех пор и пошло... Квалифицированный инженер, умевший по внешнему виду скал определить, есть ли под ними нефть, превратился в отшельника, прячущегося в своей жалкой квартире в Далласе и способного только крутиться на одной ноге.

Чарли считает, что ему не повезло: он оказался одним из тех немногих, кому никакие лекарства, которые прописывал его врач, доктор Роберте, не помогали. В чем-то он прав, в чем-то — нет. Чарли действительно не повезло, но тех, кому лекарства не помогают, не так уж мало, как бы ни стремились убедить нас в обратном реклама фармацевтических компаний. Психофармакологи гордо утверждают, что открыли прекрасный новый мир лечения психических заболеваний, что таблетки размером с горошину обладают сказочной силой, что они могут избавить нас от груза растерянности и тревоги, могут помочь нам уснуть, дать нам бодрость, сделать нас более или менее чувствительными; в каждой таблетке каждой компании — залежи витаминов и протеинов, благодаря которым мы взлетим до небес...

- Таковы утверждения рекламы, но они лгут, и не только потому, что слишком упрощают ситуацию. Они причиняют более глубокий вред. Статистика, которую так любят приводить фармацевтические компании и многие психофармакологи, утверждает, что семидесяти процентам тех, кто принимает лекарства, становится лучше... ну а если тридцати процентам лекарства не помогают, то тревожиться не о чем: у вас очень хороший шанс. Впрочем, если присмотреться внимательнее, открывается совсем другая картина. Действительно, на семьдесят процентов принимающих лекарства они оказывают действие, но толь-

ко на тридцать — выраженное; для остальных же эффект указывается умеренным или минимальным. По некоторым оценкам, у шестидесяти процентов находящихся на лечении развивается толерантность к препаратам, которая в конце концов делает лекарства бесполезными. Вот и произведите перерасчет. Большинство из тех, кто принимает таблетки, или остаются серьезно больными, или получают некоторое облегчение, а «некоторое облегчение», когда вы ужасно страдаете, — не то, что следует праздновать. Фармакология оказывает помощь, но совершенно недостаточную. Данные статистики должны бы заставить нас задуматься: почему мы одновременно и критикуем психи хирургию, и относимся с уважением к ее месту в современной медицине.

Чарли Невиз и доктор Роберте потратили много времени и сил, чтобы добиться разрешения на то, чтобы в Массачусетском госпитале Чарли подвергли психириургической операции. Проводимая здесь процедура существенно отличается от той, которой пользовался Мониш. Во-первых, применение стереотаксических инструментов позволяет делать разрезы, не разрушающие периферическую мозговую ткань, тем самым минимизируя шанс нежелательных побочных эффектов. Во-вторых, никто теперь не рыщет по палатам, случайным образом отбирая пациентов для лоботомии: в конце XX века Национальным комитетом по безопасности пациентов (тем самым комитетом, надзора которого так не хватало Фримену и Монишу) были выработаны строгие правила применения психириургии.

15 декабря 1999 года Чарли Невиз и его жена Саша прилетели в Бостон. Там Чарли встретился с хирургом, который должен был его оперировать, и прошел бесконечное тестирование. Все это время Саша, миниатюрная блондинка, говорящая с южным акцентом, выглядела испуганной. Когда двадцатилетняя Саша вышла замуж за Чарли, у того никаких симптомов не было. Потом в один день Чарли стал инвалидом; психоз навяз-

чивых состояний иногда развивается очень быстро, без каких-либо предвестников.

— Я боюсь, — постоянно шепчет Саша, — не станет ли Чарли после операции более тупым? — Она повторяет этот вопрос, обращаясь к врачам; потом она говорит то же самое и самому Чарли, когда мы сидим в пиццерии на Бикон-хилл: — Дорогой, я очень надеюсь, что после операции ты не станешь тупым.

Чарли, который подносит ко рту поджаристый кусок «пепперони», замирает на месте. Пицца повисает в воздухе, потом Чарли кладет ее на тарелку, где капли жира образовали роршаховский рисунок.

— Мое самое большое опасение, — медленно говорит Чарли, касаясь виска, — заключается не в том, что я стану тупым. — Он смотрит на Сашу, а потом переводит взгляд на меня — журналистку, которой позволил присутствовать в своей жизни в этот самый важный момент. — Больше всего я боюсь, что после операции стану несдержанным; я читал, что такое временно случается. Я просто не хочу постоянно выходить из себя. Чарли смотрит на жену, улыбается и берет ее за руку. — Или набрасываться на тебя. — Саша смеется.

Утро следующего дня выдалось холодное и ясное. Солнце на небе похоже на апельсиновый шербет. Бульжник на Биконхилл покрыт опасной корочкой льда, ломающейся под ногами. Так легко упасть... Мы с Сашей и Чарли встречаемся во дворе старинного кирпичного здания, откуда доносятся ужасно ясные и полные предзнаменования звуки рога.

— Вы слышите? — спрашивает Чарли.

Мы мелкими шажками осторожно спускаемся с холма. Несмотря на все, что я успела прочесть, я тоже опасаясь, что Чарли может оказаться после операции несколько туповатым. Вот сейчас передо мной живой и остроумный Чарли, а всего через несколько часов что-то существенное будет вырезано из его души. Это делает наш спуск с холма почти мифическим, полным значения. В прошлом веке Фримен писал, что психоби-

рургия и в самом деле чего-то лишает пациента, но за дни и годы, следующие за лоботомией, рождается новая, более зрелая личность. Хирург, который будет оперировать Чарли, заверил его, что тот не ощутит никаких интеллектуальных или личностных потерь: процедура теперь так тонко разработана, что коснется только больной ткани. Так или иначе, мы скользим, спускаясь с холма. С крыш свисают блестящие кинжалы льда, и с их концов вниз падают капли.

В госпитале Чарли получает идентификационный браслет и ложится на операционный стол. Ему бреют и протирают спиртом голову. Саша начинает плакать.

— Сколько разрезов вы собираетесь сделать? — спрашивает Чарли.

— Два, — отвечает хирург.

— Нет, — говорит Чарли.

— Я не могу сделать всего один, — возражает хирург. — В этом случае не удастся избавить вас от болезненных симптомов.

— Я это знаю, — говорит Чарли. — Я хочу избавиться от симптомов. Я не хочу, чтобы был сделан один разрез, и не хочу, чтобы их было два. Я хочу, чтобы вы сделали по меньшей мере три.

Хотя современные врачи подчеркивают различия между цингулотомией и лоботомией, на самом деле эти два метода имеют значительное сходство. Ни лоботомия, ни цингулотомия не предполагают удаления явно больных тканей; в обоих случаях рассекается здоровое розовато-серое и белое вещество мозга, переворачивая клятву Гиппократы — «не вредить» — с ног на голову. Конечно, бывают случаи, когда причинение вреда ведет к здоровью, примером чего служат химиотерапия и пластическая хирургия: у пациента отрезается нос, и ю благодаря этой кровавой процедуре новый нос избавляет человека от мучительной неуверенности в себе.

Впрочем, в процедуре лоботомии и цингулотомии имеются и важные различия. При лоботомии хирург рассекает волокна, со-

едняющие лобные доли с таламусом; при цингулотомии — нервные пути от лобных долей к поясной извилине, которая, как предполагается, ответственна за тревожность. Когда этот нервный пучок оказывается перерезан, тревожные мысли, навязчивые идеи не могут пройти. Телефонная линия не в порядке.

Сьюзен Коркин, глава департамента психологии Массачусетского технологического института, провела самое длительное в США долгосрочное изучение пациентов, перенесших цингулотомии; она нашла, что эта операция не отразилась на нормальных эмоциональных реакциях, но уменьшила патологические симптомы. Цингулотомия, обязанная своим рождением, конечно, Монишу, вернула здоровье десяткам безнадежных больных. В отличие от ранних операций цингулотомия ни разу не приводила к смерти, и ни одно лезвие не было потеряно в мозгу.

В операционной голову Чарли помещают в стальной нимб, чтобы обеспечить абсолютную неподвижность во время сверления отверстий. Современнейшая аппаратура передаст на экран излучаемые мозгом Чарли волны. Врач сверлит отверстия над висками Чарли. Потом — разрез вбок, оставляющий за собой белую линию. Эта линия ведет к здоровью, но для Чарли она больше похожа на знак минуса, на монограмму, выжженную в мозгу. Делается еще один разрез. Глаза Чарли широко раскрыты. Хирург смещает электрод, и губы Чарли начинают дергаться, а левая рука подпрыгивает.

— Вы можете моргнуть? Можете ли отсчитать от семи обратно? Я уже заканчиваю. Можете вы назвать свое имя? — говорит хирург.

— Не могу, — говорит привязанный к столу Чарли; голос его звучит хрипло и неотчетливо.

— Вы не знаете, как вас зовут? — спрашивает хирург.

— Не могу... Чарли... Вы знаете, у меня онемел язык.

В 1997 году журнал «Обсервер» опубликовал статью «Лоботомия возвращается». Хотя автор статьи явно воспринял это как

тревожную тенденцию, может быть, в некоторых случаях такое развитие событий следовало бы приветствовать. На самом деле возможно, что Мониш был прав, что темное отклонение — это не психхирургия, а психофармакология. Нам не удалось создать лекарство, которое действовало бы с той же специфичностью, что и современная психхирургия. Ни одно лекарство не способно воздействовать только на миллиметровую мишень в поясной извилине; действие лекарства подобно разлитию нефти, и выкинутые на берег гладкие черные птицы — это бессонница и потливость.

Гарольд Сакхейм, специалист в области нейронаук, говорит:

— Не думаете ли вы, что сексуальная дисфункция — это следствие специфичности прозака? Нет, фармакологические средства, несомненно, воздействуют и на другие системы организма. С другой стороны, воздействие, которое может быть нацелено на очень специфический участок ткани, не перегружая всю систему, не вызывая массивные мозговые дисфункции, как это случается при медикаментозном лечении, — это именно то, в чем видится будущее психиатрии.

Сакхейм работает в расположенном в старом кирпичном здании Нью-Йоркском психиатрическом институте. Он верит в эффективность современной психхирургии; он также верит в то, что когда Мониш просверлил отверстие в черепе госпожи М., он открыл бойницу, из которой можно стрелять больше чем по одной цели. Хирургически эксперимент заложил основу для самых многообещающих психиатрических подходов, и таблетка больше не рассматривается как таковой. Цингулотомия — такая, как перенесенная Чарли — метод, оставляющий точный белый разрез, — это и есть искомый метод. Более того: Сакхейм говорит о волнующих новых технологиях — транскраниальной магнитной стимуляции, при которой магнитные поля смогут вернуть к норме потерявший равновесие мозг; гаммахирургии, когда гамма-лучи будут направляться в «горячие точки» мозга; глубокой стимуляции мозга, что звучит почти как

курортное лечение извилин. Глубокая стимуляция мозга уже одобрена Администрацией по контролю за пищевыми продуктами и лекарствами для лечения болезни Паркинсона, и Сакхейм предсказывает, что в ближайшие несколько лет она будет применяться и в борьбе с психическими заболеваниями. Эта процедура требует билатеральной имплантации двух миниатюрных электродов, которые стимулируют определенные области мозга, области, ответственные, скажем, за постоянные страхи, или буйство, или невроз навязчивых состояний, или глубокую меланхолию. Согласно теории, как объяснил мне Сакхейм, которого я посетила перед операцией Чарли, «известны нервные цепи, специфические ткани, задействованные в определенных когнитивных состояниях. Поэтому возможно провести позитронно-эмиссионную томографию, найти нужный участок и имплантировать электрод, который, постоянно стимулируя соответствующую нервную цепь, эффективно ее выключит».

Что касается обвинений в том, что психирургия и ее ответвления вроде глубокой стимуляции мозга повреждают здоровые ткани, то Сакхейм решительно и почти сердито отвечает на них:

— Депрессия повреждает здоровые ткани мозга. Существует множество свидетельств того, что депрессия и стресс обладают нейротоксичным, некротическим действием; у страдающих депрессией гиппокамп на пятнадцать процентов меньше, чем у здоровых людей. — Сакхейм показывает мне тонкую щель между большим и указательным пальцами — как раз такой ширины, чтобы в нее прошел скальпель.

Наше излечение зависит от нашего мужества.

Операция Чарли закончена, на голове у него большая белая повязка. Его перевозят в палату. Увидев Чарли, его жена шепчет:

— Дорогой?..

Чарли утрашающе причмокивает, прикладывает палец к носу, но тут же смеется.

— Я просто шучу, — говорит он. — У меня все прекрасно. Хочется мороженого.

По-видимому, с юмором у него все в порядке, ну а уж если юмор — не проявление той самой жизненной искры, то и не знаю, что еще может им являться. Через пять дней Чарли возвращается в Техас. Я жду несколько дней, прежде чем позвонить ему. Когда я наконец звоню, он говорит:

— Психоз навязчивых состояний исчез. Это невероятно!

— Исчез... — повторяю за ним я.

— Или уменьшился до такого уровня, что уже не беспокоит.

В Техасе сухая жаркая погода. У Чарли ясная голова, а два маленьких отверстия затянулись тонкой кожей. Прикасается ли к ним его жена? Чарли хорошо себя чувствует, и две дырочки у него в голове чудесным или ужасным образом говорят одновременной о чудесах техники, и о чем-то совершенно примитивном; они указывают на будущее, хотя и являются связью с прошлым.

— Психоз навязчивых состояний исчез, но я чувствую некоторое уныние, — говорит Чарли.

Невозможно определить, чувствует ли он уныние потому, что лишился чего-то, что одновременно мучило и возбуждало его, или из-за того, что операция привела к некоторой депрессии, или потому, что просто испытывает то, что Фрейд называл неизбежным страданием нормальной жизни. От операции память Чарли не пострадала, как это иногда случается, а недавнее тестирование показало, что коэффициент интеллекта у него выше, чем до операции.

— Вы рады, что пошли на это? — спрашиваю я.

— Я был бы готов все повторить, — отвечает Чарли. — До чего здорово! У меня больше нет навязчивых состояний. Нет навязчивых состояний! Если депрессия не исчезнет, я вернусь в госпиталь. Пусть сделают еще один разрез.

Боже мой! Врачи увеличивают дозы лекарств. Врачи делают новые разрезы в ткани мозга. Каковы бы ни были факты.

как бы настойчиво они ни указывали на возможную эффективность психохирургии и неэффективность медикаментозного лечения, все равно остается отношение к этому килограммовому морщинистому ореху как к чему-то святому. Может быть, по мере того как врачи будут прямыми и непрямыми методами углубляться все дальше, мы привыкнем к отверстиям в черепе и начнет показывать их так же, как другие хирургические шрамы, — что удаление груди, что удаление мозга, какая разница? Впрочем, в этом я сомневаюсь. Мониш указал нам путь прочь от фармакологии, он дал нам процедуру, которая привела к появлению других, столь же маленьких и аккуратных, как микрочип. Нужно его за это поблагодарить. Однако он дал и кое-что еще, мне кажется. Из всех великих экспериментов XX века его операция оставила нам, на мой взгляд, определенное бережно сохраняемое нежелание отказаться от веры в то, что мозг свят, хоть это и не остановит нас в наших все более дальних хирургических путешествиях.

Заключение

Я начала эту книгу с поисков Деборы Скиннер, превращенной в миф дочери самого радикального необихевиориста XX века, которая, как оказалось, жива и здорова. Она с теплотой вспоминает своего отца и говорит, что ее роль в истории с экспериментальным манежем была благотворной.

Мы многого не знаем о психологических экспериментах, в частности об их воздействии на испытуемых и том сомнительном благе, которое они из экспериментов извлекают. Без работ таких людей, как Милграм, Розенхан или Мониш, мы были беднее знаниями и жизненными сюжетами, но кто в конце концов может подсчитать соотношение цена — польза и с уверенностью сказать, каково оно?

Мне хотелось, когда я дошла до конца книги, предложить ответ, заключение, но, как часто случается с экспериментами, к которым в определенном смысле относится и эта книга, полученные данные только открыли передо мной новые области для исследования. Оглядываясь на написанное, я вижу богатый материал, однако он сопротивляется обобщению, которое позволило бы мне написать послание для будущего. Такое послание, будь я даже в состоянии его создать, составило бы еще одну книгу. Таким образом, я прихожу к заключению, что послание данной книги и есть данная книга, и его должен открыть

для себя читатель, который пожелает разобраться во многих представленных в ней точках зрения.

Впрочем, я замечаю определенные общие тенденции, возникающие при чтении этих глав, серию вопросов, касающихся информативности и веса многих из описанных экспериментов. Снова и снова возникают темы свободной воли (Скиннер, Александер, Лофтус, Мониш), конформизма/послушания (Милграм, Дарли и Латан, Фестигнер, Розенхан) и этичности проведения экспериментов на живых существах (Харлоу, Скиннер, Милграм, Мониш). Даже наиболее технически совершенные эксперименты, такие как работы Кандела, по сути касаются не свободных от вопроса цены понятий, которые мы традиционно соотносим с «наукой» и ее частью — психологией, но этических и экзистенциальных проблем, относимых к ведению философии.

В своем глубоко критическом обзоре психологии Дороти Брагински пишет: «Литература по психологии является свидетельством нашей неудачи в исследовании любой значимой проблемы имеющимися средствами. Действительно, если бы всем, что досталось от нашего общества антропологам будущего, оказались психологические журналы, они должны были бы заключить, что мы жили едва ли не в раю. Хотя мы в этом столетии пережили огромнейшие проявления насилия, социальные, политические, экономические и личностные потрясения, психологические исследования не отразили этих событий».

В начале XX века Уильям Джемс в письме брату Генри высказывал сходные чувства: «Действительно, странно слышать, как люди с триумфом говорят о «новой психологии» и описывают «историю психологии», когда реальные элементы и силы, подразумеваемые под этим термином, не удостоились еще и первого ясного рассмотрения. Набор голых фактов, немножко сплетен и болтовни; чуть-чуть классификации и генерализации на описательном уровне, но ни единого закона в том смысле, какой законам придает физика, ни одной посылки, из которой

можно было бы вывести следствие». В другом письме брату Уильям Джемс пишет: «Единственная Психея, которую сейчас признает наука, — обезглавленная лягушка, подергивания конечностей которой выражают более глубокие истины, чем когда-либо были доступны слабоумным поэтам».

Брагински и Джемс в чем-то правы, хотя именно в чем-то: это не исчерпывающее рассмотрение интересующего нас вопроса. Несомненно, в некоторых психологических направлениях и формулировках присутствует смешной редукционизм; несомненно, подъем логического позитивизма и его слияние с психологией в 1940-х годах в значительной мере поставили с ног на голову высказывания некоторых ученых. Многие онтологические вопросы пришлось переводить в «формальный вид», где они превратились просто в соизмеримыми отношениями между хорошо определенными словами. Все это довольно утомительно, и хотя подобный подход часто выдается за глубокомыслие, на самом деле он — мелочность самого неприглядного свойства. Нельзя отрицать, что некоторые направления психологии были счастливы до тошноты заниматься изучением времени реакции крыс, как будто это имеет какое-то значение для тех важнейших вопросов, которыми заняты наши человеческие головы.

Сказанное не означает, впрочем, что Брагински и Джемс совершенно правы в своей оценке социальной релевантности психологии. Даже беглый взгляд на некоторые из самых значимых экспериментов столетия показывает серию ситуаций, явно предназначенных для исследования глубочайших проблем нашего времени: пробоем жестокости, геноцида, сочувствия, любви; проблем памяти, правосудия, автономии. Эксперименты исследовали эти вопросы с такой настойчивостью и воображением, что они стали почти легендарными; они, несомненно, доказывают, что экспериментальная психология и ее будто бы не имеющие отношения к реальности стерильные лаборатории не только отражают реальную жизнь, но и сами

ею являются. Возможно, таким образом мы узнали, что то, что происходит в лаборатории, происходит в мире, потому что лаборатория в нем живет и не менее значима, чем стол, за которым вы завтракаете, или ваша постель. В конце концов, многие из испытуемых Милграма утверждали, что они глубоко изменились и многое узнали в результате участия в эксперименте; Мартин Селигман, один из псевдопациентов Розенхана, плакал, рассказывая мне историю своей госпитализации под ложным предлогом, рассказывая о той жестокости и доброте, которые он нашел в психиатрической лечебнице. По прошествии тридцати лет Селигман, сам ставший известным психологом, все еще вспоминает о своей роли в эксперименте как о ярком, меняющем жизнь событии, которое показало ему силу контекста и ожиданий в формировании действительного опыта.

И поскольку, несмотря на все утверждения критиков, экспериментальная психология — от мира сего, ее вопросы жгучи, увлекательны, устрашающи, забавны. Почему у нас отсутствует моральный центр, откуда произрастает мятежность? Почему мы не протягиваем в глобальном масштабе руку помощи своим соседям? Почему мы снова и снова отказываемся от собственных взглядов в пользу преобладающей точки зрения? Это — некоторые из главных вопросов, стоящих перед экспериментальной психологией XX века, и они интересны не только в силу своей очевидной релевантности для мира, но и из-за их странного отсутствия в психотерапии, одной из областей психологии. В какой точке пересекаются клиническая и экспериментальная психология? По-видимому, такой точки нет. Я опросила двенадцать имеющих лицензию практикующих психологов — встречающихся с пациентами, проводящими терапию, — и ни один из них даже не знал о большинстве описанных выше экспериментов, не говоря уже о том, чтобы применять их результаты в своей работе. Конечно, нельзя говорить о какой-то осмысленной дисциплине, если разные об-

ласти психологии не оплодотворяют друг друга. Еще большей проблемой являются те потери, которые несет психотерапия из-за неиспользования данных и примеров, которые предоставляет ее близкая родственница. Психотерапия в том виде, в каком она развивалась в XX веке, интересуется одним: хорошим самочувствием, и это, по-моему, не идет ей на пользу. С другой стороны, экспериментальная психология со своим несгибаемым интересом к вопросам этики — послушанию, конформизму — занята хорошими поступками; когда мы поступаем хорошо, когда ведем себя с честью, мы получаем шанс обрести достоинство. Если бы клинические психологи, которых обучают не выносить суждений, обращаться с пациентами с «безусловным принятием», вместо этого решились сосредоточиться на моральной жизни своих клиентов, используя полученные Милграмом, или Ашем, или Розенханом, или Лофтус данные, им, возможно, удалось бы предложить то, в чем все нуждаются: настоящий шанс на трансцендентность.

Что касается экспериментальной психологии, то, хотя мы и не можем точно сказать, на какие области психологии она влияет, мы можем ясно видеть, влияние каких областей она испытывает. При написании этой книги я снова и снова задавала себе вопрос: что такое эксперимент? Является ли он просто демонстрацией или настоящим научным поиском? И что такое наука? Можно ли считать наукой психологию? Может быть, она — фикция? Или философия? Вот в этом-то и дело. Тот факт, что экспериментальная психология с упорством задает этические и экзистенциальные вопросы, сформулированные святым Августином, Кантом, Локком, Юмом, показывает, что ее питает именно эта традиция. Возможно, экспериментальная психология — это способ систематически задавать философские вопросы, к которым никак не удается приложить измерительную ленту.

Может быть, это достойно сожалений. В конце концов, психология так отчаянно боролась за то, чтобы дистанцироваться

от гуманитарных наук, чтобы вырваться из щупальцев философии, которые так долго в XIX веке ее обвивали. Первые психологи были философами. В течение долгого времени различий между двумя подходами не проводилось, пока наконец в конце столетия Вильгельм Вундт не сказал: «Довольно! Вы, философы, можете сколько угодно сидеть и думать, но я, черт возьми, собираюсь измерить что-нибудь». Вот он и предоставил коллегам дергать себя за бороды и смотреть в небо, пока он, Вундт, организовывал лабораторию со всевозможными инструментами и начинал измерять то, что измерению поддается. Так и родилась, как считается, психология как наука.

С самого начала ей были свойственны врожденные дефекты. Она, этот сиамский близнец, состоящий из естественнонаучной и гуманитарной частей, никогда не была способна дышать самостоятельно. Если определить науку как систематическое изучение вопросов, приводящее к открытию универсальных законов, то психология терпела поражение за поражением. Наука зависит от возможности назвать, выделить феномен и определить его временные рамки, но как можно разделить мысль и мыслящее существо или идею и породивший ее контекст? Можно неподвижно зафиксировать тело, но как быть с поведением? Сама природа психологии отрицает успешное научное изучение и экспериментирование, что, впрочем, не означает, что нам следует отбросить все написанное в предыдущих главах. Однако многие из экспериментов могут быть лучше всего поняты как кинетическая философия, философия в действии. Эксперименты оказываются наиболее успешными, когда мы позволяем им дать интуитивную, а не количественную информацию. Работа Милграма — прекрасная пьеса, разыгранная в таинственном театре. Харлоу дает нам возможность почувствовать, что такое одиночество, и мы знаем, что все так и есть, независимо от того, возможно ли количественное выражение чувств. Нам и не следует выводить закон Харлоу, потому что это значило бы ограничить любовь системой уравнений. Когда

психология пыталась это сделать, она выглядела глупо и бесполезно. Тут нет никакой науки, и это, возможно, хорошо.

И все же я вовсе не хочу сказать, что никакая научность в психологии невозможна. Некоторые ее области — в особенности нейропсихология — явно тяготеют к методам химии, биологии и физики. Мне совершенно ясно, что Канделу было что измерять и что он работает с дискретными феноменами, в отношении которых не может быть расхождений во мнениях: вот этот морской слизень; вот это нейрон. Начиная работать над этой книгой, я думала, что найду естественный путь от экспериментов, тесно связанных с гуманитарными науками, к тем, которые с течением времени все больше переходили в сферу наук естественных. Однако выяснилось, что такой траектории не существует. С самого начала всегда имелись по крайней мере две школы экспериментальной психологии: одна интересовалась соматической областью (в начале XX столетия это был Мониш, в конце — Кандел), а другая описывала социальные и когнитивные феномены. В очаровании, которое таит для нас нейрон, нет ничего нового; десятилетие мозга на самом деле является веком мозга с вкраплениями других вопросов.

Возникает вопрос: не окажутся ли в новом тысячелетии явно несоматические эксперименты, такие, как эксперименты Милграма, Розенхана или Фестингера, на обочине научного прогресса? Не станет ли вся экспериментальная психология интересоваться исключительно единичным синапсом?

Кандел полагает, что биология сознания постепенно вытеснит все другие направления и эксперименты, которые они могут породить. Он считает, что мы найдем биологические субстраты для всего, и когда это случится, психологи наконец смогут освободить психологию от сциентизма и сделать ее истинно научной. Что касается меня, то я жду этот день с огромным нетерпением, потому что наши возможности так бесконечно расширятся. Если мы будем знать, каков нервный базис послушания, любви, принуждения, то не сможем ли мы что-

нибудь сделать с ними — направить в нужное русло, распространить на требующие этого ситуации? У меня болит голова, и я с надеждой жду методов лечения, основывающихся на новых знаниях. С другой стороны, раз уж у меня болит голова, то нет ли какой-то ценности если не в самой боли, то в тайне, ее окружающей? Я вовсе не уверена, что хотела бы, чтобы психология стала настолько знающей, что могла бы сказать, действие какого нейротрансмиттера вызывает ту улыбку, которую вы видите на моем лице. Я не уверена, что хочу все знать о составляющих моей личности, о «Лего», из которого я составлена, потому что тогда где окажутся вопросы? Бернارد Рассел пишет, что людьми нас делают наши вопросы.

Впрочем, новые вопросы найдутся всегда, даже если это будут вопросы о том, почему вопросов не возникает и что это значит; вот так мы и вернемся снова к философии. Похоже, нам некуда от нее деваться. Какими бы технически изощренными ни стали новые эксперименты, мы не можем ускользнуть от тайн и неясностей, так что их мы всегда будем нести с собой. Мы ищем ответы. Мы пробуем то и другое. Мы любим и работаем. Мы убиваем и вспоминаем. Мы проживаем свои жизни, каждая из которых — божественная гипотеза.

УДК 159.9
ББК 88.3
С47

Серия «Psychology» основана в 2006 году

Lauren Slater
OPENING SKINNER'S BOX

Перевод с английского А.А. Александровой

Серийное оформление А.А. Кудрявцева

Компьютерный дизайн Н.А. Хафизовой

Печатается с разрешения автора и литературных агентств
Witherspoon Associates, Inc, и Synopsis.

Подписано в печать 01.12.06. Формат 84x108'/1...
Усл. печ. л. 16,8. Тираж 3000 экз. Заказ № 9166.

Слейтер, Л.

С47 Открыть ящик Скиннера / Лорин Слейтер; пер. с англ. А.А. Александровой. — М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2007. — 317, [3] с. — (Psychology).

ISBN 5-17-039068-8 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 5-9713-4364-5 (ООО Издательство «АСТ МОСКВА»)

ISBN 5-9762-1495-9 (ООО «ХРАНИТЕЛЬ»)

Можно ли считать психологию точной наукой? Ответ на этот вопрос — в знаменитых экспериментах Б.Ф. Скиннера, с которых и началась наука о поведении.

Скиннер совершил открытие, не уступавшее павловскому, — он сумел понять, объяснить и СФОРМИРОВАТЬ поведение не только крысы, но и людей с помощью классического метода поощрения и наказания.

Имя Скиннера овеяно легендами. Одни считают его идеологом фашизма и утверждают, что он превращает людей в роботов. Другие видят в его работах безграничные возможности для лечения больных, воспитания капризных детей и даже для решения проблем безопасности на дорогах! ах. Так кто же он такой, Б.Ф. Скиннер, и что он изобрел?

Лорин Слейтер — известный современный философ, психолог и журналист — решила провести в изменившихся, современных условиях десять самых известных экспериментов Скиннера.

Результат оказался весьма неожиданным...

УДК 159.9
ББК 88.3

© Lauren Slater, 2004

© Перевод А.А. Александрова, 2007

© ООО «Издательство АСТ», 2007